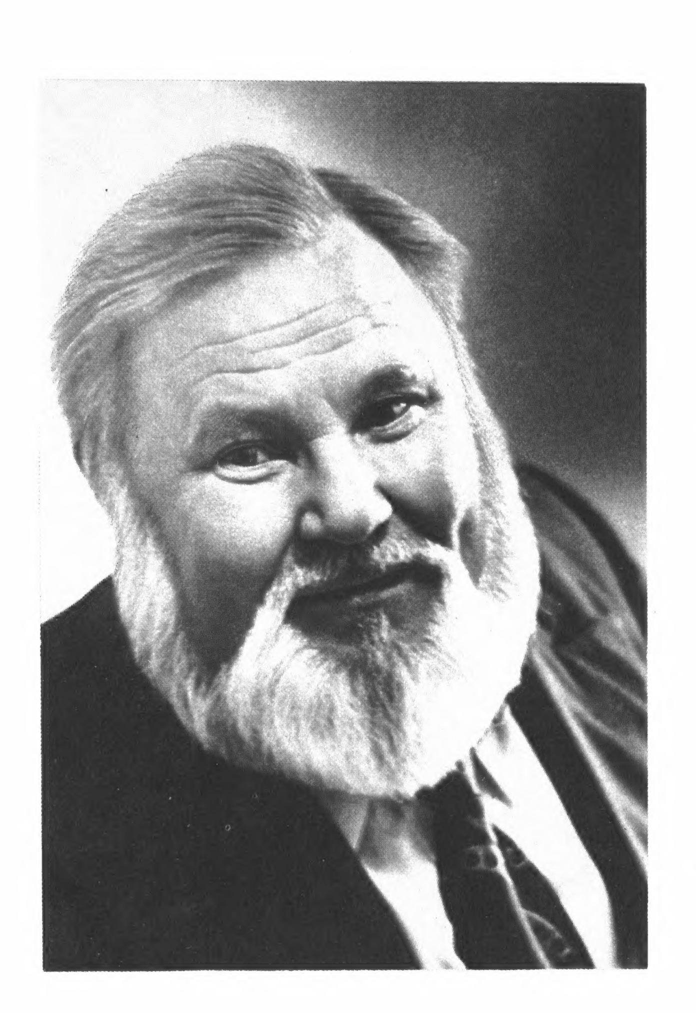
ИВАН ИСТОМИН

Живун



УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА



Издается с 1967 года
Второй выпуск

ИВАН ИСТОМИН

Живун

Роман,
повесть

Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство
1988

И $\frac{4702010200-034}{М158(03)-88}$ 43-88

ISBN 5—7529—0005—0

ПОСЛЕДНЯЯ КОЧЕВКА

Ледоход был бурным. Потемневшие льдины, словно потревоженное стадо оленей, толкаясь и громоздясь друг на друга, шумно двигались по Оби. Выше по течению, за излучиной реки, виднелась полая вода, широко разлившаяся меж берегов, отороченных узкой полосой оставшихся льдинок. Водная равнина неудержимо приближалась, оттесняя грузноватые хрупкие льдины все дальше и дальше на север.

День выдался теплый, ясный и тихий. В безоблачном небе сияло ослепительно яркое полуденное солнце. Оно, будто перелетная птица, вернулось в Заполярье после долгой и холодной зимы. Теперь круглые сутки щедро озаряло необъятный край, отражаясь в бесчисленных тундровых озерах, в заберегах рек и речушек. Над Обью непрерывно неслись в вышине бисерные ниточки птиц, разноголосо и весело приветствуя свои родные места. А воздух, очищенный весенними ветрами, влагой и солнцем, был упоительно свеж. Как в такой день, исключительный для Севера, не выйти на лужок над рекой?!

Старик Ямай, низенький и толстый, в легкой малице с опущенным капюшоном, сидел у реки на ветхой, без нескольких копыльев нарте и неотрывно смотрел с пригорка вниз, на реку Обь. Он всю свою жизнь кочевал с оленями в тундре, далеко от больших рек, и такого ледохода никогда не видел. Трубка давно уж потухла в его зубах, а он все смотрел на реку, на льдины. Вот одна из них с куском подтаявшей грязной зимней дороги поднялась на дыбы и с грохотом погрузилась в бурлящую воду.

— Ай-яй-яй! — не удержался старик, покачал седой головой, остриженной под польку.

Льдины лениво, словно им не хотелось уходить из родных мест, все плыли и плыли куда-то вниз по реке,

откуда им уже не было возврата. И это невольно заставило Ямая думать о другом. Старик по-прежнему глядел на реку и думал, что вот и в жизни так же: старое ушло, нет ему пути назад.

* * *

...Началось это с колхозного собрания. Оно было таким же необычным и бурным, как ледоход.

Молодежь с каждым годом все чаще и чаще поговаривала о том, что пора перейти их кочевому колхозу на оседлость. Пожилым, особенно старым, исконным кочевникам, казалось это ненужной и не скоро осуществимой затеей.

Много было на собрании споров, ругани и даже слез. Разве нельзя жить, как жили до этого? На Ямал пришла новая жизнь, без кулаков, шаманов, купцов. Люди трудятся сообща, сами на себя, и жизнь с каждым днем становится лучше. Что же еще надо? — возражали молодым. А колхозники помоложе да пограмотней доказывали, что дальше так жить нельзя. И секретарь колхозной парторганизации, учитель Максим Иванович, с ними заодно. Когда-то давно он помогал создавать первые тундровые колхозы и собирал первых учеников-ненцев в школу. В ту пору звали его просто Максимкой. И он совсем не знал ненецкого языка. Теперь же Максим Иванович Волжанинов постарел, ссутулился, усы поседели, а по-ненецки разговаривал не хуже самих оленеводов.

— Настало время, товарищи,— говорил он,— чтобы колхозы сделать еще богаче, а колхозники жили бы еще лучше.— Он стоял перед колхозниками в расстегнутой тужурке из тюленьей шкуры. Шапка-треух из мягкого пыжика, откинутая назад, держалась длинными ушами на его неширокиx плечах. Очки в светлой металлической оправе подпирали нависшие пучками белые брови.— Чтобы добиться этого, надо развивать оленеводство. Пусть в колхозах, совхозах оленей будет еще больше: олень дает человеку и мясо и шкуру и возит по тундре...

— Так, так, так,— согласно кивали головами пожилые колхозники.— Вот мы и говорим: кочевать надо, как прежде. Зачем оседло жить? Оседло оленеводство нельзя вести...

— Нет, постойте,— вежливо перебил Максим Иванович.— Я еще не все сказал. Одних оленей для хорошей жизни мало. И вот почему: пастухи трудодни зарабаты-

вают, хорошо живут. Охотники зимой тоже зарабатывают. А остальные как живут? У них трудодней мало, очень мало и жизнь плохая.

— Это верно,— не выдержал Ямай.

— Надо так сделать: пусть все люди, кроме пастухов, живут на одном месте, оседло,— неторопливо говорил Волжанинов, прохаживаясь перед сидящими.— Тогда работать будут все: ловить рыбу, добывать пушнину, выращивать черно-бурых лисиц, голубых песцов, пахать землю, разводить животных. И люди будут жить в благоустроенных домах...

— Это, Максим Иванович, тоже правильно,— соглашался Ямай и поспешно спрашивал: — А от нас со старухой, например, какой толк?

— Упряжка старых оленей далеко не повезет. И от нас столько же толку,— проворчала Хадане, жена Ямая, сгорбленная костлявая старуха.— А в деревянном чуме мы жить не умеем. Разве можем на это решиться? Да и грех большой будет, ведь...— Хадане не докончила, заплакала и спрятала морщинистое лицо в платок.

Но Максим Иванович продолжал убеждать:

— Старики, конечно, не обязательно должны участвовать в колхозном производстве. Им нужно отдыхать, жить в тепле, уюте, жить спокойно. Поэтому зачем старым людям да маленьким детям кочевать по тундре в мороз и пургу, в дождь и гнус? Надо жить в поселках, в домах. Я согласен, что это непривычно и пугает вас. Но ведь и в колхоз вступать вы тоже ой как боялись! Я помню. А вступили — счастье нашли. Верно ведь?

— Дорогу в колхоз советская власть указала,— раздались в ответ голоса.

— А к оседлой жизни кто, по-вашему, дорогу указывает?

— Это выдумка молодых. Они грамотными стали, лишь с бумагой работать любят, не хотят возиться с оленями,— хором заговорили оленеводы.

Многое еще говорил тогда колхозникам Максим Иванович. И трудно было не соглашаться с ним. Убедительно получалось у него. Недаром столько лет учительствует. Наловчился.

Потом говорила колхозный лекарь Галина Павловна, белокурая русская женщина с голубыми глазами.

— Чум есть чум,— доказывала она по-русски, и ее слова тут же переводили на ненецкий язык.— И тесно, и

темно, и холодно. Не поставить ни кровати, ни столов, ни стульев. Жизнь в шалаше. Как тут можно соблюдать чистоту, создавать уют, жить культурно? Отсюда всякие болезни. А заболел человек — как ему помочь? Ведь чумы стоят друг от друга на расстоянии десятков, а то и сотен километров!

И это верно, нельзя не согласиться с Галиной Павловной!

Тут одна моложавая колхозница сказала: ненки, мол, не умеют жить и соблюдать чистоту, кто их научит этому? Но Галина Павловна на это ответила:

— Я первая охотно возьму шефство над женщинами-новоселами. Научу полы мыть, стирать белье, ухаживать за детьми — словом, чистоту соблюдать.

Тут библиотекарша Сэрне крикнула:

— Я тоже возьму шефство!

Она-то хоть бы молчала. Молода еще, чтоб учить женщин, как вести хозяйство, ухаживать за детьми. Выучилась на библиотекаря, стала грамотной, нарядилась в русскую одежду и думает, будто ей все под силу. Легкомысленная, видать. И зачем только сын Ямая Алет влюблен в нее? Красотой, наверно, Сэрне приворожила к себе парня. Они, как запряженные в одну нарту олени, всегда вместе, даже на собрании устроились рядом.

Последним выступил председатель колхоза Тэтако Вануйто. Ему лет тридцать пять. Коротко остриженный, гладко выбритый, в новом костюме да в белых кисах выглядел и того моложе, а рассуждал как опытный, знающий хозяин. Колхозники выбрали его председателем три года назад, и Тэтако руководил хозяйством не так уж плохо, но зачем же он заявляет так категорически: «Свой колхоз мы сделаем оседлым. И возражений никаких не может быть!»

Подумаешь какой властелин нашелся! Председателю-то что? Поселит колхозников всех вместе, чтоб жили под боком, тогда и по чумам ездить не надо. Хорошо ли старым людям в домах жить, плохо ли — не его горе. Он только о планах думает.

— Будем жить оседло, каждая рабочая рука будет приносить пользу, и план тогда станем успешно выполнять,— так закончил председатель свою речь.

Зааплодировали, конечно, ему кто помоложе да поглупее. А их большинство. И вот тогда-то решило собрание перейти на оседлость: весной в тундру со стадами отправ-

лять только пастухов, а всех оставить с чумами на центральной усадьбе. Государство дает материалы, средства, и люди начнут строить дома.

И началась невеселая жизнь. Курчавый сероглазый Алет первым подал заявление, чтоб для его семьи построили дом. Не послушался родителей, не внял ни уговорам, ни слезам. И правление удовлетворило просьбу Алета. Ему начали строить дом, а самого отправили на курсы в Салехард учиться на зверовода.

Совсем загоревали Ямай и Хадане. Остались они одни в чуме, поставленном на берегу реки Хале-Яха, что впадает в широкую Обь. Весной оленьи стада ушли на летние кочевья, далеко, к Красному морю. И старикам совсем скучно стало. Ничто уж не интересовало и не утешало их.

Как в тяжелом сне тянулось время для Ямая и Хадане: прошла весна, прошло короткое северное лето. А сын все не возвращался с учебы. Дом же, который строили для Алета на самом веселом месте — на пригорке у Оби, как назло, рос неудержимо быстро. Приближался час, когда Ямаю и Хадане предложат, а может, и насильно заставят навеки расстаться с чумом.

* * *

Зима, как белоперая полярная куропатка, задолго до месяца малой темноты — ноября — прилетела на своих метельных крыльях в тундру с Ледяного моря-океана и покрыла все вокруг мягким как пух снегом. Старик Ямай все чаще и чаще выходил из чума и подолгу смотрел на дорогу. Она вилась между штабелями досок и бревен, пересекала ровную гладь Оби и еле различимой стежкой уходила в сторону Салехарда. Чтобы лучше видеть, Ямай прикладывал ладонь к густым темным бровям и часами стоял возле чума, не спуская глаз с дороги. Из-под капюшона малицы свисали пряди седых волос, они путались с белыми усами и мягкой, жиденькой бородой.

Однажды Ямая вызвали в правление колхоза. Тэтако Вануйто торжественно заявил, что дом готов и Ямай, не дожидаясь Алета, может вселяться.

Сообщение Тэтако Вануйто взволновало Ямая. Он ответил, что ни сам, ни жена жить в доме не собираются. Они согласны переехать в поселок, но жить будут в чуме.

Долго, очень долго убеждал председатель Ямая и, ничего не добившись, отпустил домой.

Тэтако предупредил Ямая, что ждать, когда Тэседы согласятся расстаться с чумом, он не собирается и насильно вселит стариков в дом. Ему надо быстрее всех выполнить план по переводу колхозников на оседлость.

Ямай шел из конторы, тяжело переставляя ноги и понурив голову. В правой руке вместо посоха он держал таловый прут, который гнулся каждый раз, когда старик опирался на него. Нехорошо было на душе у Ямая, очень нехорошо.

День стоял ясный, безветренный. Бледно-голубое небо казалось огромным колпаком из тоненького-тоненького льда. Над еле видимым горизонтом на высоте в половину хорея висело солнце. Через месяц оно почти совсем уйдет из тундры, начнется долгая полярная ночь. В поселке чувствовалось большое оживление. Люди спешили до наступления темноты управиться со своими делами. То тут, то там слышался стук топоров, визжание пил. По улице то и дело проходили упряжки с нартами, нагруженными досками и бревнами.

Многолюдно и шумно было около торгово-заготовительного пункта. Здесь стояло больше десятка оленьих упряжек. Одни приехали из пастушеских бригад за продуктами, другие привезли пушнину — первую добычу в этом сезоне. Торопливой деловой походкой поднимались и спускались по ступенькам высокого крыльца люди, но Ямай ничего этого не замечал, не видел он и сияющие оконными стеклами новые дома. А может быть, не хотел видеть? Но вот, поравнявшись с одним из домов, он замедлил шаги и, повернув голову, стал внимательно смотреть на него. Из трубы белым столбом вился дым, но по стеклам окон, подернутым ледяным налетом, и по неубранному строительному мусору видно — тут еще не живут. Потоптавшись на дороге, Ямай сделал несколько нерешительных шагов в сторону дома и остановился. Он увидел возле крыльца мужчин: один — бородатый, русоволосый, в ватнике, валенках и в шапке-ушанке, надетой набекрень. Он складывал в высокий узкий ящик столярные инструменты. Другой — молодой ненец, одет в легкую рабочую малицу, подпоясанную широким ременным поясом с ножнами на боку. Капюшон малицы откинут на плечи, и в остриженных под кружок черных волосах виднеется запутавшаяся стружка. Молодой ненец выметал с крыльца сор. Старик сразу узнал их. Это русский столяр Федул и его ученик Матко Ядне.

Матко оглянулся и, увидев Ямая, весело воскликнул:
— Ха, сам хозяин пришел! Ань торово, дед!
Федул выпрямился.
— А-а, дед Ямай пожаловал! Здравствуй, хозяин! Иди, принимай дом.
Старик стоял и молчал, собираясь закурить.
— Ай-яй! Свой дом смотреть не хочет! — сказал Матко.
Старик холодно ответил:
— Хочу смотреть, не хочу смотреть — дело мое.
— О-о, дед Ямай, видать, сердит,— улыбнулся Федул, доставая папиросы.
Молодой столяр лукаво подмигнул:
— Наверно, председатель вызывал, в дом перейти агитировал. Ты что же, дед, не хочешь в доме жить?
— Это не твое дело,— сердито ответил Ямай и собрался уходить.
Федул поспешил к старику.
— Постой, постой, дед. Ты только погляди, как Матко утеплил дверь. А чулан-то какой сделал! Да пойдем, посмотрим.— Он взял Ямая за рукав и потянул за собой.
Старик, попыхивая трубкой, нехотя пошел.
— Зачем мне смотреть,— ворчал он.— Все равно старуха в доме жить не хочет, и я жить в нем не буду.
Федул по-ненецки понимал плохо и ничего не ответил. Войдя в сени дома, он показал старику обитую оленьими шкурками и покрытую мешковиной дверь.
— Смотри, дед,— начал он.— Видишь, внизу оленья шкура, а сверху мешковина. И тепло и прилично. Хорошо? — И чтобы было понятней, по-ненецки добавил: — Сачь саво! Очень хорошо!
— А-а...— протянул Ямай.
— Теперь никакой холод не страшен. А вот чулан. Клади сюда мясо, рыбу, вещи можешь хранить, места хватит. Вот, смотри.
Старик заглянул в открытую дверь чулана и ответил опять то же:
— А-а...
— Видишь, сачь саво,— улыбался Федул.— И это все сделал Матко. Молодец, хорошо сделал!
Ямай оглянулся. Матко стоял на пороге сеней. На его скуластом, широком лице написана гордость. Старик, посасывая трубку, смотрел на молодого столяра, как будто впервые видел его.

— Ты, дед, не сердись. На что сердишься — с тем и помиришься. Зайди-ка в дом, погляди,— посоветовал Матко.— Ох и хорошо у тебя в доме! Сейчас там женщины полы моют.

Федул распахнул дверь и пригласил старика:

— Добро пожаловать.

Дед неловко переступил порог.

— Тут шибко жарко.— Ямай опустил капюшон малицы и равнодушно начал разглядывать хотя и не оштукатуренные, но ровно обтесанные чистые стены и гладкий потолок прихожей.

В доме было две комнатки и кухня с прихожей. От раскалившейся плиты действительно было тепло.

— Ну, как? Хорошо?

— Ехэрам (не знаю),— уклончиво ответил старик, хотя в серых глазах его засветились искорки удовольствия.

— А вот загляни-ка сюда,— предложил Федул, слегда подталкивая старика в одну из двух комнат домика.

Ямай, держась за косяк, заглянул в правую от входа комнату и увидел там двух женщин, занятых мытьем пола. Одна из них выпрямилась и, увидев старика, улыбнулась:

— Здравствуй, дед Ямай. Зашел посмотреть свой дом?

Это была белокурая молодая русская женщина с румяными круглыми щеками, со светлыми голубыми глазами.

Старик поздоровался и спросил Матко:

— Это кто такая?

Тот засмеялся:

— Ха, разве не узнать? Это же Галина Павловна, фельдшерица наша.

Дед удивленно посмотрел на босую, с засученными выше локтя рукавами фельдшерицу.

— Верно ведь, Калина Палона,— сказал он, оживившись.— Она и есть. Она часто в мой чум приходит, старуху мою лечит, меня лечит.

— А ты не узнал меня, дед? — засмеялась фельдшерица.— Я учу Ензу полы мыть, стекла протирать в окнах.

— А-а...— кивнул старик белой головой.— Так, так...

Енза — высокая, средних лет женщина, тоже босая, в косынке. На спине — длинные тяжелые косы, похожие

на круглые палки. Она стояла с мокрой тряпкой в руке, стыдливо повернув лицо к окну.

— Идите туда, на кухню, а то Ненза стесняется вас,— сказала Галина Павловна.

Старик через открытую дверь оглядел другую небольшую комнату, Федул опять спросил:

— Теперь что скажешь? Хорошо?

— Саво,— чуть слышно ответил Ямай.

— То-то же. Еще бы! Не дом, а одно удовольствие, с обстановкой, со столами, стульями!

Потом все трое вышли во двор. Угощая ненцев папиросами, столяр спросил Ямая:

— Ну как, дед, перейдешь в дом?

— Зачем нам в дом переходить? — с обидой в голосе спросил Ямай.— Зайдешь в воду — умей плавать. Мы в чуме жить привыкли, в доме совсем не умеем...

— Это не беда. Вот Матко с женой столярное дело не знали, а теперь они и мебель смастерят, и раму оконную сделают. А Галина Павловна Нензу полы мыть учит. Дома строить, печи ставить колхозников не учат? Тоже учат. Сидор Николаевич плотников готовит, коми Гриша Рочев печному делу Яптика и Пиналея обучает. Э-э, да только не ленись и будь смелее, научиться можно всему. Все мы — и русские, и коми — всегда поможем вам. Живем мы в одной тундре, одним воздухом дышим, одну воду пьем, одну жизнь строим. Верно?

— Правильно, правильно,— Матко держал в руке ящик с инструментами.

Старик стоял молча. Потом попрощался и ушел.

* * *

Ямай долго стоял в нерешительности у своего чума. То-то будет сейчас, как узнает старуха, зачем вызывали его в правление. Наконец вздохнул и, захватив с собой охапку дров, вошел.

— Тебя только за смертью посылать,— проворчала старуха.— Ушел и пропал, как стрела, пущенная из лука.

Хадане, с маленьким сморщенным лицом и с пепельными волосами, заплетенными в две тощенькие косички, сидела на оленьей шкуре в левой половине чума и шила рукавицы.

Старик положил дрова перед железной печуркой, снял малицу, сел на правой половине чума, у печки, скрестив

ноги, обутые в еще добротные, но уже порыжевшие от времени меховые кисы.

— Не по своей воле задержался, Тэтеко виноват.— Ямай облокотился на колени.

Услышав имя председателя, Хадане насторожилась и с тревогой в голосе спросила:

— Зачем он вызывал тебя?

Ямаю не хотелось огорчать жену, но обманывать он не умел и все рассказал, умолчал только о посещении дома. Хадане отбросила в сторону шитье и, закрыв лицо руками, зарыдала. Старик не знал, как утешить бедную старуху, и принялся подкладывать дрова в печку. Потом набил табаком костяную трубку с медным ободком и, низко опустив взлохмаченную голову, начал курить.

Дрова разгорелись. Большой никелированный чайник на печке вскоре запел тоненьким комариным голоском. Подвешенная к шесту лампа плохо освещала чум и очень коптила. Хадане сидела в полумраке. Расстроенная, она долго плакала, а потом с руганью набросилась на старика:

— Вот беда-то, вот беда-то... И во всем ты, старый дурак, виноват. Зачем согласился остаться на фактории? Разве мы вдвоем не могли жить в чуме, кочевать со своими оленями? Вон старики Салиндеры отказались остаться на фактории, теперь по-прежнему кочуют в тундре, свежим воздухом дышат. А ты на старости лет береговым человеком захотел стать, в деревянном чуме жить собираешься. От оленей отказался, забыл, как они тебе достались...

Ямай выпрямился.

— Ты что же, старуха, не помнишь, как дело было? Разве я не протестовал, не ругался? Думаешь, только тебе жалко и тундру и оленей? Я их каждую ночь во сне вижу. Молодежь с кочевой жизнью расстаться захотела. Хочет жить по-новому. Что мы с тобой могли сделать? Вот теперь на фактории сидим и, наверно, последние дни в чуме живем. Так получается.

Старуха вспылила:

— Нет уж, я в чуме родилась, в чуме и умру!.. Мои родители в чуме прожили и мне завещали. Почему ты сегодня председателю не сказал: пусть, мол, в доме молодые живут, старым ненцам в деревянном чуме жить не положено, они помнят заветы своих отцов и дедов. Легко же ты старые обычаи забываешь!

— Не забываю. Я три часа, однако, спорил с председ-

дателем. Я — свое, а он — свое. Сама знаешь, какой он, этот Тэтако.

— Что он понимает? Он еще молод. Откуда ему знать, почему наши предки в чумах жили?

Старик, чуть склонив голову, с расстроенным лицом слушал.

— Разве предки наши могли дома строить? Откуда бы они лес достали? В тундре он не растет. Теперь его на пароходах возят. Раньше разве могло так быть? Не могло, так я думаю.

— Ничего ты не понимаешь, совсем дураком стал,— перебила старуха.— Посмотри вверх. Видишь мокодан? Небо видишь? Ты небо видишь, тебя добрые духи видят и слышат, когда ты у них помощи просишь. В доме жить будешь, добрые духи не будут знать, как ты живешь, чем помочь тебе. Там мокодана нет, там потолок, на потолке земля. Я сама видела, как туда землю таскали. Как же тебя добрые духи слушать будут? Ты в чуме сидишь, улицу не видишь, и тебя с улицы не видят. Злые духи, которые по земле ходят, не видят, не знают, как ты в чуме живешь. И на сердце у тебя спокойно. А в доме кругом окна, злые духи тебя будут видеть, ты их можешь увидеть — испугаешься, с ума сойдешь.

— Что ты, что ты, старуха,— зашевелился Ямай на другой половине чума.— Зачем такое говорить?

— Вот видишь? — не переставала Хадане убеждать своего мужа, точно старик был виноват во всем.— Ты ничего про это не думаешь.

Ямаю надоело слушать жену, и он, несколько раз звучно пососав трубку, недовольно буркнул:

— Хватит, однако, учить меня. Я сам все хорошо понимаю.

— Нет, не хватит. Я еще не все тебе сказала. По-новому жить будешь — по-новому тебя и похоронят: в землю зароют, как падаль. Сделают тут новый хальмер[1] и будешь лежать рядом с русским или зырянином. На могилу тебе нарту не поставят. Как ты тогда попадешь в царство Неизвестности[2]? Будет тень твоя по свету блуждать, как

---

[1] Хальмер — кладбище.

[2] У ненцев есть поверье, что душа умершего должна попасть в «царство Неизвестности». Для этого покойника, обеспеченного «в дорогу» всем необходимым, вплоть до трубки и табака, кладут на нарту и ставят ее передком на север, в сторону Вечной Темноты.

бездомная собака,— и Хадане ехидно взглянула на мужа.

— После смерти все равно где лежать. Так я думаю,— сказал Ямай, желая прекратить перебранку. Он знал — жена в таких случаях плюнет и махнет рукой.

Но Хадане на этот раз заворчала еще громче:

— Вот и дурак, совсем дурак стал! С таким дураком как дальше жить? Уеду в тундру, обязательно уеду. А ты оставайся с сыном, со снохой и живи в доме!

— Да я в доме жить не собираюсь. Куда я без тебя? Хватит об этом говорить.— Старик откинулся на постель и подумал: «Старая лайка потому и лает, что зубы тупы, не знает, как жить дальше».

Хадане еще долго ругалась, но муж притворился спящим и больше не отзывался. Наконец старуха замолчала, стала хлопотать возле печки, изредка бросая сердитый взгляд на Ямая, лежавшего на боку, положив голову на свернутую оленью шкуру.

* * *

Ночью звонкий скрип разбудил старика Ямая. Еще не совсем проснувшись, он пошарил рукой, но нарты не было, и он понял, что спит в своем чуме, а снег скрипит на улице, а не под ним.

Старик сбросил с себя меховое одеяло и сел, прислушиваясь к щелканью оленьих копыт и невнятному разговору на улице. «Видать, кто-то из стада приехал»,— подумал Ямай. Он надел кисы, затем нащупал впотьмах малицу, напялил ее на себя и вышел из чума в морозную темень.

Две чем-то нагруженные оленьи упряжки стояли возле чума. Около них копошился человек. Тут же недалеко стоял второй и, махая рукавами, снимал с себя дорожную одежду — гусь. Люди показались старику незнакомыми, он спросил:

— Кого добрый ветер занес?

Тот, что был у нарты, выпрямился.

— Что, не узнал, отец? Здравствуй!

— Алет! — радостно воскликнул Ямай.

Они крепко обнялись. Сын спросил:

— Наверное, не ожидали?

— Да ведь ты не сообщил, когда точно приедешь.

— Я и сам не знал, когда удастся выехать. Случайно попутная нарта попалась. А мама спит? Здорова?

— Здорова. Сейчас разбужу, обрадую.— Ямай быстро пошел в чум.

Вскоре Алет и хозяин упряжки сидели за столиком вместе со стариками, ели строганину из мерзлой оленины, о которой так часто вспоминал молодой зверовод в Салехарде. Старая Хадане, в накинутой на плечи новой клетчатой шали — подарок Алета, любовалась красивым сыном и повторяла:

— Ну вот, наконец-то ты приехал! Теперь материнскому сердцу будет легче

Двадцатипятилетний Алет, стройный и гибкий, со светлым лицом, карими глазами, чуть вздернутым носом, был похож на мать. Черные, кудрявые, подстриженные сзади волосы казались шапкой на его голове. Тонкие, темные брови и темный пушок над верхней губой отчетливо выделялись на чуть обветренном лице. Он был в меховых кисах и в белой рубахе, заправленной в брюки.

Ответив на вопросы родителей о его городской жизни, стал расспрашивать про дела родного колхоза. Старики охотно подробно рассказывали сыну про колхозные дела, как бы стараясь подальше отодвинуть разговор о доме. Однако радость по случаю приезда сына была так велика, что старики под конец сообщили о готовности дома. Только отец сказал все же:

— Ну и пускай! Нам-то что.— Он собирался закурить новую красивую трубку, привезенную ему в подарок.

Алет обрадовался, но почему-то ни слова не промолвил о переселении в дом, и старики еще более оживились.

Утром после завтрака Алет рассчитался с хозяином упряжки и хотел было снять с нарты какую-то тяжелую вещь, но, подумав, попросил:

— Подвези это к нашему дому, чтобы мне не тащить на себе.

Хозяин упряжки согласился. Ямай, попыхивая новой трубкой, стоял рядом. Было еще темно, и старик не мог разглядеть, что лежит на нарте.

Он подошел ближе и, пощупав спинку кровати, удивился:

— Это что такое?

— Это, отец, железная кровать, хорошая, большая.

Если бы другая вещь была на нарте, старик еще бы не раз пощупал ее, похвалил бы, спросил, сколько стоит, но Ямай знал, что эта покупка Алета нужна только тем, кто живет в доме. Старик промолчал, потихоньку отошел в

сторону. «Совсем по-городскому жить хочет,— подумал он, глядя на сына, одетого в пальто, шапку-ушанку с кожаным верхом и валенки.— И сам на городского похож».

Алет обратился к отцу, показывая на нарту:

— Садись, отец, подъедем к нашему дому.

— Сам дорогу знаешь, зачем мне ехать туда? — сухо ответил Ямай.

Алет пожал плечами и погнал упряжку. Ямай с грустным видом долго смотрел вслед уходящим в темноту нартам. И когда они скрылись за штабелями досок, вошел в чум.

— А где Алет? — с беспокойством спросила жена.

Старик рассказал о привезенной сыном железной кровати и начал ругать Алета. Хадане подхватила:

— Вот и дождались радости: сын приехал,— заговорила она.— Вместо того чтобы помочь нам в беде, сам немедленно начал вселяться в дом. Даже не посоветовался с нами. Вот какие нынче дети. Тьфу!

— Тэтако Вануйте только этого и надо. Ему лишь бы план выполнить.— Ямай сидел на своем обычном месте и зачем-то держал в руках обе трубки — старую и новую.

Старуха вздохнула.

— Быстро договорятся. А потом Алет поспешит сделать в сельсовете бумагу о женитьбе на Сэрне. Недаром широкую кровать привез. Она-то небось не откажется в доме жить, науськает глупого парня скорее из чума уйти.

— Науськает, так я думаю,— подтвердил старик.— Только Сэрне-то, говорят, уже в доме живет.

— В доме, да не в своем. Брат хозяин. А тут она хозяйкой будет.

— Почему она, а не мы? — неожиданно вырвалось у Ямая.

Хадане грозно уставилась на мужа.

— Что значит мы? Ты в уме или тоже в дом захотел?

Старик стал оправдываться: мол, не то хотел сказать, оговорился. А Хадане, и без того расстроенная, вспыхнула, как сухая хвоя на горячих углях. Она принялась ругать старика, что он позволил Алету увезти в дом кровать, не надоумил сперва позаботиться о работе да подольше побыть с родителями, с которыми не виделся столько времени.

— Опять я виноват, вот беда,— Ямай тяжело вздохнул, хотел было что-то сказать, но махнул рукой, встал и вышел на улицу.

* * *

К обеду Алет вернулся веселый, возбужденный. Снимая пальто, он рассказал, как в правлении обрадовались его приезду. Звероферма почти уже готова, нужно только привезти зверей и начать работу. А сейчас ему дали неделю для отдыха и устройства семейных дел.

— Обошел всю факторию. Здорово изменилась — вырос большой поселок,— с радостью сказал Алет.

Печальные Ямай и Хадане молчали и делали вид, будто его совсем не слушают.

— Что случилось? Почему такие печальные? — спросил Алет.

— Из-за тебя, хорошего нашего сына,— с дрожью в голосе ответила мать, рассеянно помешивая ложкой в кастрюле.

— Из-за меня? Что плохого я сделал?

— Заживо хочешь схоронить нас, вот что,— Хадане поднесла к глазам край накинутой на узкие плечи шали, привезенной сыном.

— Что ты, мама, что ты? — Алет опустился рядом с отцом на оленью шкуру и улыбнулся.

Старик сидел молча, внимательно прислушиваясь к разговору старухи с сыном. Хадане прерывистым голосом продолжала:

— Зачем в дом кровать увез? Туда перейти собираешься?

Алет опять улыбнулся:

— Стоит ли из-за этого расстраиваться? Дом-то какой хороший! Вы видели? Нет? Напрасно. Очень хороший дом. Я в его каждый уголок заглянул. Везде хорошо сделано. Даже печку проверил — нисколько не дымит. Я уже документы на него получил — вот они! — сын вынул из кармана бумаги.— Теперь мы хозяева этому дому. Можем хоть завтра вселиться.

— Завтра? — не выдержал отец.— Это как же так, сынок? Мы что, для тебя ничего не значим? Нельзя было посоветоваться с нами, с родителями? Плохо это, так я думаю.

А старая Хадане отошла на свою половину и тихо-тихо заплакала.

Алет сокрушенно развел руками:

— Вот беда. Как же быть?

Они долго молчали, погруженные в невеселые мысли. Алет еще несколько раз повторил вслух: «Как же быть?

Как же быть?» Видно было, что он действительно растерялся и не знал, что же ему делать, как поступить. Никогда не было такого случая, чтобы родители так решительно восставали против него.

— Хорошо,— наконец сказал он.— Я подумаю, посоветуюсь с людьми. Мне не хочется огорчать вас, а потом страдать, мучиться из-за этого. Я же люблю вас, сами знаете.

— Вот это другое дело,— оживился Ямай.— Конечно, все хорошенько обдумать надо.

Хадане тоже заговорила:

— Ты любишь нас, милый сын, а мы любим тебя. Ты у нас единственный, вся наша надежда и опора.

Алет направился к умывальнику.

— Обедать-то скоро будем?

— Сейчас соберу,— мать легко поднялась и принялась хлопотать возле низенького столика.

Отец весело воскликнул:

— Верно, давно пора обедать. Ведь и вода иногда заволнуется, да опять успокоится.

Обед прошел почти что в молчании. Старик пытался завести беседу про разные дела, но разговор почему-то никак не клеился. Алет сидел и думал: «Ну как же быть? Где найти выход?»

После обеда он надел малицу и счистил снег возле чума, а потом незаметно куда-то исчез. Может, к своей невесте убежал? Кто его знает. Они давно не виделись, поди, соскучились.

* * *

Алет вернулся вечером какой-то странный: с родителями разговаривал рассеянно, отвечал невпопад и вызывал у них смех. Он помог матери приготовить ужин и попросил сварить еды побольше и повкусней.

«Соскучился по домашней еде,— решила Хадане.— Да и проголодался, видно».

Перед ужином пришел к Тэседам учитель Максим Иванович. В чуме все обрадовались его приходу.

— Зашел навестить,— сказал, поздоровавшись, Максим Иванович.— Давненько не был, все некогда, а ведь мы друзья с вами.

— Как же, как же! — ответил старик.

Максим Иванович спросил стариков про их здоровье и жизнь.

— Нам лекарь Калина Палона болеть не разрешает,— шутил Ямай и пригласил гостя сесть рядом.— Наши стариковские кости, верно, другой раз ноют, да уж, видно, так должно быть.

— Болеть не надо,— сказал гость.

Старик засмеялся.

— Вот и ты не велишь. Как тут будешь болеть?

Максим Иванович тоже засмеялся, потом сказал:

— Красивая у тебя трубка.

— Сын в подарок привез, а старухе — шаль вон какую,— с гордостью сообщил Ямай.

— Молодец. Значит, не забыл о своих родителях. Теперь с сыном вам еще лучше будет. Скучали без него? — Гость сидел на оленьей шкуре, скрестив ноги совсем как ненец.

— А как же, скучаем — о тундре, об оленях тоже очень скучаем.— Хадане накрывала на стол.

— Я каждую ночь тундру и оленей во сне вижу,— вмешался Ямай.— Как их забудешь? Их никогда не забыть. Всю жизнь в тундре с оленями кочевали. Своих-то оленей у меня не было. Недаром ведь фамилия у нас Тэседа — Безоленный. Раньше мы со старухой у богача оленщика Хороли батрачили, его оленей пасли. Ты, Максим Иванович, помнишь, сам ведь помогал нам уйти в колхоз. Теперь у меня оленей не меньше, чем у богача Хороли: десять тысяч голов в колхозе. А нас от них оторвали, в поселок привезли. Разве это хорошо? Это шибко плохо, так я думаю.

Алет не вмешивался в разговор. Он помогал матери: наколол и принес дров, подложил их в печь, нарезал хлеб.

— Да? — в ответ старику сказал учитель.— Не зря привезли в поселок колхозников, отец, не зря. Настало время переходить на оседлую жизнь, с кочевкой кончать надо.

— М-да...— промолвил старик.

Хадане пригласила всех к ужину.

— Подвигайся к столу, Максим Иванович. Старуха хорошее жаркое приготовила,— пригласил Ямай.

А жаркое и верно оказалось на славу. Учитель попробовал и сразу же похвалил хозяйку. Та легонько вздохнула:

— Когда-то умела готовить хорошо. Теперь уже силы у меня мало. Скоро совсем не будет.

— Надо молодую хозяйку взять. Ведь Алета-то, пожалуй, и женить уже пора. Невеста у него есть, кажись, неплохая — Сэрне Лаптандер,— сказал гость, беря ложкой из глубокой сковородки жирную оленину.— Вот перейдете в свой дом, жените Алета и тоже начнете помогать колхозу.

— Чем? — Ямай уставился на гостя, держа на ломтике хлеба кусок жаркого.

— А вот чем. У молодых появятся дети. Когда Алет с женой уйдут на работу, вы будете нянчить внучат — вот и ваша помощь колхозу! И тогда уж скучать вам будет некогда.

— Верно, верно. Правдивое слово дороже денег,— старик хотел было еще что-то добавить, но осекся и виновато посмотрел на жену.

На минуту все замолчали. Хадане, опустив голову и по-стариковски медлено пережевывая пищу, задумалась. И вздохнула:

— Страшно в дом переходить.

— Бояться не надо,— продолжал учитель.— Теперь в какой колхоз ни придешь, везде переходят на оседлость. Значит, весь народ тундры пойдет по этой дороге, и отставать не следует. Вот скажи, отец Ямай, если от стада олень отстанет, что с ним будет?

Старик не задумываясь ответил:

— Может в чужое стадо попасть, может потеряться, одичает, и в свое стадо его уже не пустят.

— Так же и с людьми бывает. Помните Тяпку Яунгада? Он ведь батрачил у Хороли и, как верный пес, остался служить своему хозяину, когда все в колхозы объединялись. А потом один с женой кочевал по тундре со своими оленями. И чем все это кончилось?

Ямай поднял седую голову.

— Тяжело пришлось Тяпке, ой как тяжело! В колхозе мы хорошо жить стали, тогда Тяпка в колхоз стал проситься. Наверное, думал, он умнее нас. А мы его в колхоз не хотели принимать.

— Почему?

Старик Ямай пожал покатыми плечами:

— А как же иначе? Он колхоз поднимать не помогал, на готовое пришел. Ну потом, верно, приняли его, жалко стало: бедняк все-таки, да и темный был, совсем темный. Слепой, глупее животного.

Учитель положил ложку на столик и, вытирая носо-

вым платком жирные губы, продолжал рассказывать:

— Через несколько лет в тундре люди будут богато жить. Зайдешь в дом ненца и удивишься: яркий свет горит, радио играет, и молодые и старики — все веселые, жизнерадостные, одеты хорошо. Одни сидят — книги, газеты читают. Другие спорят. Не по-плохому, а по-хорошему спорят: не знают, что купить на заработки. Один говорит: «Надо всей семье по новому костюму купить и по красивой малице сшить». Другой говорит: «Надо на эти деньги всей семьей в Москву съездить, Москву посмотреть». Откуда у них столько денег? Вот откуда: колхоз-то теперь оседлый, все колхозники заняты работой, у всех заработанного много. А в доме Алета лучше всех: он же заведующий зверофермой, одних черно-бурых лисиц полтысячи! Доход-то какой колхозу! «Ну, как живешь, Алет?» — спросишь его. «Очень хорошо живу,— ответит Алет,— детишки растут, все здоровы. Плохо только — стариков нет».— «А где они?» — «Да они в чуме живут,— скажет Алет,— не захотели со мной в доме поселиться, в тундру уехали, одни со своими оленями кочуют. Теперь просятся в дом, а народ не велит принимать, колхозники говорят: «Они нам оседлую жизнь строить не помогали, все ругали нас, себя умнее нас считали. Теперь на готовое идти хотят. Пускай помучаются, как Тяпка...»

Старики сидели опустив головы.

Ямай взглянул на жену, затем посмотрел на пустую сковородку на столе и спросил старуху:

— А чай почему не подаешь?

Хадане с накинутой на плечи клетчатой шалью сидела притихшая. Она, казалось, даже не слышала слов старика. Алет, вертя в руке ложку, сияющими глазами смотрел на учителя, словно только это и хотел слышать от него. Когда Ямай упомянул о чае, Алет посмотрел на стол и убрал лишнее. Старуха будто очнулась и с какой-то особой расторопностью начала разливать крепкий, ароматный чай.

Горячий чай пили со сгущенным молоком, лепешками и мороженой морошкой. Алет сидел, то и дело поглядывая на учителя, будто ожидая от него еще чего-то.

После ужина, вдоволь наговорившись, Максим Иванович вдруг сказал:

— Да, чуть не забыл. Ваш друг Вэрья обижается на вас.

— Обижается? За что? — изумились старики.

— «Когда, говорит, в чуме жил, Ямай и Хадане навещали меня, а теперь совсем не заходят. Наверно, сердятся, что в доме живу».— Гость поднял голову.— Он ведь всех старше в колхозе, надо уважать его. Вы говорите, вам вдвоем скучно, а Вэрья весь день один сидит. Нехорошо так делать, очень нехорошо. Зашли бы к нему.

Старики молча переглянулись.

— Что верно — то верно, нехорошо получается.— Ямай выбил из трубки пепел, снова набил ее табаком.

— Надо сходить к нему,— заговорила старуха,— а то умрет старый человек, так и не попрощаемся.

— Конечно,— поддержал сын.— Вы бы посмотрели, как у них хорошо в доме.

Старики снова переглянулись,— значит, сын уже побывал у невесты.

Максим Иванович посоветовал старикам побольше быть с народом; пройтись по поселку, посмотреть, как колхозники строят дома, поговорить с ними, зайти в контору, там всегда людно, побеседовать с молодыми охотниками, оленеводами, помочь им своим советом.

Поговорив еще немного, Волжанинов стал собираться домой.

— Теперь буду знать, что старики Тэседы здоровы и живут хорошо.

Хозяева уговаривали его посидеть еще немного, но учитель задерживаться больше не мог. Ему вечером предстояло проверить целую стопку ученических тетрадей и подготовиться к урокам.

Максим Иванович, пожимая руки старикам, опять словно вспомнил:

— Да, а дом свой видели?

— Я видел,— ответил Ямай.

— Ну и как?

— Ничего, хороший дом, красивый, так я думаю.

— А хозяйка видела?

Старики промолчали. За них ответил сын:

— Не видела еще.

— Вот это нехорошо,— осудил гость, держа в руке пыжиковую шапку-ушанку.— Надо посмотреть, все ли добротно сделано, так, как надо, может, где недоделки есть.

Старики опять переглянулись и вздохнули.

Волжанинов стоял одетый в тюленью тужурку и чуть не доставал головой до шеста чума. Он легонечко потро-

гал рукой длинные, свисающие почти до плеч белые волосы Ямая и, встретив его взгляд, промолвил:

— В косы надо заплести. Почему распустил волосы?

— Зачем в косы? Стричь надо,— засмеялся старик.— Некому было, теперь Алет приехал, пострижет.

Учитель еще раз пожелал старикам доброго здоровья и стал прощаться с Алетом. Тот, крепко пожимая руку Максиму Ивановичу, благодарно взглянул ему в глаза. Гость весело подмигнул:

— Ничего, молодой зверовод, все будет в порядке.

* * *

На следующее утро Алет опять собрался куда-то.

— Не хочешь побыть с родителями! — заметила мать.

— Дел много,— ответил сын и как бы между прочим напомнил: — У Вэрьи не забудьте побывать сегодня.

— Не свататься ли посылаешь? — Хадане с чуть заметной улыбкой взглянула на сына.

Алет тоже улыбнулся, но отвел глаза.

— Не обязательно свататься. Максим Иванович советовал вам навестить старика.

— Сходим навестим, а сватать Сэрне подождем. Верно, старуха? — отозвался Ямай.

После ухода сына старики занялись домашними делами и лишь перед обедом начали собираться к старому Вэрье. Приоделись получше: Хадане — в добротную меховую ягушку — шубу, в кисы с узорами и в новую клетчатую шаль, а Ямай — в новую малицу и тоже в кисы с узорами. Палку-трость на этот раз взяла в руки жена. Старик решил обойтись без палки. Он чувствовал сегодня себя бодро. После вчерашней беседы с Максимом Ивановичем старуха казалась добрее, от этого на душе у Ямая сделалось легче — надоело слушать бесконечные споры, ругань жены.

Хадане поставила на печку приготовленный для сына обед, и они вышли из чума. Солнце, красное, как прозрачная чаша с брусничным соком, висело низко над тундрой, не в силах подняться выше, словно привязанное невидимым арканом к земной спине — горизонту.

Поднявшись на горку, старики оглянулись на свой чум и пошли гуськом по дороге, ставшей уже улицей. Вскоре они поравнялись со своим домом, и Ямай остановился:

— Смотри, старуха, вот наш дом!

Хадане, не оглядываясь, продолжала ковылять по до-

роге и даже чуть ускорила шаги, будто старалась скорее уйти от опасного места. Ямай еще раз окликнул ее, Хадане опять не остановилась, и старик, махнув рукой, пошел за ней.

Дом, где жил Вэрья, был таким же новым и аккуратным, как и их дом. Подойдя к крыльцу, Ямай и Хадане старательно выбили снег с меховых кис, потом поднялись по ступенькам и стали шарить по двери, ища скобу. На шорох выглянула Сэрне и радостно воскликнула:

— Ой, это вы! Входите, входите, пожалуйста!

Девушка широко распахнула дверь, и старики вместе с клубами морозного воздуха ввалились в дом.

— Ани торово,— поздоровались они и по очереди подали Сэрне руку. Потом поинтересовались, дома ли дед Вэрья.

— Дома, дома, куда же он пойдет, совсем уж слабый стал.— Сэрне попросила гостей раздеться и пройти в комнату.

Ямай и Хадане разглядывали девушку, будто впервые видели ее. Уж очень хорошенькой показалась она им на этот раз. Сэрне двадцать лет, она стройна и подвижна, с румяным овальным лицом и ясными карими глазами. Мягкие темно-русые волосы ее подстрижены чуть пониже ушей и зачесаны назад. В синей шерстяной юбке, в джемпере и мягких меховых бурках-сапогах, отороченных белой заячьей шкуркой, Сэрне выглядела нарядной.

Девушка заметила пристальные взгляды стариков, смутилась и стала рассказывать, что брат и сноха на работе, а дома она и дедушка. Сэрне помогла гостям раздеться и повела их в комнату. Гости оказались одетыми тоже нарядно — Хадане в бордовое шерстяное платье, а Ямай — в зеленую вельветовую куртку с замком-«молнией». Сэрне подумала, что старики пришли сватать ее, и густо покраснела.

— Дедушка, гости пришли,— громко произнесла она, войдя в комнату.

Старик Вэрья сидел у стола, поставленного в простенке между окнами, читал или рассматривал какую-то большую бумагу, расстеленную на столе. Он даже не шевельнулся.

— Совсем плохо слышит,— пояснила Сэрне и, подойдя вплотную к старику, еще раз громко сказала ему о гостях.

Вэрья поднял голову, приложил ладонь к уху, по-

смотрел на внучку. Сэрне взглядом показала чуть в сторону, и тут только он увидел гостей.

— А-а, старые знакомые пожаловали, оказывается,— обрадовался Вэрья и, тяжело поднявшись, сделал шаг навстречу Ямаю и Хадане.

— Ани торово, ани торово! — стали они горячо здороваться.

— Пришли проведать тебя, давно не виделись,— сказал Ямай, держа в зубах новую трубку.

Вэрья закивал остриженной под ершик пепельной головой.

— Знаю, знаю, сын приехал. Это хорошо.

Гости переглянулись. Сэрне поспешила объяснить деду:

— Гости говорят: пришли навестить тебя. Слышишь? Навестить!

— А-а, это тоже хорошо,— опять закивал старик и показал на ухо: — Маленько плохо слышать стал. Присаживайтесь, гости, присаживайтесь.

Сэрне тоже стала приглашать гостей сесть, показала на стулья, табуретки. Хадане хотела было опуститься на оленью шкуру, постеленную на полу перед кроватью, но Сэрне взяла ее под руку и заботливо усадила на стул. Ямай примостился на табуретке рядом с женой.

— Очень рад, что не совсем еще забыли меня,— улыбаясь, сказал Вэрья и занял прежнее место у стола.

Старик был в коричневой фланелевой толстовке, в просторных черных брюках, а обут в меховые чулки-чижи. Безбородое лицо со множеством глубоких и мелких морщинок еще сохранило тундровый загар и даже сейчас казалось свежим.

Завязался непринужденный разговор о житье-бытье, здоровье, самочувствии и, конечно, о новом жилище. А потом пошли осматривать дом. Он оказался чистым и светлым: стены побелены, на окнах — белые, как свежий снег, занавески и шторы, на столах — клеенки и скатерти, в обеих комнатах — деревянные, покрашенные охрой кровати. Они заправлены байковыми одеялами и с грудой подушек в цветастых наволочках. На стенах портреты, в углу одной комнаты этажерки с книгами и даже большие, выше тундровых кустарников, цветы, а на сундуке швейная машина. На кухне чисто, опрятно, на стене полки для посуды, на полу кадка для воды.

— Совсем как у русских или зырян,— сказала Хада-

не, когда гости и хозяева вернулись в первую комнату.

— Хорошо теперь у нас,— с гордостью похвалился Вэрья.— И все это благодаря внучке Сэрне. Умеет она по-новому жить и сноху приучила. Недаром Сэрне в Салехарде училась, культработницей стала. Верно, внученька? — Вэрья нежно, по-родительски коснулся рукой Сэрне.

— А как же иначе, дедушка? Коли в дом перешли, надо жить культурно. Я и в стенгазете пишу об этом.— И Сэрне показала на большую бумагу, лежавшую на столе.

Вот что! Оказывается, на столе стенная газета! Сэрне пояснила, что в красном уголке все время люди. И там неудобно оформлять газету, поэтому она принесла работу домой. Этот номер посвящен переходу на оседлость, в ней много критических заметок и карикатур. Сэрне прочла вслух несколько заметок, показала смешные рисунки. Старики вдоволь посмеялись над колхозниками, которые отлынивают от участия в строительстве колхозного поселка.

— А вот тут,— Вэрья показал корявым пальцем на пустое место в газете,— Сэрне напишет мои слова, а внизу я поставлю свою тамгу [1]. Верно, внученька?

— Обязательно напишем, как же,— кивнула головой Сэрне.

— Это о чем же будут твои слова? — спросил Ямай.

Сэрне объяснила, что многие суеверные колхозники отказываются жить в домах. Дедушка тоже не сразу бросил чум, а теперь ему очень нравится жить в доме. Вот он и хочет написать об этом в стенгазету.

— Я сам бы не догадался,— медленно заговорил старик.— Это внучка додумалась. Она считает, что от моих слов будет большая польза. Умная у меня внучка,— Вэрья опять нежно коснулся девушки.

Сэрне бросила взгляд на деда:

— Зачем хвалишь меня? Даже неудобно... Ну, я пойду обед готовить. Гостей-то надо угостить. А вы тут беседуйте. Хорошо?

— Иди, иди, готовь скорее,— Вэрья легонечко подтолкнул внучку к двери на кухню.

Гости не стали отказываться от угощения и уговари-

---

[1] Тамга — родовой знак.

вать хозяев не беспокоиться. Северяне народ гостеприимный, они все равно не отпустят гостя, прежде чем не накормят и не напоят его.

Когда Сэрне ушла, Ямай спросил хозяина дома:

— Ты что же, не веришь больше нашим поверьям?

Вэрья ухмыльнулся, почесал затылок и, потирая ладонью меховые чулки-чижи на колене, негромко ответил:

— Может, иногда верю, иногда — нет. Раньше шаман говорил: «Ненцам мыться нельзя, кожа будет тонкой. Зима придет — сразу замерзнешь». А мы, дураки, верили, в баню не ходили, даже не умывались. Теперь в колхозе баня есть, кто хочет — в баню ходит. Я тоже стал часто в баню ходить. Мыться там шибко хорошо. Вы ведь тоже в баню ходите, сами знаете. Старым людям в баню ходить обязательно надо, кости погреть, чтобы они мягче стали и болеть перестали. Я когда в баню схожу, ой как хорошо становится! Дышать легче и уши лучше слышат. Наверно, чуть-чуть моложе становлюсь.

И все трое засмеялись. Ямай и Хадане добавили, что после бани и сон крепче и спокойнее.

Вэрья сидел, облокотясь на стол и держа ладонь возле уха.

— Или вот другое дело взять,— продолжал он.— Когда в дом вселялись, я так думал: «Теперь, наверное, скоро умру. Чем я дышать буду? В доме воздуху мало. Над головой потолок, землей засыпанный, мокодана нет, кругом окна, недобрые духи беспокоить будут. Напрасно так думал. В доме воздуху больше, чем в чуме, тепло и света много. Злые духи и болезни в дом не придут. Я теперь реже болею, лучше слышать стал...

Ямай повернулся к старухе:

— Вот видишь! А ты все говоришь...

— Не мешай человеку рассказывать,— перебила его старуха.

— Если машиной лечить будут, может, совсем вылечусь.— Вэрья говорил тихим голосом, задумчиво глядя на Ямая.

— Что это за машина? — поинтересовался Ямай.

Вэрья поднял голову, пожал угловатыми плечами:

— Не знаю. На днях ребятишки из школы прибежали, говорят, учитель им сказал: в Салехарде, в доме лекарей, есть машина, рентгент, что ли, называется. В ту машину человека поставят, посмотрят и увидят, где ка-

кая болезнь сидит. Может, и наш лекарь Калина Палопа такую машину получит.

— Вот чудо-то,— не удержалась старуха.

— А ты говоришь...— опять начал было Ямай, но, заметив нахмуренные брови старухи, осекся и стал вертеть в руке блестящую трубку, словно хотел похвастаться ею перед стариком.

— Да, чудо настоящее,— подтвердил Вэрья.— И сколько таких чудес появилось на свете! Ой, много пришлось мне увидеть, много. Да ведь много лет я и прожил: всех пережил — братьев и сестер, сына, сноху, родителей Сэрне, теперь вот с внуком Хэмо в доме живу. Вот до чего дожил! — Задумавшись, подперев голову ладонью Вэрья закрыл глаза и стал рассуждать вслух: — Иногда думаю: вот день настанет, и я в царство Неизвестности попаду. Родные, знакомые будут меня там спрашивать, как в этом мире люди живут. Я им расскажу про колхозы, пароходы, самолеты, спутники, про лекаря да про машину, которая все болезни в человеке видит. Расскажу им и про то, как ненцы в домах живут. Однако не поверят, ни за что не поверят! Скажут: «Ты, Вэрья Лаптандер, без меры много жил, совсем ум потерял». Эх, что они знают! Вот теперь бы жить-то!..

— Да-а, теперь хорошо жить,— закивал головой Ямай.

— Вот об этих моих думах и напишет внучка в газете. Пусть глупые люди читают, за ум берутся. Правильно решила сделать моя внучка, очень правильно. А как вы считаете, будет польза от моих слов?

— Ты же, друг Вэрья, всех старше в нашем колхозе. Тебе не верить нельзя, так я думаю,— уверенно сказал гость, а старуха промолчала и опустила голову.

Наконец Вэрья обратил внимание на новую трубку Ямая. И гость охотно сообщил о подарках сына. Гостья тоже оживилась и показала шаль — подарок сына.

— Хороший у вас сын, заботливый и красивый,— сказал хозяин дома.— Уже несколько раз бывал у нас. С внучкой моей дружат, все шушукаются о чем-то. Я плохо слышу, хорошо им секретничать,— Вэрья тихо засмеялся.

Гости тоже засмеялись. Хадане махнула рукой:

— Теперь молодых не поймешь. Возьмут да поженятся — и все.

— Ну и пускай женятся. Сэрне вон какая чистоплот-

пая, умеет жить в доме. И тебя, старуха, научит,— оживленно заговорил Ямай.

— Молчал бы хоть у чужих людей.— Хадане осуждающе взглянула на мужа.

— А чего молчать? — И Ямай рассказал Вэрье о новом доме и опасениях старухи.

Вэрья выслушал Ямая, подавшись всем телом вперед и стал уговаривать Хадане поверить ему, старому знакомому, что ничего плохого не будет. Тут появилась Сэрне и пригласила всех в другую комнату обедать. На столе кроме всего прочего оказалось и вино. Старики еще более оживились, а когда выпили по стопке, беседа стала шумной. Вспомнили кочевую жизнь, и Хадане прослезилась.

К обеду пришли брат Сэрне и сноха. Они тоже были несколько удивлены неожиданным приходом Ямая и Хадане.

Сэрне все ждала, когда гости заговорят о сватовстве. Но сколько беседа ни длилась, гости ни словом не обмолвились об этом, и хозяевам стало ясно, что Тэседы зашли к ним посмотреть, как бывшие кочевники живут в своем новом, необычном жилище. Карие глаза девушки сделались немного грустными, разочарованными. Однако при расставании, пожимая ее руку, заметно захмелевший Ямай все же не удержался и сказал:

— Ты нам понравилась. Когда-нибудь опять зайдем и Алета возьмем с собой.

— Заходите, заходите,— дружно заговорили хозяева.

Глаза у Сэрне вновь засияли радостью.

По дороге в свой чум Хадане наконец отважилась заглянуть в свой дом. Должно быть, ей было очень тяжело переступать порог необжитого жилища. Опираясь на палку, она еле передвигала ноги.

— Да быстрее! Идет, будто босиком на лед наступает,— торопил Ямай, распахнув дверь.

— Страшно что-то мне! — приглушенно произнесла старуха.

Когда вошли в дом, старик посоветовал:

— Ну, смотри хорошенько, как Максим Иванович велел.

Минуту постояли молча. В доме было тепло и тихо. Хадане взглянула на потолок:

— Ой как высоко! — и, постукивая палкой по полу, робко пошла за мужем.

— Смотри, какая большая комната,— начал пояснять

Ямай.— А вот кровать Алета. Да иди смелее, не оглядывайся. Кто тебя поймает? Здесь никого нет. Вот погладька рукой. Видишь, какая кровать гладкая? Я тебе говорил. Все равно что моя новая трубка.

Старуха недовольно поморщилась:

— Опять со своей трубкой. Ты уже вдоволь ею у Вэрьи хвастался.

— Ну ладно, не ворчи, ведь первый раз вместе в свой дом зашли. Здесь жить будем, ты все время ворчать будешь? Так может получиться,— серьезно предупредил старик.— Ну, как? Хорошая кровать?

— Красивая, гладкая, блестящая. Наверное, во всем колхозе нет такой кровати. У Лаптандеров вон деревянные.

— Конечно, ни у кого нет! Вот узнает народ — по всей тундре молва пойдет: сын Ямая и Хадане спит на железной блестящей кровати. Ай, хорошо, так я думаю.— Ямай откинул капюшон малицы и пригладил свои длинные волосы.— А теперь подойди сюда. Вот какой стол у нас будет. Не такой, как в чуме: высокий, длинный. Да ты не морщись, опять греха боишься. Старик Вэрья что сказал? Оттого, что на стол облокачиваемся, говорит, достаток в еде не убывает, наоборот, каждый день все лучше кушаем [1]. Сама ведь его слова слышала!

— Слышала, конечно...

— Ну и вот. А это табуретки. Это все русский Федул да Матко для нас сделали. Ах, как хорошо сделали! — Ямай уселся на табуретку.— Ты, старуха, тоже садись на такое сиденье. Посидим немного, никто ведь не видит. Да не так садись. Зачем на краешек садишься? Упасть можешь. Смотри, как я сижу, даже ноги до полу не достают.

— Так-то скорее упадешь,— возразила старуха.

— Ну ладно, садись как умеешь,— махнул рукой Ямай и шутливо добавил: — Вот будем сидеть и друг на дружку смотреть.

— Зачем нам друг на дружку смотреть? Ты лучше смотри на стены. Почему у Лаптандеров стены белые, а у нас нет? — недовольно заговорила Хадане.

Старик пояснил, что у тех дом сперва глиной промазали, потом побелили.

---

[1] У ненцев есть поверье, что, если облокачиваться на стол, можно лишиться достатка в пище.

— А почему у нас так не сделали? — лицо старухи начало мрачнеть.

— Наверно, не успели, так я думаю.

— Коли не успели, зачем торопят в дом переходить? Мы что, хуже Лаптандеров? У них вон как хорошо, везде бело, а у нас что? Пусть тоже так наш дом сделают, тогда и перейдем.

Ямай забеспокоился:

— Ну, опять заворчала. Я же говорю, нельзя ворчать, нельзя ругаться. Первый раз ты сюда зашла. Вон лучше гляди в окно. Ой как хорошо — все видно! Улицу, дома видно, тундру видно, все видно!

С шумом отодвигая табуретки, оба поднялись на ноги, подошли к окну.

— Смотри,— продолжал старик.— Кто-то тес везет. Ах, как хорошо! Кто пройдет или проедет, все видно. Когда наш внук плакать будет, возьмем его на руки, к окошку поднесем, скажем: «Во-он, гляди, та-ля-ля-ля!» Он посмотрит и плакать перестанет.

— Молчи, не болтай зря,— строго заметила жена.— Пойдем посмотрим другую комнату.

Шурша одеждой, пошли в другую половину дома. Там, кроме стола и табуреток, оказалась за печкой у стены широкая деревянная кровать, покрашенная, как и у Лаптандеров, охрой.

— Ха, даже кровать для нас приготовлена! — весело воскликнул Ямай и тут же растянулся на ней, чтоб померить, не коротка ли.

— Совсем как маленький! — опять сердито заметила жена.

— Померить надо.— Ямай поднялся, сел и опять принялся хвалить обстановку комнаты.

Вскоре в сенях послышался разговор, а затем отворилась дверь и вошли Алет с председателем колхоза Тэтаком Вануйто. Оба в малицах и валенках.

— Ага, старики здесь,— не то удивленно, не то радостно сказал председатель и поздоровался с Ямаем и Хадане.— А ты говоришь, родители не хотят дом свой посмотреть. Видишь, они пришли!

— Пришли, оказывается,— заулыбался Алет.

— А я хотел было вселять сюда другую семью,— серьезно заметил председатель.— У нас план выполнять надо, а вы долго тянете.

Алет добавил:

— Да-да, верно, другим хотел отдать наш дом. Мы хлопотали, надеялись, а достанется не нам.

Хадане сердито уставилась на Тэтако Вануйто:

— Это как же так? Вот еще?! Наш сын бумагу писал, хорошее место выбрал, а ты другим отдаешь?

— Не выйдет, товарищ председатель! — твердо произнес Ямай.— Завтра же перейдем, так я думаю.

Алет облегченно вздохнул, просиял лицом, а мать как-то по-особенному взглянула на мужа и опустила глаза.

Вануйто весело предложил:

— Ну, коли такое дело, пусть дом ваш будет!..

* * *

Ямай со старухой весь вечер были одни. Сын ушел на заседание правления. Хадане сидела на корточках перед железной печкой и задумчиво глядела на жаркий огонь через прорези в дверце. Ямай лежал на постели, заложив руки за голову, тоже погруженный в думу.

— Да, что прошло — не воротишь, что пролито — не соберешь,— произнес он, глядя куда-то вверх.— Жизнь меняется, и человек меняется. Раньше что он знал? Голод знал, нищету знал, дымный чум знал, на богача оленщика день и ночь работал, шаманам верил. Ой как крепко верил! Думал, сильней шамана никого на свете нет! Человек темный был, совсем темный, неграмотный. Потом коммунисты, русский народ принесли в тундру советскую власть. Работающие люди в колхозы сошлись, на богачей работать и шаманам верить перестали. В чумах вместо дымных костров железные печки появились, ненцы грамоте учиться начали. Теперь кто помоложе прежнюю жизнь не знает. Алет кулаков и шаманов плохо помнит. В домах будут жить, про чумы забывать начнут, внуки наши в сказках только про чум прочитают. Так я думаю.

Старуха, не меняя позы, отозвалась:

— Ты вот тоже многое не помнишь, забывать стал. У забывчивого человека память, как хвост олений, коротка.

— А что?

— Когда по тундре кочевали, злых духов и болезней остерегались, то о сядэях помнили. Теперь в дом перейти собираемся, ты, видно, про них и не думаешь?

Ямай повернулся на бок и молча глядел на жену, о чем-то задумавшись.

— Ну, что молчишь? — заворчала Хадане.— Иди, пока сына нет, отнеси сядэев в дом, спрячь куда-нибудь получше.

Ямай, кряхтя, сел и, глядя вниз, стал чесать затылок. Старуха сердито посмотрела на него.

— Тебе, видать, неохота идти, совсем разленился.

— Я не могу припомнить, где наши сядэи.

Ямай еще что-то хотел сказать, но жена, тяжело поднимаясь на ноги, затараторила:

— Вот еще! Он не знает, где священные сядэи! Ты совсем без ума стал.

— Ну зачем ты так раскричалась? — миролюбиво произнес старик.— Сядэи никуда не делись, я их подальше спрятал, чтоб злым людям на глаза не попались. Погоди, я сейчас припомню.

...Когда-то ненцы крепко верили в деревянных божков, похожих на грубо сделанные куклы без рук и ног. Они возили их с собой в особой «священной» нарте, которая на стойбищах всегда стояла позади чума. Этих божков — сядэев — часто «угощали»: мазали лица оленьей кровью, чтобы они помогали людям добывать счастье и удачу в жизни. Но, вступив в колхоз, старики все реже стали прибегать к сядэям за помощью, в последние годы прятали их от молодежи. Когда Ямая и его жену весной оставили на фактории, старик по настоянию жены положил сядэев в старую поломанную нарту, которую колхозные пастухи бросили на берегу речки. Старик подтащил ее к чуму, и она стала «священной нартой».

Как-то летом ребятишки, играя на берегу, забрались в нарту, нашли в ней деревянных кукол со следами высохшей крови и понесли купать их в речке. Ямай вовремя заметил пропажу и поспешил с руганью к детям, но озорные ребятишки бросили сядэев в речку и убежали от старика. Ямай с большим трудом достал из воды двух сядэев: божка своей старухи и божка сына. Третий сядэй — божок самого Ямая — уплыл. Старик долго следил за ним, пока быстрые струи Хале-Яха не вынесли сядэя в мутные волны Оби. Ямаю стало очень грустно. Ему казалось, что добрый дух-хранитель покинул его и теперь впереди только одни несчастья. Он рассказал жене о проделке детей, но о потере сядэя умолчал. Старуха отругала мужа за то, что он не наказал ребятишек, опасаясь, что

от них теперь не будет покоя. Так оно и получилось: озорники почти каждый день стали заглядывать в эту нарту. Ямай взял сядэев из «священной» нарты, но принести их в чум не решался, чтоб старуха не обнаружила отсутствия одного божка. Он долго думал, куда бы их спрятать, и наконец сунул сядэев под нюк[1] снаружи, с той стороны, где стояла «священная» нарта.

С тех пор Ямай забыл о деревянных божках. Хадане несколько раз напоминала, что надо сядэев «угостить» оленьей кровью. Ямай как-то пропускал это мимо ушей, да и свежей оленьей крови не было...

Вспомнив все это, старик ответил:

— Ты всегда без причины ворчишь. Я же тебе говорю — знаю, где сядэи спрятаны, сейчас отнесу в дом,— и, надев малицу, вышел из чума.

— Свежей кровью угостить их не мешало бы,— вслед старику сказала Хадане.

— Пока угощать будешь, Алет придет,— ответил Ямай из-за двери.

Было темно. На небе не сияла ни одна звезда. В воздухе заметно потеплело. Старик подошел к месту, где спрятаны сядэи, разгреб ногами снег, нащупал край нюка и хотел приподнять, но он примерз к земле. Ямай оторвал его, нащупал рукой божков, они тоже примерзли. Старик стал отрывать их от нюка: одного оторвал легко, а у другого отлетела голова. Ямай стал думать, как быть. Вертя в руке сядэя, старик усмехнулся: «Не везет нам с Алетом. Придется только одного отнести в дом». И пошел было, но вернулся и подобрал голову второго сядэя. «Пускай будет сломан,— думал он.— Мне-то какое дело. У меня вон совсем божка нету, и то живу, даже не болел».

По дороге к дому он думал: «Вот какая темень, а старуха заставила тащиться из-за сядэев. Конечно, можно было бы отказаться, но тогда, чего доброго, жена стала бы опять противиться переходу в дом». А Ямаю после посещения Вэрьи почему-то очень захотелось жить в доме. «Ладно уж,— думал Ямай,— я сядэев где-нибудь на улице положу, найду место».

Зайти в дом старик не решился. Поднявшись на крыльцо, он жег спички в поисках какой-нибудь дыры,

[1] Нюк — покрышка чума из оленьих шкур или бересты (летом).

но не нашел и положил сядэев над дверью за панель.

Старик вернулся в чум веселый, словно выполнил какое-то важное задание. Хадане спросила, где он спрятал божков. Старик врать не стал и сказал, что в дом зайти он побоялся, положил сядэев на дверь за доску.

— Вот и хорошо,— одобрила жена.— Сядэи не впустят в дом недобрых духов.

Хадане сделалась заметно бодрее, затеяла разговор со стариком, делясь впечатлениями от посещения Вэрьи и своего дома.

Алет пришел поздно.

— О чем же так долго говорили на заседании? — спросила мать, глядя на улыбающегося сына.

Алет, моя руки, стал рассказывать, что было на правлении. Весь вечер прошел в спокойной беседе. Никто и не обмолвился, что завтра они будут переходить из чума в дом.

* * *

Ночью старуха разбудила Ямая.

— Вставай, засвети огонь,— полушепотом сказала Хадане.

Ямай, поеживаясь от холода, напялил на себя малицу, кряхтя, поднялся на ноги и, несколько раз чиркнув спичкой, засветил лампу. Старики посмотрели в ту половину, где, зарывшись головой в меха, безмятежно, чуть посвистывая носом, спал их сын.

— Спит. Не думает, что это последняя ночь в чуме. Разбудить? — Хадане подняла глаза на мужа.

— Зачем?

— В последнюю ночь все обсудить хорошенько надо, потом поздно будет.

— Да-да,— согласился Ямай.— Утром будем в дом перебираться.

Хадане повысила голос:

— Утром? Почему непременно утром?

Старик понял, что сказал совсем лишнее. Подойдя к постели, он опустил капюшон малицы, сел и, вынув трубку, стал набивать ее табаком.

— Конечно, не обязательно утром,— проговорил он наконец.

— Это только Алет может придумать. Ему все равно, готова семья к переезду в дом или нет. Надо разбудить его, пусть и он в последнюю ночь не спит, обдумает все,

— Зачем сон прерывать? У него все уже обдумано, так я думаю.

Хадане зябко куталась в меховую ягушку.

— Напрасно ты, старик, всех сядэев в дом отнес.

— Ты же велела.

— А ты и рад,— заворчала старуха.— Мне что-то всю ночь жутко, не знаю отчего. Хоть бы одного сядэя оставил.

Ямай вздохнул:

— Верно, старуха, нехорошо сделали. Хорти был бы жив, и то веселее, полаял бы. Теперь без собаки живем, совсем плохо,— Ямай вспомнил своего верного старого пса.

Слова эти навели старуху на мысль, за которую она ухватилась как утопающий за соломинку.

— Если бы в тундре жили, может, Хорти жив был. В поселке даже собака сдохла. Нам, старым людям, здесь, видно, тоже долго не жить.

— Ну зачем, старуха, такое говорить. Хорти старый был. Он бы все равно и в тундре подох.

— А ты не старый, ты, видать, молодой. Давай печку затопи, в холоде, что ли, всю ночь сидеть будем? Я сегодня спать совсем не могу, да и вещи подготовить надо.

И они оба не спали в эту ночь. Старик затопил печку, и они, негромко разговаривая между собой, принялись собирать свои вещи. Но собирать уже нечего было. Кроме постелей и посуды, все, как обычно, находилось в меховых и замшевых мешках да узлах.

Дрова в печке догорали, и Ямай вышел на улицу. Вернувшись с охапкой крупных свежих щепок, он весело сказал:

— Ах, хороший сегодня денек будет, старуха! Снег свеженький выпал, тепло, безветренно, и небо прояснилось. Солнечный будет денек!..

— Я не думаю, чтобы сегодня был хороший день,— ответила на это Хадане.— У меня с вечера ломило ноги, а это всегда к непогоде.

Ямай, подкладывая дрова в печку, ухмыльнулся:

— Тебе, старуха, все хочется, чтобы не так было, как я говорю.

Хадане собралась что-то ответить, но тут сын заворочался в постели, и она промолчала.

— Вставай, вставай,— обратился к сыну отец.— День сегодня хороший будет: снежок выпал, тихо, тепло, ясно.

— О, это хорошо! Сегодня ведь в дом переедем! — Алет быстро встал с постели.

— Знаю, знаю, сынок, потому и говорю.

А Хадане вздохнула и посмотрела на сына.

— В дом переходить сегодня? А ты вчера нам не сказал, чтобы мы подготовились.

— А что тут готовиться-то, мама? Не по тундре ведь кочевать.

— По тундре...— опять вздохнула старуха.

Во время завтрака она вздыхала, то и дело напоминая, что это их последнее чаепитие в чуме и они в последний раз греются у железной печки. Ямай же был в хорошем и приподнятом настроении.

После завтрака Алет сказал:

— Я пойду в правление, попрошу у председателя упряжку оленей, вы подготовьте все вещи.

Отец весело подмигнул жене:

— На оленях прокатимся, старуха, на оленях-то с вещами легче будет, так я думаю.

Поджидая Алета, старики оделись так, словно они собрались в дальнюю дорогу. Отец даже подпоясался широким пастушеским ременным поясом с ножнами, металлическими и костяными украшениями. Мать надела длинную добротную ягушку, подпоясалась вязаным кушаком и старательно обвязала голову клетчатой шалью. Сидя среди узлов, свернутых постелей, Хадане рассматривала бахрому своего цветного кушака, погруженная в невеселую думу.

Пришел сын.

— Ну, подводы готовы — две упряжки! — весело сообщил он.

Ямай быстро и легко поднялся:

— Уже достал? — И, заглянув за дверь, удовлетворенно добавил: — Верно, две нарты. Молодец, сынок! Ну, старуха, давай собираться.

— У меня все собрано,— еле слышно ответила Хадане.— Можете выносить, грузиться...

Алет промолчал. Он боялся неосторожным словом расстроить мать окончательно. Отец и сын принялись выносить из чума разукрашенные ненецкими узорами меховые и замшевые мешки, набитые одеждой и обувью стариков, оленьи шкуры, посуду. Затем они сложили вынесенный скарб в нарты. Хотели было привязать сзади к одной из упряжек нарту с продуктовым ларем, но подводы и так были тяжело нагружены.

— Ладно. Ты, сынок, отвези это и возвращайся с подводами, а я останусь с матерью. Одной ей тяжело будет в пустом чуме.

Вид у старухи был печальный. Чтобы незаметнее скоротать время, Ямай рассказывал ей смешные истории, но они не утешали Хадане, а вызывали еще большую грусть.

Алет вернулся не один. Вместе с ним приехала фельдшерица Галина Павловна и Сэрне. Ямай весело поздоровался и поблагодарил девушек за внимание. Когда на нарты погрузили все вещи, старик обратился к жене:

— Ну, милая старуха, пойдем к оленям. Давай-ка поднимайся!

Старик взял жену за руку, чтобы помочь ей встать. Хадане тяжело поднялась на ноги и, сделав шаг к выходу, вдруг зарыдала.

— Как мне с чумом расстаться! — простонала она и упала в обморок.

Галина Павловна и Сэрне приводили Хадане в чувство, а Ямай опустился на колени возле жены и дрожащим голосом испуганно повторял: «Вот беда! Вот беда!»

Наконец Хадане привели в чувство. Она сидела бледная, как мездра оленьей шкуры, выветренной на морозе. Когда она успокоилась, ее под руки вывели из чума и усадили на передней упряжке.

Алет и женщины разбирали чум, а Ямай хлопотал возле жены: старательно укрывал ноги, укутывал ее теплой одеждой, будто предстоял долгий путь. Хадане уже не плакала, жмуря от ярких лучей солнца покрасневшие глаза, она грустно глядела на чум.

К упряжке подошли Максим Иванович и Тэтако Вануйто. Они весело поздоровались со стариками.

— Хороший день вы выбрали для новоселья! — сказал учитель.

— Очень хороший день, Максим Иванович. Мы знаем, какой день выбрать надо! — отозвался старик.

Председатель колхоза улыбнулся.

— Наверное, поэтому и не хотели переезжать так долго?

— Конечно,— Ямай хитровато посмотрел на старуху.— То мороз, то ветер. А сегодня ах какой ладный день! Такой день хорошую жизнь сулит. Верно, мать?

Хадане ничего не ответила, еще ниже опустила голову.

Молодые люди уже уложили в нарту мешки, а сверху привязали железную печь и трубы — все сделали так, как обычно делают в тундре. Деревянные шесты решили пока оставить. Вскоре обоз из двух оленьих упряжек и привязанной сзади нарты с продуктовым ларем тронулся с места. Старики ехали на передней упряжке, которую вел их сын. За ней следовала вторая упряжка, привязанная к предыдущей. Молодые женщины, Вануйто и Максим Иванович шагали рядом с неторопливо двигающимся обозом.

— Совсем как в тундре при кочевке,— произнес Максим Иванович.

— Да-да, мы сегодня кочуем,— закивал головой старик и показал рукой на залитые солнцем новые дома, что виднелись впереди.— Мы из старой жизни в новую кочуем! Это шибко большая кочевка, последняя наша кочевка, так я думаю.

Старуха же всю дорогу не проронила ни слова. А когда настало время слезать с нарты и выгружаться, ей опять сделалось плохо. Ее внесли в дом, и Галина Павловна насилу привела Хадане в чувство. Очнувшись, старуха некоторое время молчала, дрожа всем телом, как в лихорадке.

Новоселье получилось невеселое. Гости и хозяева разговаривали вполголоса, остерегались, как бы опять не расстроить Хадане.

Максим Иванович нервно шагал по комнате, где на полу на оленьей шкуре сидела удрученная Хадане, поглядывал на нее и почесывал подбородок. Ямай же, не раздеваясь, уселся на кровати и усиленно задымил трубкой, как после трудной работы. А председатель Тэтако Вануйто давал советы девушкам, что и как лучше расположить в доме.

Вдруг Хадане опять громко зарыдала.

— Ой, не могу я без чума! Ой, не могу!.. Поставьте чум обратно!..— повторяла она.

— Да, чум придется поставить,— твердо произнес Волжанинов.

— Зачем ставить? Ведь уже в дом вселились! — удивился Тэтако.

— Нет, еще не совсем вселились,— парторг стоял возле старухи, заложив руки назад.— Чум надо поставить рядом с домом, возле крыльца. Места хватит.

— Что вы, Максим Иванович,— воскликнул Алет.

— Разве ты не видишь, как все это переживает твоя мать? — Волжанинов глядел на Алета.— Неужели тебе не жалко ее?

— Почему не жалко? — Алет посмотрел на вздрагивающие от рыдания плечи матери.— Но это же позор: дом, а рядом чум...

— Не-ет, так не пойдет, Максим Иванович! — сказал Тэтако.— И без того не можем с чумами разделаться, а тут нате вам — чум посередине поселка! Что это за оседание?!

— Но не век же он здесь стоять будет! — разъяснял парторг.— Вот сейчас последнюю кочевку уже сделали, осталось преодолеть еще несколько шагов. И Хадане их преодолеет, непременно преодолеет!

— Правильно, Максим Иванович, правильно! — вскочил с места Ямай.— Чум поставить надо. Мы со старухой там и тут жить будем. Маленько привыкать надо, так я думаю!

Волжанинов посоветовал Алету сейчас же поставить чум, но Алет заупрямился и даже рассердился.

— Что я, дурак, что ли? Засмеют же все,— с сердцем сказал он и бросил взгляд на Сэрне.

Та ответила, что ничего плохого тут нет, надо посочувствовать старикам. Галина Павловна добавила, что у Хадане слабое сердце и надо ее поберечь. Председатель, поразмыслив, присоединился к мнению Волжанинова.

— Чум вам будет вместо веранды,— пошутил он.

— Ну и поезжайте сами за шестами, если так! — окончательно рассердился Алет.

И не поехал. Шесты привезли без него, однако чум он собирал вместе со всеми, только был страшно зол и ни с кем не разговаривал. А мать, видя, как за окном вырастает ее привычное жилище, успокоилась, даже сама поднялась на ноги и вместе со стариком начала собирать свои пожитки.

* * *

Небольшая семья Тэседы жила в двух жилищах. Старики спали в чуме, а сын — рядом, в доме. Хадане не умела готовить пищу на плите и кухарничала в чуме, а ели с первого дня на кухне. Так прошло несколько дней.

Начались сильные холода и бураны. В одну холодную и метельную ночь старики замерзли в чуме и перебра-

лись в дом. Правда, спали они на полу — лечь на кровать побоялись: с непривычки можно упасть и ушибиться.

Буран бушевал много дней. Алет хорошо отапливал дом, и старики были довольны. Однажды Хадане призналась, что она не умеет жить в доме и ей нужна помощница.

Алет понял, о чем говорит мать, и вскоре Тэседы сыграли свадьбу, а заодно и новоселье.

Старуха подолгу бывала в чуме, но он скорее напоминал подсобное помещение, а не жилье. Даже железную печурку не всегда она подтапливала, экономя дрова для дома. Так было зимой.

Когда же закапал первый дождик, Ямай и Хадане собственноручно сняли с чумовых шестов нюки — выделанные, сшитые вместе оленьи шкуры, чтобы они не промокли. Попутно разобрали и черный, закопченный скелет старого жилища, небрежно выбросив сухие жерди к дровам.

* * *

...Вспомнив все это при виде ледохода, Ямай невольно оглянулся назад. За спиной стоял, словно выточенный из мамонтовой кости, новый дом, в его окнах отражались веселые солнечные блики. В одном из окон старик увидел лицо жены и помахал рукой, вызывая ее к себе.

Вскоре на крыльце появилась Хадане в суконной с узорами ягушке.

— Ты зачем меня звал? — спросила она мужа.

— Иди сюда на горку. Полюбуйся на ледоход. Вон как здорово,— Ямай поднялся с нарты и стал показывать рукой вниз, на реку.

Хадане в меховых туфлях засеменила по высохшей лужайке к реке. Закрывая ладонью глаза от солнца, она долго смотрела на плывущие по всей ширине Оби потемневшие льдины и на зеркальную водную гладь, показавшуюся за изгибом реки.

— Свежая вода гонит старый лед, совсем гонит,— сказала старуха и, легонько вздохнув, добавила: — Будто новая, оседлая жизнь гонит прежнюю, кочевую.

— Правду говоришь, старуха,— Ямай нежно коснулся рукой жены.— Я тоже только что об этом думал.

Хадане взглянула на мужа.

— Ну и пускай гонит. Пусть старые льды кочуют себе.

— Это у них тоже последняя кочевка,— кивнул остриженной под польку головой Ямай.— Только для них это погибель, а для нас последняя кочевка — счастье. Так я думаю.

И оба улыбнулись.

1961

ЖИВУН

Глава первая
ПРОЩАЙТЕ, МУЖИ!

1

Летели
стая
за
стаей
лебеди,
гуси,
утки...

Мчались быстрее выпущенной из тугого лука стрелы.

Радостный гомон оглашал поднебесье:

— Клун, клун!.. Га-га-га!.. Свию, свию!..

Скорей, скорей в родные гнездовья! В понизовье Оби — белые приполярные ночи, синие разливы рек и озер.

Люди задирали головы, с нежностью встречали пернатых путешественников, кричали приветливо:

— Давно ждем вас! Худа никогда не приносили! Давайте жалуйте к нам, на свою родину!..

Теплели глаза, смягчались лица, ожиданием чего-то хорошего наполнялись сердца.

Не зря молвится: доброе весной рождается...

* * *

Именно в эту пору четыре семьи уезжали из Мужей на новое поселение.

Все село только о том и говорило.

Из Мужей еще никто не уезжал насовсем.

Сто лет стоит село на крутом берегу Малой Оби, что течет вдоль Приполярного Урала. Первые поселенцы, начавшие рубить здесь избы, давно покоятся под могильны-

ми крестами. Было в Мужах с десяток дворов, теперь перевалило за полтораста. Вырастали дети, отделялись, строились. За лесом дело не вставало. Вокруг вековые кедры да лиственницы! Молодые семьи, словно поросли, коренились, пускали побеги. Те от себя. Так усадьба за усадьбой ширились Мужи. А еще случалось, по дремучему урману забредали сюда редкие странники — беглые. Приживались, обзаводились немудреным хозяйством. На всех хватало рыбы в Оби, зверя и птицы в тайге. Летом приходили пароходы, купцы забирали рыбу, пушнину, в обмен давали снасть, порох-дробь, ружья, соль, муку, картошку, лук, особенно любимый женщинами,— в чай его кладут, как ягоды. Водку — само собой. Жили. Сыты через край не были, но и голодом не сидели. На сторону не уходили. Разве девку какую замуж выдадут, отпустят в другое село, если своих женихов не хватало.

Семьями уходили из Мужей впервые.

А все Варов-Гриш, Гриша-балагур, забавник. Сдружился с Куш-Юром и пошел народ баламутить.

Куш-Юр — что он понимает в зырянской жизни, Гологоловый! Неводил? Нет. Зверя промышлял? Нет. Политический... Кабы не пошел против царя, знал бы он, что есть на свете Мужи? Ну и живи, коль в селе остался. Назначили властью — ставь печать, речи говори, у кого охота есть — помозолит уши.

Балагур, он и есть балагур — чего с Гриша возьмешь! Хлебнул горя на войне, в плену у немцев помытарился, домой еле ноги приволок, мать и жена не сразу признали — исхудал, как олень в гололедицу. Хоть и четвертый десяток живет, а в голове так ничего и не прибавилось, право слово. От дорогих могил уходит, от родных уходит, от своего народа. Уж не помрачение ли в уме?

Так рассуждали иные старики. Их поддерживали другие:

— За коим лядом людей с места сбивать? Зырянин — не ханты, не ненец, оседлый он спокон веков.

Молодые — те горой за Варов-Гриша:

— Молодец, что уходит! Мужи — земля-плывун. Бродница — грязь да лужи. Того и гляди, светлым днем утопнешь. В непросмоленных пимах — все равно что без обувки. На неводьбу ли, по селу ли — в броднях. Жаль только — не позвать будет дядю Гришу на посиделки, не послушать его певучей тальянки, нежных и шуточных

песен, его занятных сказов про иные края, где малиц не носят, в пимы меховые не обуваются, где не бывает белых ночей, а люди живут в высоченных избах — одна над другой, и никакая лесина, хоть небо подпирает, не скроет этих изб, и ездят там люди на двух колесах — ногами вертят и катят, катят... Во-он где побывал, что повидал дядя Варов-Гриш! Бывалый мужик. Раз надумал ехать, значит, так надо, так хорошо. Пускай едет. Мы за ним следом.

— Во-во,— ворчали старики,— куда балагур, туда и ветрогоны. Мужи — святое место! Вода-то в ближнем озере и зимой подо льдом не застойная, не заморная, без ржавого духа. Рыба в ней не дохнет. Из-за родников-живунов. Живун — место наше! Другое такое поищите. Деды-прадеды были не дурнее, знали, где домиться. Жили — слава богу! Кому что суждено, то и получали.

Но, кажется, больше всех распалились женщины.

— Ум у мужика спьяна и не так помутится. Но Елення, дурья голова, что думает? Мало ей! Старшенького своего, Ильку, так же вот сгубила. Поехала в путину к мужу и парнишку с собой потащила. В дороге застудила, на ногах теперь не стоит, руки — плети. Сейчас и меньшенького эдак же угробит. Накажет господь ее!

Мужики — хозяева и кормильцы — были сдержаннее в суждениях. Они пропускали мимо ушей ворчание стариков, восторги молодежи, бабью болтовню. В том ли дело, что не сидится Гришу в Мужах?! Постоянную парму[1] придумал. Вместе с бабами и детьми мужики едут — вот ведь что! Лодки — в складчину, невода-сетки в складчину, порох-дробь — в складчину, добычу — поровну и даже котел летом — общий, сколько ртов — столько ложек...

Как до этого доходило, мужики-кормильцы запинались.

— Твоя баба каждый год носит. Моя — раз рожала, и того бог прибрал. Ты дюжину раз хлебнешь, а я — два...

Хотелось решительно отвергнуть, но резкое слово с языка не сходило. Сказать недолго, а как промахнешься? Балагур-то он балагур, Гриш, однако себе не враг, очертя

---

[1] Парма — небольшая бытовая артель на основах взаимопомощи. Практиковалась издавна у северян в летний сезон.

голову с детишками и бабой в ловушку не сунется. Может, так к лучшему?

Часами посиживали, подымливали трубочками, маракoвали — не прогадать бы. Мысли ворочались медленно и туго, все бралось в расчет.

Припасы на исходе. Купцов ждать не приходится, новые начальники, вроде Куш-Юра, пускать их не стали. Обманщики, мол, людей обирают. Так-то оно так, да кабы в мир-лавке, «копративе» энтом, хоть бы мышь ночевала. А то харчей нет, винки и подавно. Куш-Юр бает — мор на Большой Земле. Дети мрут, женщины мрут, мужики мрут, словно рыба в тухлой воде. Земля посохла, потрескалась. Ничего не родит, как бесплодный олень-хабторка. И скотина дохнет. Вот ведь оказия какая, многопечальная! Верить — нет Куш-Юру, что самый большой начальник — Ленин — про северных людей тужит. Из амбара главной мир-лавки обещает чуток муки прислать. А больше ничего нет. Снастей и припасов и в главном амбаре тю-тю. Колчаки да богатеи извели, изурочили, ироды. Заводы, фабрики порушили, по винтику растащили. Шибко все изуродовано, вскорости не починишь. К нонешней поре не успеть. Вот уж что к будущей. Худо, очень худо. Как бы с оленями ягель зимой не щипать. Уж и так полно нищих, с сумой по селу ходят. Одна надея — на рыбу. Наловить ее, насолить, сколько можно... То-то и оно... А где промышлять-то? Все ближайшие угодья оскудели, даже озеро с живой водой... И где соль взять? И снасть прохудилась...

— Однако балагур он балагур, Гриш, а смикитил. На новых, привольных угодьях да в складчину, верно, поболе наловишь и насолишь...

И опять перебирали условия пармы, доходили до общего котла, запинались...

— Пармой на неводьбу — куда ни шло. Это бывало в рыбалку. У соседа маленько соли, у меня какая-никакая снастишка. Вот супрягом и порыбачим. А кому, может, сподручнее сетишками сложиться, из двух-трех — один добрый невод изладят. Опять своя парма. Поневодят и разойдутся. Дележка — по уговору. На работника — пай, на двух — два пая. Или как по-иному. Никому не обидно. Никто не внакладе. Опять же — на обжитом месте. Новой избы не ставить, шмотья не перетаскивать, баб и детишек не везти. А тут — нате-ка. Поезжай насовсем к черту на задворки. Живи в лесу, как медведь. Да еще и

охотничай зимой... пармою. А как? Ватагой, что ли, ходить на белку? Всех зверей перепугаешь. Охота — не неводьба. Зимой все одно промышлять придется врозь. Только как же тут с дележкой-то поровну? Один — хороший следопыт, меткий стрелок, другой — так себе, а третий — и ружье-то держать не умеет...

— Ни к чему затея Гриша! Уж лучше жить, как привыкли,— на обжитом месте.

Говорили вроде бы твердо, но нерешительно.

Были и злорадствующие, из недавних сельских воротил.

— Пусть, пусть дурачится голь неразумная. Шиш у них выйдет, к разбитому корыту воротятся... Без нас ни у кого ничего не выйдет!..

А про себя думали — вот им-то, богатеям, не худо бы захорониться где-нибудь в тайге, подале от красных антихристов, пока не рухнет новая власть, не вернутся старые порядки...

Пересуды разгорелись с новой силой, когда стало известно: с Гришем уезжает непутевый, шепелявый мужичонка Сенька, по прозвищу Германец. Все село смеялось. Вот так компания! Второго такого неудачника поискать надо. Сам ни к чему не тороват, да и баба хворая, цинготная, с зобом, Гаддя-Парасся — зобастая Парасся. А ртов шесть. В котел от него — ершик, а зачерпнет — осетра. Понятно, зачем едет,— на чужой счет пожить.

Согласие войти в парму рыжего, скуластого Мишки Караванщика было еще одной охапкой хвороста, брошенной в огонь. Куш-Юр уговорил... Хитрый он, Гологоловый. Думает, люди не понимают. Хоть и полтораста дворов в селе, а не утаишься. Сиротка Сандра между ними встала. Сплавил, значит, соперника. Но Мишка-то как маху дал? Не шляпа ведь, парень в возрасте, двадцать пять ему, с беляками воевал, к купцам рыбацкие караваны водил.

Четвертым к переселенцам присоединился Гажа-Эль. Если кто ночами терзался, затылок почесывал, думу думал: не отправиться ли и ему на новое поселение, у того окончательно пропала охота. Гажа-Эль — мужик, конечно, работящий, силы ему не занимать, но ведь, бестия, всегда навеселе, одним словом — гажа, веселенький, вечно под хмельком. Спьяну спалил свою избу. Теперь ему все равно где жить. Потому и уезжает.

2

Люди баяли, баяли, а Гриш будто и не слышал смехи-пересмехи, гнул свое. Осенью съездил к хантам за Большую Обь, выпросил угодья, исстари приписанные за ними. Видно, давно присмотрел. По первопутку снарядился туда с сотоварищами своими. По пути свернули в сторону, к двум юртам-развалюхам. Мужики разобрали их, перевезли на островок, отданный им, и, подновив, поставили две избы. Работали месяца два. Кухарила им сиротка Сандра, рослая, статная, кареглазая красавица. Чурка-Сандра, то есть Незаконнорожденная Сандра, как звали ее в селе. Все терялись в догадках, отчего девушка решилась на такой шаг. Ведь это было все равно, что отказать Куш-Юру и выбрать Мишку Караванщика. Разное говорили люди: мол, устала Сандра ждать, Куш-Юр все занят да занят. А тут еще вытребовали его в Обдорск на какую-то учебу-семинар. Зиму проездит, самое меньшее. А жить-то девушке надо, не век в няньках по чужим дворам мыкаться. Намекали на то, что Куш-Юр, видно, с изъяном,— за тридцать ему, а все холост. Мишка, знать, мужчина как мужчина. Да и похитрее Гологолового оказался — молчком, а обставил.

Случилось то, что должно было случиться. Вернулись с обустройства с четвертой семьей. Сыграли свадьбу — Мишка торопил, пока Куш-Юра не было. А потом стали готовиться в путь-дорогу.

И вот четыре семьи покидают Мужи.

Погода выдалась редкостная. Солнце щедро заливало землю, впервые с той недавней поры, когда приполярный день снова победил свою извечную противницу ночь, укоротив ее до воробьиного носа, обратив в прозрачную невидимку. Какая-то умиротворенность царила в природе. Было тихо, безветренно — шерстинка на малицах не шелохнется. На реке ни рябинки, ни всплеска, голубая, будто выстригли ее, как ленту, из неба вместе с редкими белоснежными завитками облаков и затейливыми цепочками птичьих стай.

Лодки переселенцев стояли у взвоза-причала — целый караван: в голове каюк с мачтой, а за ним на буксире небольшой неводник-базьяновка и юркие калданки. Уезжающие грузили в них вещи, домашнюю утварь и прочий скарб, работали дружно, не отвлекаясь, чтобы под вечер тронуться в путь.

Погрузкой распоряжался Гриш, признанный всеми за старшего. Он и выглядел степенней всех. Под стать ему был и Мишка, тоже дюжий детина. Но оба, не говоря о щупленьком Сеньке, все же уступали в силе широкоплечему, здоровенному Элю. Тому ничего не стоило взвалить на плечи тяжеленный тюк и бегом бежать по сходням к лодкам.

К полудню на пригорке, чуть повыше причала, собралать толпа провожающих. Кроме родных, кумовьев, друзей и соседей пришли и посторонние. Их привлекало простое любопытство. Коротая время, провожающие любовались весенним разливом, летом птиц, переговаривались.

— Погодка-то красная!

— Бог постарался...

— К добру!

— Дружно работают...

— В согласии...

— А как же — пармщики! Одного теперь роду...

Добрые слова, доносившиеся с пригорка, бодрили отъезжающих, льстило, что столько народу пришло проводить их.

Когда солнце стало клониться к лесистому увалу, караван был загружен чуть не по самый край бортов. Откуда всего набралось! Людей, беднее переселенцев, в селе вроде бы не было, а, поди ж ты, только и место осталось — детишкам на корме каюка, где на стойках под брезентовым пологом устроили им постельки. Рухлядь кинуть бы — женщины ни в какую не давали. И то нужно, и другое. Здесь не запасешься, там не разживешься. Одних сетей обветшалых набралось пол-лодки. А как без них? Ну, а доски, рамы, кирпич, пусть и битый,— на новом месте этому цены не будет. Все пригодится... Не раз мужики соленым потом умывались, а бабы и подавно, пока все перетаскали.

Осталось погрузить живность.

Скоту перед сиденьем гребцов соорудили временные стойла.

Привычные к подобным путешествиям собаки, радостно повизгивая, сами запрыгнули в калданки. На всякий случай их привязали, чтобы обратно не выпрыгнули. Но собаки, похоже, и не помышляли о бегстве: смирно уселись и, высунув морды за борт, с удивлением разглядывали свои отражения в воде.

Гриш в броднях вошел в реку, оглядел лодки, проверил укладку. Выйдя на берег, скомандовал женщинам:

— Заводите скот!

Женщины, как ни устали, бегом бросились на пригорок. Там, за амбарами, на привязи томились три буренки и черный молодой бык. Женщинам хотелось поскорее управиться, тогда хоть словом перемолвятся с родными — когда еще увидятся и увидятся ли?

Пучки душистого сена оказались хорошей приманкой, и коровенок легко завели на каюк. Но бык уперся возле сходней — и ни туда ни сюда: сердито мычал, мотал головой, норовя поддеть рогами своих погонял. Его и тянули за веревку, и палками понукали, а он только пятился.

— Ну и беспутная скотина! — в сердцах вырвалось у Гриша.— На привольный корм везем, а он, дурак дураком, упирается.

Эль точил лясы с селянами на пригорке, не принимал участия в этой возне. Но тут он решительно накинул на черную как смоль голову капюшон малицы, направился к лодке:

— А ну-ка, покажу я ему сейчас, якуня-макуня! Волоките на сходни...

Наперехват ему бросилась сухопарая Сера-Марья: казалось, она одна догадалась, что собирается делать муж.

— Элексей, в уме ли ты? — Ее рябое лицо, из-за чего и прозвали ее Сера-Марья, Рябая Марья, побледнело.

Но Эль и бровью не повел, вошел в воду, рядом со сходнями, и, поглядывая на сердито ревущего быка, изготовился к какому-то решительному действию — насупился, раздвинул полусогнутые руки.

Уже не женщины, а ватага мужиков, словно на охоте, с гиканьем подгоняла рогатого упрямца. Оглушенный криком, обозленный палочными ударами, бык вполз на сходни. Эль рванулся, просунул руку животному под брюхо, обхватил его и, будто бревнышко, перебросил в каюк. Лодка закачалась и чуть не перевернулась. Воздушный прыжок не то ошеломил, не то остудил быка — он замолк, перестал реветь.

Тяжело дыша, Эль откинул назад капюшон, отбросил со лба взмокшие смоляные кудри и, пошатываясь, вышел на берег.

— Надсадился, поди? Ой, беда-беда! — Марья протянула мужу руки.

— Ты что, Манюня! — прохрипел Эль.— Впервой ли мне?

Толпа на берегу встретила его одобрительным гулом:

— Быка на руках!

— Ай да Гажа-Эль!

Эль с удовольствием принимал похвалу. Гордо расправив плечи, стоял он между сынишкой и дочерью, которые тоже были счастливы от такой почести отцу.

И переселенцы, и те, кто пришел их проводить,— все сбились в кучу, перемешались.

Гриш был доволен. Вот уж Гажа-Эль выручил так выручил. То, что быка погрузил,— одно. Дух у людей поднял — вот что дорого. Больше всего Варов-Гриш боялся минуты отъезда. Дальняя ли предстоит дорога, близкая ли, надолго ли расставание, накоротко ли, по доброй ли воле, по нужде ли — последнее прощание самое тягостное. Женщин от слез не удержишь, а то еще и заголосят. Теперь-то не решатся — на празднике не плачут. Да, уж праздник. Вот Куш-Юр подойдет, скажет речь — и можно отчаливать. Самое время: солнышко начало облокачиваться на игольчатый увал.

Внезапно на что-то решившись, он достал полинялый вещмешок, порылся в нем, вытащил солдатскую флягу. Отвинтил стаканчик, служивший крышкой, наполнил его доверху прозрачной жидкостью и бережно, боясь пролить, поднес Элю.

— Получай награду, мать родная!

— Эх, якуня-макуня! — Гажа-Эль не ожидал такой награды. Приняв стаканчик, обвел всех взглядом, подмигнул и, залпом опрокинув в рот, крякнул: — Хорош, чистейший! — Он не спешил отдать стаканчик Варов-Гришу — авось не поскупится, повторит — и блаженно улыбался.

— Мало! Мало! Что ему шкалик! Да еще за быка! — В толпе, как водится, нашлись доброхоты.

— Больше нельзя. Последний остаточек из мир-лавки дали нам — мало ли что в пути случится.— Гриш поспешно завинтил флягу.

На всякий случай он вышел из толпы: мужики привяжутся — не отстанут.

В стороне от людей стояла грустная Чурка-Сандра.

— Ты что? — спросил Гриш.

— Крестная не пришла. Намедни знобило ее, занемогла, поди. Ведь старая.

— Эй, Караванщик! — окликнул Гриш.— Пускай сбегает Сандра к крестной-то.

— А я, что ли, супротив? — неохотно отозвался Мишка.— Успеет, поди...

— Я мигом.— Сандра благодарно сверкнула глазами и побежала по берегу с необыкновенной прыткостью для своей рослой фигуры.

— А почто Куш-Юр-то не идет? — догнал ее голос Сеньки Германца.

Сандру качнуло.

«Кто тебя за дурацкий твой язык дернул, сатана? Мишка-то что подумает?»

Она было приостановилась с намерением вернуться, но тут же отказалась: люди и в самом деле невесть что вообразят. Видит бог, не вспоминала она Куш-Юра. Один раз всего подумала, отчего не идет он прощаться... со всеми.

Сандра шла торопливо, шурша прибрежной галькой. Местами вода подступала к пригорку, но тратить время на обход Сандра не стала. Поднимая подол малицы и сарафана, она шла в бахилах по воде, благо было не глубоко, по щиколотку. Она добралась до небольшого амбарчика, стоявшего на невысоких столбиках-ножках, поднялась по трапу на галерку вокруг стен и вдруг лицом к лицу столкнулась с Куш-Юром.

«Ой!» — вздрогнули они разом и отпрянули. В то же мгновение Куш-Юр подался вперед, заглянул в Сандрины глаза.

— Куда это ты... спешишь? — выдавил он.

Сандра зарделась, руки ее беспомощно повисли. Первая встреча наедине с ним после замужества. Все как-то не приходилось...

— К крестной спешу, попрощаться,— негромко проговорила она по-русски, с легким акцентом.— Уезжаем мы,— добавила зачем-то и хотела юркнуть мимо, но Куш-Юр крепко схватил ее за руки.

— Погоди. То и горе мое, что уезжаешь. Саша! Сашенька!.. Со мной не попрощавшись?!

Сандра боялась поднять на него глаза. Ей вдруг показалось, что Куш-Юр вовсе и не высокий, не плечистый, а вроде маленький, худенький. Сердце у нее сжалось.

— Прощай, Роман Иванович,— прошептала она, пытаясь высвободить руки.— Не поминай меня лихом...

— Лихом?.. Да я... Присядем на минутку.— Тяжело

дыша и не выпуская руки Сандры, он усадил ее на узенькую скамеечку у амбарной стены.

— Ой, беда! Мне же к крестной не поспеть. Ждут ведь меня...

— Не уедут без тебя. Да и меня, поди, ждут. Подождут...— приглушенно сказал Куш-Юр, примостился рядом с Сандрой и привлек ее к себе.

— Поздно! Голова моя покрыта баба-юром [1]. Мне век жить с Мишкой.

— Отчего не подождала, когда вернусь с Обдорска? Ты ж меня любила!

Сандра, глотая слезы, отвернулась.

— Ты хоть счастлива с ним? — в голосе его звучала искренняя забота.

— Я не видала счастья, не знаю, что оно такое...

— Любишь ты Михаила?

— Куда денешься. Мужняя я теперь... А все тебя во сне вижу, о тебе думаю.— Она доверчиво улыбнулась и, словно испугавшись своего признания, вскочила, поправила кокошник под капюшоном.

Куш-Юр сидел понурый, низко опустив голову. Эта скорбь удерживала сейчас Сандру сильнее, чем минуту назад удерживали сильные жаркие руки. Чтобы как-то утешить его, Сандра робко протянула свою горячую ладонь, слегка коснулась ею щек, лба Романа.

На эту нежность Куш-Юр ответил глубоким вздохом.

— Коль так случилось, будьте счастливы,— развел он руками, вставая.— Но знай, я по-прежнему люблю тебя. Не уживетесь с Михаилом, всегда приму... Если пожелаешь...

— Будешь ждать, бобылем жить? — Сандра одновременно простодушно удивилась и возразила, но с благодарностью.

— Да,— произнес он твердо.— Если любишь...— И, не договорив, он порывисто обнял Сандру.

8

Тем временем на берегу продолжалась шумная беседа. Гажа-Эль, подогретый спиртом, хвастал:

— Бык мне что, якуня-макуня! Раз-два — и на месте...

---

[1] Баба-юр — кокошник, который надевает замужняя зырянка.

Я запросто избу сдвину. Ага!.. Кабы не вражья пуля,— он ткнул себя под сердце,— каюк с берега на воду перенес бы! Да-а!.. С буренками, с быком, со шмотками!.. Вот тут прошила она насквозь.— Он снова ткнул под сердце.— Выбег сдуру-спьяну к реке, в николин день в аккурат. Вижу — пароход причаливает. Думаю, водкой разживусь. А какая-то белая сволочь — бах!..— Эль рассказывал так, словно слушатели ничего не знали об этой год назад приключившейся с ним беде.— На германке избег увечья, а тут нате-ка. Иной сдох бы, а я выдюжил. Организма моя могутная! Болит вот только прострел иноди. Обидно, силы поубавилось...

Эля слушали сочувственно, но, когда от последних слов он странно заморгал и рот его слегка перекосило, люди незаметно перевели разговор на другое. Благо и повод нашелся хороший — Гажа-Эль упомянул германскую войну, а рядом стоял Сенька Германец.

— А ты что молчишь, Германец? Язык, что ли, в починку сдал? — крикнул кто-то, и сразу повеселели.

И у самого Сеньки — рот до ушей.

— Гелманес... Сказете тозе,— прошепелявил он по-детски безобидно.

Ничего особенного вроде он и не произнес, а люди вокруг покатились со смеху. Видно, вспомнилось им недавнее происшествие, случившееся с их земляком.

Он хоть и мал ростом, а тоже призывался на германскую. Послали его с другими односельчанами в Печорский край Архангельской губернии. Таков был закон: всем обским зырянам призываться полагалось на родине дедов и прадедов. Через Березово, через Ляпин на оленях перевалили Урал, а там на лошадях через Изьву и Печору добрались до Усть-Цильмы. Много сотен верст проехали, не один месяц провели в пути. Всех рекрутов погнали на фронт, а Сеньку в солдаты не взяли — негодным оказался. Подался он домой.

Вперед призывник ехал за свой счет, а назад и подавно. Обратного пути Сенька не предусматривал, припасов не приберег. Пришлось ему прирабатывать — где день, где неделю, то на пропитание, то на подводу. Обносился. Спасибо — какой-то раненый фронтовик по дешевке уступил изрядно потрепанную шинельку. Год с небольшим так вот и ковылял до Мужей.

То ли устыдился он, что на фронт не попал, то ли покрасоваться вздумал, никто толком не дознался,— притво-

рился Сенька, будто воевал и позабыл на чужбине родной язык, зато русский и германский узнал. Что-то шепелявил непонятное — слово русское, два каких-то тарабарских. Люди послушают-послушают, пожмут плечами, отойдут. А жене деваться некуда. Измучилась, бедная. Не разгадает, что скажет Сенька, не так сделает — он озлится, заругается, двинет чем попало!

— Как это он у тебя починился, язык-то? — Гажа-Эль позабыл про свое ранение и вместе со всеми беззлобно потешался над товарищем.

Сенька посмеивался, но не отвечал. Ну, да все и так знали подробности его «выздоровления».

— Ты у женки молока попросил? — восстанавливал это событие Эль.

— Ага.

— А она?

— Молоток подала...

Воздух содрогнулся от дружного хохота.

— Ты ее и обложил?

— Обложил...

— По-зырянски?

— По-зылянски...

— Не забыл! — раскатисто заливался Эль.

Сеньку подозревали в хитрости — прикидывается, мол, кротким, так быстрее отвяжутся от него. Кроткого не обидят, кроткого пожалеют. Заявится когда к соседу, сядет и помалкивает, слушает, что говорят, а сам все морг да морг длинными ресницами. Знай — пришел в долг просить. Так и есть. «Ты ж старый не отдал и за лошадь не услужил»,— скажет сосед. «Лазве?» — И так натурально почешет в косматом своем затылке — ну, истинно, забыл. «Горе ты гореванное,— скажет ему сосед.— Без тебя нищих полно, и ты клянчишь, а вполне работник. На лице твоем мох растет, а в голове что? Ветровей? Или лень твоя вперед тебя родилась, одолела тебя? На, бери уж. Ребятенок твоих жаль, да и жену твою болезную, зобастую да цинготную». Другой со стыда сгорел бы, а он поднимет маленькие глазки-чешуйки, заморгает — и до следующего раза. Ясно — хитрит. Оттого и не отступались от него люди, если попадался им на язык.

Варов-Гриш со всеми посмеивался над Сенькой Германцем. Но всякий раз у него оставался осадок — как от недоброго дела. А может, он, Сенька, умом убогонький? Тогда насмехательство — зло. Люди, зла не желающие,

иной раз, того не ведая, творят зло больше самых злых людей. Это и пересиливало в Грише колебание — брать или не брать Сеньку в парму. Жаль стало его. Бедняк из бедняков — домишко вот-вот повалится набок, хлев тоже скособоченный, весь в щелях, затыканных объедками сена да навозом,— как только коровенка там ютится. Словом, конь у него не родился, сани в лесу растут.

Жаль стало ему Сеньки Германца и сейчас. Засмеют, пожалуй. При жене, при детях.

Он сходил на каюк, достал тальянку и, еще на сходнях, растянул меха, завел веселую зырянскую песню:

Ах, широка улица, улица!
Ах, широка улица, улица!
Доли-шели, ноли-шели,
Ах, весела улица!..

Кто устоит, не обернется, услышав песню? Вмиг Сенька был забыт, как будто его и не существовало.

Но сам-то Гриш вскоре и не рад был, что достал тальянку: думал, раз-другой сыграет, но куда там! Впору отъезд отложить, столько просьб посыпалось — и ту спой, и эту...

Устал Гриш, как никогда, и, подмигнув ребятишкам, смешно шевельнув черными усами, завел свои последние прибаутки:

Тут и песне конец,
С рогами жеребец,
Абезиха тощая,
Лябезиха толстая.
У соседа Вани
Коровенка в бане.
Казна бедна,
Колодец без дна.
Аксинья-кума
Свихнулась с ума:
Над избою на трубе
Вертится на пупе...

Все знали — после скороговорок Гриш ничего не поет, не играет. Это конец. Но развеселившиеся селяне не отставали, давай и давай им еще — напоследок. Варов-Гриш отнекивался, слушатели упрашивали. Может, и упросили бы по такому случаю, как отъезд, да раздался зычный голос Куш-Юра:

— Здравствуйте, поезжане! Здравствуйте, поселяне! — нетвердо по-коми, громко и торжественно приветствовал он.

— О, председатель, здравствуй! Не заметили, как ты подошел!

— Привет, Роман Иванович!

Кто-то в возбуждении забылся, выкрикнул:

— Здравствуй, Куш-Юр!

На него зашикали, его в толпу затолкали: прозвищем уважаемых не обзывают, меж собой можно, а в глаза — Роман Иванович, председатель. Вишь, как он с народом — по-зырянски поздоровался!

Неугомонные попытались перетянуть председателя себе в союзники — пусть заставит песельника еще что-нибудь сыграть-спеть, натешить им душеньку.

Но веселье скоро унялось. Раз пришел председатель — значит, скоро отъезжать. Толпа сама собой распалась. Вокруг каждого отъезжающего собрались родные, близкие, друзья.

Куш-Юр в сопровождении Варов-Гриша обошел весь караван, лодку за лодкой, деловито осмотрел укладку.

— За шкипера сойдешь! Ты укладывал? — спросил он Гриша, когда возвращались на берег.

— Все вместе.— Гриш видел — укладка понравилась председателю, и не захотел выставляться лучше других. Но похвала была ему приятна.

— Чего запоздал? Уговаривались — когда солнце пойдет за увал — садиться. Я уж думал — не придешь, без тебя отчалим.

— Да так... задержался...— Куш-Юр, зардевшись, снял ушанку, вытер вспотевший лоб.— Едете, значит? Это хорошо!..— И поднял руку, прося внимания.— Товарищи миряне-зыряне!..— обратился он опять по-коми.

Неожиданно встретившись глазами с Мишкой Караванщиком, Куш-Юр растерялся, почему-то вообразив, что тот знает, из-за чего он задержался. Слова, которые он хотел сказать, начисто вылетели из головы. И речь получилась не очень складной и необычно короткой — не такой, как хотелось. Куш-Юр поспешил закончить, пожелав отъезжающим доброго пути и удачи.

— Помните — здесь у вас верные друзья. Они всегда пособят в беде,— закруглился он и привычным ораторским жестом рубанул рукой.

Этот его жест был воспринят как сигнал к отплытию, и все разом пришло в движение. Начались взаимные поклоны, рукопожатия, поцелуи. Родители, взяв детей на руки, понесли их в каюк. Гриш вел за руку старшую доч-

ку Февру, на другой руке с преувеличенной осторожностью, как все мужчины, он нес грудного сынишку. Ильку никак не отпускала бабушка. Елення нетерпеливо поглядывала на свекровку. «Хватит, старая, отдавай Ильку, надо и мне садиться в лодку. Гриш сойти должен, с родней проститься». Старуха Анн понимала красноречивые взгляды круглолицей невестки, но не торопилась расставаться с внуком. Как умела, ласкала она мальчонку: то прижмет к груди, то на руках покачает, как на качелях, то малицу расправит, то пимишки подтянет, чтоб лучше сидели. Даже черного котенка, которого внучонок увозил с собой и держал на руках, погладит по шерстке, по белым лапкам.

Наконец вздохнула, передала мальчика матери.

— С богом! Береги несчастненького. Путь-то ваш дальний, долгий,— прослезилась старая Анн.— Следи уж, сноха, за детьми. В тайгу уезжаете, в безлюдье. Кабы опять чего не приключилось, как с Илькой, не дай-то бог!

Не выдержала и Елення, зашмыгала носом.

— Уж так-то тревожусь, так-то тревожусь... Ой, не заштормило бы...— Хотела сказать, мол, как в тот раз, когда брала с собой Ильку на рыбалку, но плотно сжала губы, испугавшись, что воспоминанием о пережитом горе опять накличет беду, и теснее прижала сынишку к груди, как бы желая уберечь его от новых напастей.

— Ну, пошли сырость разводить при ясной погоде,— услыхала она за спиной притворно-строгий голос мужа. Он оставил грудника под присмотром сестренки и сошел поторопить жену.— Нечего носы вешать. Авось не зря наша выдумка-затея,— подмигнул Гриш Куш-Юру.— Еще кое-кого завидки возьмут.

— Не хвали кошку, пока не поймает мышку,— иронически заметил старший брат Варов-Гриша Петул-Вась.— Тоже в скитники, по-вашему, подадутся? В прежнее-то время за старую веру в скиты уходили, а вы, стало быть, новую придумали? — Вась, как и Гриш, бывал в солдатах, слыл грамотеем, «читальщиком», новой власти сочувствовал, но организацию постоянной пармы на выселке не одобрял.

— Не оговаривай на дорогу.— Старая Анн замахала руками.

— Не время нам, браток, перечиться. Все наши с тобой говорилки переговорены,— старался быть сдержанным Гриш.— В душе нет занозы. Видно будет — чья правда.

Опять же разделились мы, в избе теперь просторнее стало. Каждый сам себе и бог и черт. Так что живи и не поминай лихом.— Он протянул брату руку.

— Я что? Я не против. К слову пришлось,— вяло тряхнул протянутую руку Петул-Вась.

— К слову! Люди все ж таки на новую жизнь настроились, а ты воду мутишь,— попрекнул его Куш-Юр.

Он отвел Гриша в сторону, заговорил уверенно, ободряюще:

— Что сомненья гоните — хорошо! Поначалу, конечно, и заминки будут. А там, брат, все уладится. Выйдет у вас для примера другим. Без взаимовыручки из нужды не выбиться. Верно ты сказал: люди позавидуют вам. Духом только не падайте, будьте как в бою...— Это были те слова, которые, смутившись, Куш-Юр позабыл сказать в речи и которые сейчас лились сами собой.

— Духом не падем, этого в голове не держим. Одна у нас дорога, и вертаться некуда. Доведем до делов, мать родная!

— Ну, ни пуха ни пера, поезжане! — Куш-Юр весело ткнул Гриша в плечо.

— Надо бы отваливать, чтоб мокроты не развели, да Сандра где-то запропастилась. Отпросилась к крестной, мол, на миг, а нет и нет. Чертова кукла!

Куш-Юр покраснел.

Гриш понял, что некстати упомянул про Сандру, растравил сердечную рану друга. Досадуя на свою оплошность, он поспешил утешить:

— Видать, не судьба, Роман Иванович...

— Об этом не будем! — отрезал Куш-Юр и направился к каюку.

Не доходя до лодки, он услышал обеспокоенный голос Еленни:

— Сандры-то нет...

Мишка Караванщик молчал. Поглядывая на Куш-Юра, он едва заметно улыбался, как бы говоря: «Ты здесь — я спокоен». Но Куш-Юр чувствовал — нет, не спокоен Мишка, притворяется, и на душе у него стало легче.

Сандра прибежала упарившаяся, взволнованная. Растолкав людей у сходней, вбежала в каюк и заняла свое место на веслах, рядом с Еленней.

— Все село, поди, обегала,— укорил ее муж.

Сандра прерывисто вздохнула, вставляя весло в уклю-

чину, мельком взглянула на толпу, увидела у сходен Куш-Юра и отвернулась, чтобы не выдать своих чувств.

Вот и пришла эта минута...

— Роман Иванович, побывай к нам! — помахал рукой Варов-Гриш.

— Непременно!

Куш-Юру показалось, что Мишка недовольно покосился на Гриша — зачем тот зовет его в гости — и еще раз повторил:

— Непременно побываю!

Каюк стал отваливать. Забулькала, забугрилась круглыми мотками вода. И на какой-то миг тем, кто был в лодке, почудилось, что не они, а берег с провожающими, со взвозом и амбарами качнулся и поплыл.

За кормой, словно олений аргиш, вереницей выстроился караван лодок. А следом полетели пепельнокрылые, пронзительно кричащие чайки. О чем чаркают они, что предрекают?

Путники налегли на весла, и лодки, казалось, тоже воспарили между двух небес — действительных и отраженных в зеркальной воде.

Ребятишки даже примолкли. Но не меньше, чем это ощущение высоты, их поразило то, что плывут они будто не вперед, а назад: колокольня посреди Мужей, казавшаяся сейчас вырезанной из синей бумаги и наклеенной на золотистое стекло, двигалась вместе со всем селом почему-то вперед.

— Назад, назад едем! — удивленно воскликнул Илька.

— Здесь самое быстрое течение,— прошепелявил Сенька Германец.— Середина реки, стрежень. Обратно тащит лодки. Вот перевалим за середину и поплывем вперед.

Он сидел, крепко держась за руль. Улыбка не сходила с его лица, напоминавшего берестяную маску,— с острым подбородком, широким лбом, маленькими, как бледные чешуйки, глазами, над которыми словно приклеены пучки бровей из бурой и ломкой оленьей шерсти.

Мальчик слушал внимательно, кивал головой, будто понимал. А Сенька и впрямь подумал, что все объяснил малышу. И чтобы доказать свою правоту, скомандовал срывающимся фальцетом:

— Давай нажимай!

Но и без его команды гребцы дружно работали веслами.

Вскоре караван оказался рядом с тальниковым островом, узким и длинным, как бы разделившим реку на две части.

Гребцы оставили весла, залюбовались родным селом.

— Хорошее место выбрали когда-то старики, якуня-макуня,— нарушил молчание Гажа-Эль и сдержал готовый вырваться вздох сожаления: ему вдруг не захотелось уезжать.

А женщины себя не сдерживали.

— Кресты-то так и горят на солнце! Боже ты мой!

— Родные крыши — вон, вон! Аж сердце щемит!

— Красота-то какая! Мужи — будто пароход,— воскликнул Сенька Германец.

— Красота, а мы покидаем,— хныкнула Гаддя-Парасся.— Кабы не нужда... Будь проклята эта жизнь!

Неожиданно из-за реки донесся колокольный звон. Что тут началось! И взрослые и дети закрестились, да так истово, а женщины еще и запричитали:

— Суббота ведь сегодня. А мы?! Не услышим более божьего голоса. Не будет он ласкать и радовать души наши грешные в глухом лесу...

Гриш беспокойно оглядел своих спутников. Прорвало все-таки, где не ждал. Раскиснут — тогда совсем беда.

— Ну-ну, поехали. Чего завыли...— тихо сказал он.

— Из-за тебя все! Увозишь вот!

От жены он такого не ожидал. Но с ней было проще, ей ответил строго и твердо:

— Ладно уж! Взялись, коль поехали.— И опустил весло на воду.

Караван нехотя тронулся с места. Взрослые погрузились в невеселые думы. Зато ребятню охватил невероятный восторг. Вдоль острова расстилался ярко-желтый ковер первых весенних цветов, которые распускаются на еще холодной и затопленной земле.

— Виж-юр, виж-юр! Желтоголовики! — радостно завизжали дети, перевешиваясь через борт и стараясь сорвать цветок. Удалось это тольке Февре. Остальных отогнала Гаддя-Парасся. Грести она не могла из-за болезни, и ей, к тому же кормившей грудью сынишку, поручили присматривать за детьми. Свалятся ведь сорванцы в воду, матери проклянут, да и про желтоголовики в народе говорят, будто они вредные.— Не сметь! — строго прикрикнула она на ребят. Но ребячий задор передался и ей, не

удержалась, нарвала большую охапку, наделила своих детей, а потом и остальных.

Недолго тянулись тальниковые заросли, усеянные желтоватыми сережками, похожими на игрушечных барашков. Показался конец острова, изрезанный ручьями и протоками. Каравану предстояло обогнуть его.

— Скроются сейчас наши Мужи! — раздался непривычно громкий голос рулевого.

Место было опасное, течение сильное, лодки могло занести на прибрежные камни и коряги, надо было грести и грести, но как удержаться, как не поглядеть в последний раз на родное село.

— Прощайте, Мужи! Прощайте, Мужи! — печально вырвалось у всех разом.

Люди затихли, когда скрылось за поворотом родное село. Какое-то время обманчивое представление, будто вот оно, перед глазами, поддерживал доносившийся из-за острова колокольный звон. Но вскоре и его не стало слышно.

Тишина речного простора гулко отдалась в ушах.

— Все! Теперь уже все! И Мужей не видать, и божьего голоса не слыхать! — И женщины зашептали молитвенной скороговоркой: — Прощайте, Мужи! Прощайте, Мужи! Прощайте, Мужи!..

Глава вторая

БАГРОВЫЙ ГОРИЗОНТ

Тоскливо было на душе у Куш-Юра, когда он уходил с берега.

Дорогой за ним увязался комсомольский секретарь Вечка. Юноша жалел, что его не пустили с Варов-Гришем. Эка причина! Век, что ли, ему секретарить? Другой на его месте может даже лучше справиться. И если на то пошло, он подговорил бы молодежь поехать с пармщиками. А что, свободное дело! С Варов-Гришем поехали бы многие, может быть, все. Там и работал бы с молодежью. Даже странно, что партячейка не позволила, побоялась растревожить матерей и отцов. А приди сейчас снова белые или кулаки-кровососы, опять восстание подыми, кому брать винтовки? Небось с отцами-матерями не посчитались бы!.. Какая уж тут работа без Гриша? Без его песен

и гармошки ни девчат, ни парней в Нардом не заманишь...

Куш-Юр слушал излияния своего спутника, сочувствовал ему, но в разговор не вступал — не хотелось.

Паренек шел за ним до самого дома и, похоже, был не прочь заглянуть к председателю скоротать вечер. Однако Куш-Юр не проявил гостеприимства: хлопотный день утомил и общество Вечки было ему в тягость.

Квартировал Куш-Юр у многодетного крестьянина на краю села. В душной, перетопленной, с застоявшимся кислым воздухом хозяйской половине было шумно. Куш-Юр быстро прошел через нее в отведенную ему горницу. Там было чисто и свежо, но отдавало холостяцкой необжитостью. Сегодня он ощутил это особенно остро.

«Пожевать, что ли?» — Куш-Юр, как был в ватнике, достал из-под лавки мешок с сушеной рыбой, называемой по-местному «шомох». Такую рыбу он охотно ел и утром и вечером потому, что с ней мало возни, да и полюбил ее за восемь лет жизни на Севере.

Но шомох на этот раз не возбудил у него аппетита. Он ел вяло, тяжело двигая челюстями и думая, что, пожалуй, напрасно не позвал Вечку, было бы не так тоскливо.

За стеной надоедливо шумели хозяйские ребятишки. Раньше он их не замечал.

Не убрав со стола, Куш-Юр вышел на крылечко переждать, пока в доме поутихнет.

По-за хозяйским двором ворчливо шумел извилистый Юган: он огибал Мужи с запада на север и там впадал в Малую Обь. За быстрой горной речушкой на фоне померкшего после заката неба таинственно темнел волнообразный увал.

«Надо же: день был ведренный, а к ночи помутнело. Как бы погода не взбаламутилась. Почти сто верст плыть им...» — Он беспокойно поежился.

Из сарая донеслись голоса хозяина и хозяйки. Собираются с утра порыбачить. «Многие выходят»,— вспомнил Куш-Юр разговоры на берегу и успокоился: значит, не взбаламутится, рыбак в непогодь сеть не поставит.

«А что им непогодь? Ко всему привычные. Северяне».

Но, представив себе караван один на воде под этим неспокойным небом, снова встревожился. Все худое, что с пармщиками случится, и на его совести останется.

Жили бы под боком, все было бы спокойнее на душе. Ему мечталось сколотить когда-нибудь в самом селе боль-

шую артель или даже коммуну. Рассказывал он как-то на сходке селянам о взаимовыручке, взаимопомощи в эту трудную переходную пору. Народу было много — полный Нардом. Слушали внимательно, хотя и с явным недоверием. А Варов-Гриш возьми и загорись — правильно, дескать. Северянам, мол, взаимовыручка не диковинка. Начал толковать об артельной неводьбе, о парме. Можно, заявил он, сварганить не только сезонную парму, а постоянную.

Сходка зашумела, загалдела. Пошли смехи-пересмехи. А Варов-Гриш гнет свое: вот возьмет и докажет, что парма, да еще постоянная, самое подходящее нынче. Не было бы только в ней разладу. Он подберет в компанию одних трудяг — и айда куда-нибудь на волю-волюшку, на новые богатые угодья, подальше от разных насмешников и злопыхателей, от живодеров-кулаков. Пример другим покажет.

Куш-Юр горячо поддерживал его. О парме сезонной, будучи еще в ссылке в Обдорске, он уже слыхал, а теперь еще и постоянная будет... Хорошо! Гриш прав, с этого и надо начинать новую жизнь. И Куш-Юр загорелся этой затеей — благословил пармщиков в дорогу.

На крыльцо, обутый в мягкие кисы, неслышно поднялся хозяин, предупредил:

— Не застудись, Роман Иванович. От Югана-то свежо. Лихоманка б не напала...

Следом за ним тихонько прошмыгнула в избу хозяйка.

Потом дверь приоткрылась, и детская ручонка протянула Куш-Юру ватник. Едва он принял его, как дверь захлопнулась. Не успел ни поблагодарить, ни разглядеть, кто это был, кажется, старшенький сынишка хозяина.

«Как его звать? — силился вспомнить Куш-Юр, но не мог и, смутившись, оправдался: — Да я и видеть их почти не вижу: то на работе, то у Варов-Гриша».

Накинув ватник, он закурил, и мысли потекли ровно, будто и им стало теплее.

Да, уж так привык бывать у Гриша, что вот тот уехал, и он теперь не знает, куда себя деть. Нет у него в Мужах другого такого друга. С Гришем-то они легко сошлись, будто всю жизнь друг дружку искали.

Сошлись — и вот разъехались. В какой раз судьба сводит его с хорошим человеком и, только он успеет привязаться к нему, разлучает.

«Собственно, вся моя жизнь — это встречи и расставания».

Он вспоминает трехъярусные зловонные каменные казармы большой Корзинкинской мануфактуры на окраине Ярославля, кишащие людьми, клопами и тараканами, и изможденную, чахоточную ткачиху тетю Груню, материну товарку и сменщицу. Украдкой от пьяного мужа отливает она Ромке из своей миски пустых щей и приговаривает: «Горемычная ты моя сиротинушка, как жить станешь, когда и меня господь приберет?» А за тетей Груней мелькают волгари, с которыми бурлачил после ее смерти. Длинноволосый очкарик с мягкой вьющейся бородкой, Петрович: не то студент, не то семинарист. Он научил Романа читать. Дядя Алеша, сухой, как жердь, больной желудком, пристроил его учеником наборщика в Нижнем. Сенька, сверстник и дружок, у матери которого снимал он угол, учащийся городского училища, давал Роману читать запрещенные книжки и водил его на тайные сходки. Первая его любовь, молчаливая и безответная, Наташа. Настоящее имя девушки он так и не узнал. В подвале скобяной лавки он помогал ей печатать листовки, пока не попался на краже шрифта в типографии. Так больше и не встретились...

В памяти один за другим всплывали лица самых разных людей: молодых и старых, веселых и озабоченных, тех, которые сердечно, как близкого, приняли его в тюремной камере и в ссылке, на краю света, в Тобольской губернии, Березовском уезде, в селе Обдорске, где ему определено было жить без выезда и где, думалось, одна темь и дремучая глушь. Встречались добрые, умные люди и среди ссыльных, и среди местных рыбаков, охотников и оленеводов.

Он не слышал, как из избы вышел хозяин, и вздрогнул, когда тот сказал:

— Баба спрашивает, Роман Иванович, чайком побалуешься, нет?

— Погожу,— отказался он, огорчаясь, что прервали его воспоминания: на память пришли Евлампий Ксенофонтович и Варвара Власовна, роднее которых нет у него никого и, наверное, не будет.

— Значит, нет... Что ж, спать лягем, завтра рыбачить.

Куш-Юру показалось — хозяин обижен его отказом. «Неладно я, хозяйка позаботилась — зачем обижать»,— и он поправился:

— Хотя, пожалуй, побалуюсь... Сейчас приду.

— Так-то лучше будет.— И хозяин вернулся в избу.

«Евлампий Ксенофонтович, поди, тоже выходит неводить, Варвара Власовна собирает старика в дорогу».— Он мгновенно забыл про приглашение хозяйки, мысленно перенесся в далекую избушку на рыбацком стану и, будто с лежанки, снова увидел молчаливых, неторопливо хлопочущих, родных и милых стариков.

Ведь как рисковали!

Белокарателей по тайге сколько плутало, шкуру свою спасали, могли запросто и на стан набрести. Ему-то что, он и так одной ногой на том свете побывал. И обратно на этот воротиться надежды не держал. Куда там! На руках-ногах — кандалы, запаленная баржа посреди реки, словно костер, пылала, а с берегов гады из пулеметов поливали по тем, кто пытался выпрыгнуть. Однако только запомнилось, как в отчаянии пополз по лесенке на палубу: лучше под пулю, чем, как таракан, в огне жариться. В кандалах, а плыл, ухватясь за обугленное бревно. Очнулся на лежанке, обвязанный... Пулей плечо прошито, голова обгорела. Евлампий Ксенофонтович на воде подобрал...

В Мужах о пережитой им трагедии никто не знал, а самому о ней рассказывать — вроде выхваляться. А чем? Прыгал с баржи не он один. Жив остался? Так ведь спасибо тому бревну, что подвернулось, да Евлампию Ксенофонтовичу.

Лишь однажды ему захотелось рассказать, отчего он, Гологоловый, редко шапку снимает,— да передумал.

Было это у Варов-Гриша. Сидели вечерком, всякие истории из жизни рассказывали. Гриш про свой побег из плена вспомнил.

...В лагере военнопленных, в Австро-Венгрии, с ним оказались еще двое зырян, один даже из Обдорска. Тоска по родной сторонушке, по семьям сдружила их. Чтобы хоть как-то облегчить свою участь, прикинулись забитыми простачками, туземцами из далекой Сибири. Держались особняком. С охраной объяснялись знаками. Конвоиры на них смотрели как на дикарей, не очень притесняли. Но и работу давали самую грязную — по уборке туалетов... В банные дни их дело было натопить для охраны баньку и убрать после всех. Ну, конечно, и мылись зыряне здесь же, самыми последними. Наблюдали за ними не очень строго.

Банька стояла на берегу реки, у самой воды. Как-то, моясь, Гриш залюбовался птичкой, которая присела на подоконник, словно передохнуть, а потом полетела прямехонько через реку, на другой берег. Он с завистью поглядел ей вслед. А птаха вдруг круто развернулась, покружила перед окном и снова присела на подоконник. Тихонько, чтобы не спугнуть ее, он поманил к себе товарищей, глазами показал на гостью. Непоседа попрыгала-попрыгала и полетела к другому берегу. Друзья переглянулись, без слов поняли Варов-Гриша. Им ли, урожденным речникам, не перемахнуть реку? Против Оби — совсем неширокая. Обследовали раму: не капитальная, гвозди, если расшатать, можно выдернуть. Гриш давай орать, как оглашенный, товарищи с ним — в голос. Охранник с перепугу вбежал в мыльню, ничего понять не может, вроде взбесились зыряне, махнул на них рукой, вышел. Тогда друзья замолчали. Охранник приоткрыл дверь, заглянул — стоят зыряне голые, на потолок глаза выкатили, будто замерли,— пожал плечами, закрыл дверь. Несколько раз кричали так друзья. Конвоир перестал обращать на них внимание. Такое они проделали и в следующее мытье. Конвоировал их другой, он кричал на них, грозился посадить в карцер. Но уже пошел между конвойными разговор про странности сибирских дикарей. В третий раз караулил их высокий и тощий, как хорей [1], конвоир, известный своей сонливостью. Варов-Гриш еще прежде приметил, что он вечно зевает.

«Сегодня,— шепнул он друзьям.— Другой такой удобный случай может не представиться...»

Раздеваясь, друзья подняли крик. Конвоир что-то вяло пробурчал.

Вещи они забрали с собой в мыльню будто для того, чтобы насекомых паром убить. Конвоир только проводил их брезгливым взглядом. На всякий случай, чтобы у него не возникло подозрений, они неплотно прикрыли дверь, пусть видит. «Хорей», чтобы не дышать паром, сам захлопнул дверь. Тут, не мешкая, крича и визжа, они повыдернули гвозди, выставили раму и один за другим выпрыгнули в воду.

Была осень, после теплой бани вода показалась студеной.

---

[1] Хорей — шест, которым погоняют оленей.

До противоположного берега было уже рукой подать, когда над головами просвистела первая пуля. За ней вторая, третья... Стреляли из винтовки. Сам ли «Хорей» спохватился или кто-то из береговых часовых заметил?

На том берегу жили украинцы. В поле, в скирдах, беглецов спрятали. Потом друзья добрались до линии фронта и к своим перешли...

«Как у нас совпало!» — подумал Куш-Юр тогда, слушая Варов-Гриша, и его подмывало рассказать о своем побеге, но он только вымолвил:

— От беды не хоронись, на беду иди — не бойся.

За дверью кто-то зашевелился. Паренька за ним, наверно, послали? Он встрепенулся, вспомнив про обещание попить чай, и с виноватым видом открыл дверь в избу. Навстречу ему, благодарно мяукнув, выплыл рыжий кот.

Хозяева, не дождавшись постояльца, легли спать.

Куш-Юр на цыпочках прошел к себе, разобрал постель, разделся и лег.

«Да, и еще одного человека встретил ты, Роман, и потерял»,— он натянул на голову одеяло, словно хотел укрыться от тоски.

«Как же так? Как же так? — стучало у него в висках.— Обнимал — не противилась, целовал — не отворачивалась. И Мишка ей был не по душе. Жаловалась на него: «Ест меня глазами, охальник, даже неловко от людей». Почему, отчего? Отговорили? Такую не отговоришь. С характером... Неужто так и не поверила в меня, в мою любовь?!»

Однажды под вечер заглянул он к Гришу. Друга не было дома, кажется, к Гажа-Элю пошел. Елення с детьми из церкви еще не вернулась. Сандра одна домовничала. Встретила ласково. Он и распылался. Видит, и она сама не своя: щеки пунцовые, в глазах блеск, губами воздух хватает, грудь так и ходит. Он к ней — руки вперед вытянула, оттолкнула. Помрачнела. Прошептала: «Грех, грех, Роман Иванович. Еще одна Чурка-Сандра себе на горе, людям на смех пойдет мыкаться...» Намекнула на свою жизнь, ведь родилась не в законе, мать позора не выдержала и покончила с собой. Он вскричал тогда: «Да что ты, Сашенька, я сам сиротой вырос, ни отца, ни мать не помню». Она губу закусила и ни слова. Ни единого слова.

Варов-Гриш пришел. Глянул на них и притворился,

что не заметил их расстройства, про парму завел разговор.

Сандра поспешила уйти. После того никак не удавалось ему с ней один на один побеседовать. Встретит приветливо, ласково, улыбнется по-доброму, по-хорошему, а от разговора увернется.

«Гришу зря не открылся. Думал ведь! Язык не повернулся, вроде как при царском режиме сватать подряжаю... Ну и бобыльничай!..»

Ему стало душно, он откинул одеяло. «С собой на семинар надо было брать! Да! Свадьбу сыграть и вместе в дорогу. Поверила б... Упустил...»

Чувствуя, что ему не уснуть, он встал и заходил по комнате.

За стеной послышался шорох. Видно, хозяин поднимался на рыбалку. Куш-Юр глянул в окно.

Ночь, короткая белая ночь кончилась, не начавшись. Горизонт багровел.

«Не взбаламутилось бы...» — подумал он.

Глава третья

ЗДРАВСТВУЙ, ВОТСЯ-ГОРТ!

1

Всплеск, всплеск... Всплеск, всплеск...

Весла дружно взлетают и так же дружно рвут воду.

Вверх — вниз, вверх — вниз...

Все дальше попутный ветер гонит караван. Далеко, поди, ушел от Мужей. Чайки и те отстали. Вода — справа, вода — слева, спереди, сзади. Широко разлилась река, все кусточки-бугорочки скрыла. Куда править — господи Иисусе и тот не разберет. Даром что видно, как рыба играет. А верно, ночь. Точно. Птицы умолкли. Ребятишки угомонились. Улеглись под пологом, прижались друг к дружке и носами засопели...

Сенька Германец важно восседает за рулем. Ему все видно: и полог, под которым дети спят, и головы гребцов. Нет-нет да поматывают ими, будто комаров отгоняют. Со сном борются. Устали. Одного Варов-Гриша, похоже, ничто не берет. Как сел на первую банку, так и головы не повернул — все гребет и гребет. Двужильный.

Наверное, на него, Сеньку, он надеется.

«Правильно, Гриш. Хоть и маленькие у Сеньки глазки, а видят не хуже, чем у девки. Дай девке самый тонкий узор — на сукне вышьет или мелкими, как икринки, бусиночками повторит его на баба-юре... Даром что ночь. Глубокая, поди, ночь. Замолкли и на веслах. Только Сенька еще ни разу не клюнул носом. И не клюнет».

Он сжимает руль, пристально смотрит вперед, вытягивается и будто становится выше. «Держись!» — мысленно обращается к себе.

Сенька ушам своим не поверил, когда Гриш назвал его рулевым, и все согласились. Не побоялся Гриш худой приметы, что править караваном будет незадачливый. А ведь даже Парасся не позволяла ему сесть за руль, когда, бывало, выходили на неводьбу, говорила, тони, мол, не будет.

Всем Сенька покажет. Еще его узнают. С тем и шел в парму.

Он слышит какой-то шорох, видит: Илька выползает из-под полога. Эх ты, горе-горемычное. Еленню, что ли, позвать, мальчонке пособить? Ишь, к борту лезет. Ненароком не вывалился бы. Головенкой туда-сюда крутит. Насиделся, видать, парнишка в четырех стенах. Водиться с ним было некому, а одного никуда не выпускали: еще обидит кто...

Еленню звать не пришлось. Сама забеспокоилась. Шею вытянула: что с парнишкой, спрашивает.

Сенька помахал ей рукой, мол, будь спокойна, присмотрю.

А Парасся дремлет. Не видит. Вот так сторож! Сенька осуждающе покачал головой.

Илькин взгляд встречается со взглядом Сеньки.

— Что, не спится, друг? Интересно ехать, да? — сразу заводит Сенька разговор.

— Ага,— негромко вздыхает мальчик.

— Пошто вздыхаешь? Бабушку жалко?

— Ага,— отвечает Илька и зачарованно смотрит на пузырчатые водяные мотки за бортом.

Сенька умолкает. Но вскоре снова продолжает:

— Глянь, Илька, киска твоя о тебе заскучала.

Илька оглядывается: верно, котенок вылез из-под полога, беспокойно мяукает, ищет укромное место.

— А-а, нужда пришла? — догадался Сенька.— Подальше, киса, тебе надо? Сейчас! — Он подтянул

неводник за буксир и котенок прыгнул в лодку.

Сенька отпустил буксир. Потом снова подтянул его, когда котенок запросился обратно.

— Умная киска и проворная — не упала в воду. Молодчина.

— Молодчина, молодчина.— Илька нежно гладит котенка иссохшимися пальцами и не сводит глаз с широкой протоки, по которой плывет караван.

На повороте протока кажется огромным закипающим котлом. Она словно дышит: то вздымается, то опадает, образуя широкие воронки, которые заглатывают все, что оказывается поблизости,— щепки, ветки, палки.

— Эй, рулевой! Правь внимательно! Здесь водовороты! — донесся с носовой части зычный голос Гриша.

— Знаю! — поважничал Сенька, мол, доверили, так и не тревожьтесь, но на всякий случай плотней прижался к рулю.

Караван покачивало, как на волнах. Каюк кидало из стороны в сторону. Вдруг руль резко повернуло. Сенька Германец перекувырнулся и, не успев ахнуть, полетел за борт.

— А-а-а! — Пронзительный крик Ильки разорвал тишину.

Гаддя-Парасся вскочила, безумно тараща глаза. Мужа возле руля не было, а его малица, распузырившись, кружилась на воде.

— А-а-а-а! О-о-ой! — завопила она что есть мочи.— Упал! Спасите-е!..— По пояс свесившись за борт, Парасся старалась ухватить малицу мужа.

Вопли переполошили гребцов. Еления с истошным криком: «Илька!» — кинулась на корму. За ней с неожиданной проворностью, раскачивая каюк из стороны в сторону, побежал Эль. Гриш рванулся туда же — голос Ильки резанул его по сердцу. На веслах остались Мишка с женой и Сера-Марья. Женщины, испуганно ойкая, перестали грести.

— Табань, табань! — командовал им Мишка, гребя веслом в обратную сторону. Но остановить лодку на протоке ему не удавалось.

Гриш увидел Сенькину малицу и с облегчением воскликнул:

— Сенька упал!

Тут же, устыдившись своей радости, поспешил к веслам, помог Мишке подогнать лодку к тонущему.

Малицу крутило в большой воронке. Вздувшись пузырем, она удерживала Сеньку на воде. Впрочем, об этом можно было лишь догадываться. Сеньки не было видно, лишь поднятые руки его молили о помощи.

— Держись, Германец! Сейчас, якуня-макуня!

Гажа-Эль уже выбрал место, откуда удобнее всего вырвать тонущего из водоворота, и раскачивался, отводя руки, не то изловчаясь, не то отгоняя Парассю, которая в окружении разбуженных криком ребятишек все еще причитала и рвалась к мужу. До тонущего оставалась добрая сажень, когда Эль кинулся к борту, длинной ручищей дотянулся до малицы, зажал в кулак ее подол, подтянул Сеньку к каюку, втащил в лодку.

— Есть, якуня-макуня! — Эль поставил Сеньку перед Парассей.

Сенька был бледен, дрожал всем телом и едва стоял на ногах. С него, как с водяного, текла вода, и вокруг вмиг образовалась большая лужа. Рот его судорожно раскрывался и закрывался, словно у рыбы, выброшенной на сушу.

Но Парасся еще долго не могла успокоиться. Бессильно упав на колени, повторяла с плачем:

— Ой, беда, беда! Ой, беда!..

К ней жались насмерть перепуганные дочурки.

А под пологом, на разостланных оленьих шкурах, Елення, что-то ласково нашептывая, укладывала Ильку. На мальчика вдруг напала неудержимая дрема.

2

Илька проснулся в полдень. Обвел взглядом полог, долго не мог понять, где лежит. Вспомнив, удивился, что рядом нет ребят, не слышно ничьих голосов. Встревоженный тишиной, он поспешно просунулся под брезент.

Его обдало запахом свежей зелени. Каюк стоял у невысокого берега, заросшего кустами зеленеющего тала. Все ребятишки резвились с собаками на берегу. Радость переполнила Ильку: он не один, не брошен! Из-за полога показалась мать: она прибирала в лодке.

— Мы приехали в Вотся-Горт? — пополз ей навстречу Илька.

— Ой, нет, детка.— Елення взяла сынишку на руки.— Большую Обь еще не переехали. Ветер подул. Закипела валами. Видишь, беляки,— показала она сыну на шумев-

ший безбрежный простор. Словно горы свежих стружек, шевелились волны...— А река вон какая — другого берега глазом не достанешь.

Набежавшая туча заслонила солнце, и водная ширь мгновенно подернулась смоляной чернью. Но тут же, будто кто-то торопливо стянул с реки темную сорочку, Большая Обь представилась огромной рыжеватой оленьей шкурой с белыми залысинами.

— Ишь как ветер гуляет. Ничего, стихнет. Крутой — не долгий.

Умывая сына, Елення ласково приговаривала:

— Сейчас на берег сойдешь, на зеленую кроватушку. Вон какая травушка-муравушка уже поднялась. Здесь подале от Камень-горы, потеплее, чем у нас. Поиграешь на травушке.

Она окликнула мужа. Гриш зашел в воду, через борт каюка принял Ильку на руки.

— Как спалось, сынок? Ничего не болит?

— Не-е...

Отец понес мальчика к костру, который весело пылал под защищавшим его от ветра раскидистым тальником. На огне кипело несколько медных чайников. Чем-то вкусным пахло из большого котла, возле которого хлопотала Парасся. Неподалеку от нее стояли кринки с молоком и чашки, лежали ложки. Рядом могуче храпел Гажа-Эль.

С охапкой зеленых веток тала просеменил к каюку Сенька. Он уже пришел в себя после ночного происшествия, обсох и наломал на берегу веток для скотины — пусть и она поест свеженького. Возвращаясь с каюка, задержался возле Ильки.

— Славно поспал, спаситель мой?

— Ага.— Илька сразу все вспомнил.— Ты упал и чуть не утоп. А кот Васька не упал!

— Так то киска, я же — человек.— Сенька по обыкновению казался простодушным, разве только чуть погрустнел, и тон у него был виноватый.— Ничего. Всякое бывает.— И он побрел за новой охапкой зелени.

Парасся, помешивая большой ложкой в котле, выразительно посмотрела мужу вслед.

— Ирод злосчастный! — проворчала она.— До смерти напужал. Не вздулась бы малица да не заревел бы вовремя мальчишка, завтракали бы тобой водяные, дурак!..

Вскоре сели обедать.

Каждому из большого котла дали по куску утятины. Птиц настрелял Гажа-Эль.

Он же нашел несколько гнезд острохвостов, которые раньше других уток кладут яйца. И после мяса все полакомились утиными яйцами, сваренными в одном из чайников.

Первый коллективный обед получился сытный. Наелись почти без хлеба, без сухарей. И хорошо, пригодятся. Встали после еды в добром настроении. Так бы каждый день! Так жить можно! Вот бы еще ясной, тихой погоды! Но ветер не унимался, и Гриш завалился спать на лужайке. Обрадовалась возможности отдохнуть и Еления, примостилась рядом с мужем.

К вечеру небо затянуло тучами — вот-вот хлынет дождь. Зато ветровей ослабел, а вскоре и вовсе пропал. Реку словно умяло, укатало, пригладило. Лишь далеко от берега кое-где раскидан был еще синий плетень. Это остатки ветра бессильно морщили воду.

— Едем! Перевалим матушку Обь, а там рукой подать до места. Авось до дождя успеем. Во-он там, где чернеет тот берег,— указал Гриш на восток.

Быстро погрузили посуду, детей, набегавшихся вволю собак. Договорились — за руль сядет Гриш. И не оттого, что больше не доверяли незадачливому Сеньке Германцу. Переваливать ширь могучей, полноводной реки даже в штиль — дело не простое. Да и Гриш лучше других знал дорогу до заветного Вотся-Горта.

Сенька сел на весла. Парассе поручили следить за скотом. Здесь река как море: опасно оставлять животных без присмотра.

Когда вышли из протоки, у гребцов от речного простора дух захватило. Появилось наивное и дерзкое желание показать реке свою силу, пусть не важничает. И под звон первых дождевых капель они дружно налегли на весла.

— «Эй, ухнем! Эй, ухнем! Еще разик, еще раз!» — басом запел Мишка.

Раньше других подтянул тонким тенорком Сенька.

Песня поплыла над бескрайней водой в лад взмахам весел. Дождь зачастил. Словно сеть набросило на реку, вода стала глазастая и тут же ощетинилась длинными, густыми иглами.

Песня умолкла, лишь весла продолжали хлопать с прежней силой и скрипеть в уключинах.

«Эх, песню оборвал.— Гриш с досадой поднял глаза на небо.— Надолго...»

3

Дождь шел с короткими передышками. Детишки спрятались под брезентовым навесом, а взрослые накинули на головы капюшоны.

На самой середине реки их настиг настоящий ливень. Поворачивать не имело смысла. На островке, на котором они делали привал, одно укрытие — тальниковые заросли. От такого потопа они не спасут. А снова ветер поднимется? До места и вовсе не добраться.

Решили плыть вперед. В Вотся-Горте как-никак их ждут готовые избы.

«Человек не глина, а дождь не дубина. Погоды дома не выберешь»,— бодрил себя прибаутками Варов-Гриш, прислушиваясь к негромким голосам гребцов. Нет-нет да посмеются, значит, не пали духом. «Хорошо, что привал сделали, малость передохнули. А то бабы без рук, без спин: намахались, накланялись верстам. Наверное, верст шестьдесят проплыли. И у мужиков ноги как колоды стали. Только на землю ступили, тут и повалились... Да вот еще наломаются под дождем. Еще верст тридцать осталось».

Будь он один, Гриш и не думал бы о дожде — своя неволя, сам сел-поехал. Жена — что ей: как муж, так и она. А люди могли ведь в избах сидеть. Из-за него мокнут. Он ведь кашу-то эту заварил...

«В Вотся-Горте обсохнут-обогреются... Вотся-Горт... Чудно: как о чем ни подумаешь — он на ум приходит. Чего так?»

После этого вопроса Гриш знает, в сотый, а может, и в трехсотый раз — не считал — пойдет булыгой в голове перекатываться одна и та же мысль: подтвердит ли его надежды Вотся-Горт?

«Обсохнут-обогреются... А как нет — что тогда? Как оправдается он перед людьми, перед их ребятишками?» — вкладывает Гриш в свои размышления о непогоде другой более глубокий смысл.

Он смотрит на небо — скоро ли дождь утихнет, трубку бы закурить, с ней все же легче. Усы, брови, ресницы в один миг намокают. Гриш обтирает их рукой.

«Обсохнут-обогреются! Одно правильно на сегодня —

богатое угодье найти и там с семьями закрепиться или хотя бы трудное время переждать».

«Ты неправильно придумал! И плохо, что Куш-Юр тебя не отговорил. Нет такой правды, чтоб от людей уходить!» — Варов-Гриш как бы слышит осуждающий голос Петул-Вася.

«Ну ты, знай-болтай! — строго сказал Гриш.— Ты хоть и читальщик, а я лишь кое-как аз, буки, веди осилил, но тоже понятие имею: новую жизнь на новом месте начинают... Ты оттого перечишь-сбиваешь, что жаль избу бросать, которая тебе при разделе досталась. Вы с женой бережливы. От людей уходить не хочется вам, но и людьми тяготитесь. Хворый Илька и тот вам мешал. Бывало, ворчали: «Опять под ногами! Того и гляди, ненароком затопчешь, совсем изувечишь». Из-за вас и другие в доме не жалели мальчишку «Коньэр ты, коньэр[1]! Мучаешься попросту. Не жилец! Прибрал бы бог тебя! Лучше было бы!» Думаете, не при мне сказано, так не слышал? Думаете, не знал, отчего мальчишка прятался в дальнем углу? Кабы не наша мать, мальчишка, и верно, сгинул бы... Да кабы вы одни с женой такие были!.. А то ведь и другие черствеют, норовят ухватить побольше... Противно глядеть. Не от людей ухожу, а от их скверноты. Хоть бы мне и не ветхий дом в разделе достался, все равно бы ушел... Создадим постоянную парму! Новым гнездом заживем. Сами совьем».

Сейчас, в мысленном споре, Варов-Гриш говорил брату такое, чего прежде не осмеливался. Оттого и разгорячился. Ох, как нужна ему хоть одна затяжка! Но где в такую сырость высечь искру, зажечь трубку!.. Чтоб хоть только ощутить вкус табака, Гриш заложил за щеку щепотку махорки. От неприятной горечи с отвращением сплюнул за борт. Нет, даже в самой короткой затяжке больше удовольствия! А ведь есть люди, которые предпочитают жевать табак...

Да, всякие люди... Вот они от одной матери, три брата,— и все разные. Младший, Пранэ, невезучий почемуто: дети у него умирают, рыба его сети обходит, в тайгу пойдет — зверя не встретит. До картежной игры охочий, про все на свете забывает в игре, такой заядлый.

С братьями родными не ужился, так с товарищами-

---

[1] Коньэр — несчастный из несчастных, невезучий (*коми*).

друзьями гнездо совьет. Что бы там ни калякали, а он верит в каждого.

Ну чем плох Гажа-Эль? Выпивает? Есть грех. Другой раз одежду с себя пропьет! Сперва рукавицы отпорет от малицы, на вино сменяет. Не хватит — капюшон пустит, а там и до пандов[1] дойдет. Бредет домой уж не в малице, а в рубашке. Сдуру-спьяну даже избу свою дотла спалил. Пошел ночью в чулан за рыбой, закуска, вишь, понадобилась, и, должно быть, бросил на тряпки непотушенную спичку. Пока пировал, огонь-то и занялся. Еле сами спаслись. Зато хмельной ни жену, ни детей, никого, даже недругов, не тронет. С его-то силой да под градусом — пальцем можно свободно зашибить. На Гнедке пьяную дурь отводит. Хлещет кнутом, пока конь не затрясется всем телом, мыльной пеной не покроется. Сжалится тогда, обнимет коня за шею, слезами обливаясь. И Гнедко с ним поплачет, будто человек. Но уж если Гнедку тяжелый воз поднимать в гору, выпряжет его, сам за оглобли схватится и потащит...

Чудной? Не-е, доброта! В Вотся-Горте хмельного держать не станем — отвыкнет. Душа раскроется. И Сенька с Парассей авось с нами воспрянут духом, возлюбят труд. Едут вон без тягости. Малость Сенька попужал всех. Ничего, в дороге и не то бывает... Мишка Караванщик тоже компанию не попортит. Не ленивый. Одним словом, уживемся — приживемся».

На минуту он оторвался от своих мыслей, стал всматриваться в затуманенную дождем даль — не прозевать бы берег.

«Еще не видать,— успокоился Гриш.— Да, первейшее дело — раздора чтобы не было между бабами, между нами, мужиками. Вроде не с чего, пай одинаковый у всех — руки да спина. Рыбы наловим, дичи настреляем, сена накосим, ребятишек — по ягоды и орехи... Перезимуем! А там...»

Он улыбнулся. Ему виделся Вотся-Горт, залитый солнцем, с ровными улицами, с одинаковыми аккуратными домиками, с белопенной черемухой в палисадах. Посреди Вотся-Горта, на большой площади, каменная школа и каменный с колоннами Нардом. С тремя колоннами. И народ веселый и нарядный идет смотреть представление. А он, Варов-Гриш, с гармонией, встречает всех задорной

[1] П а н д ы — меховая нашивка на подоле малицы.

песней. «Заходите, заходите, не пожалеете, сейчас мы вам споем-спляшем самые лучшие песни-танцы». И на сцене наряжаются, разрисовывают себе лица парни и девушки, которых он собрал, научил петь и плясать...

И он незаметно запел вполголоса, слегка притопывая в такт.

— Погромче, дядя Гриш, мы послушаем,— раздался из-под полога ребячий голосок. Видно, не спали дети.

Гриш смутился, замолк, будто в его мечту заглянули; он ее даже Куш-Юру не открывал: не то что боялся насмешек — Куш-Юр не такой,— а сам не знал отчего.

— Дядя Гриш, а? — несмело, но настойчиво просили из-под полога.

— Некогда, скоро Вотся-Горт. Лучше на берега поглядите,— схитрил Гриш.

Ребята клюнули на его увертку: им лишь бы не хорониться под душным пологом.

— Приехали, приехали! — загалдели, захлопали в ладоши.

— Не совсем еще.— Гришу пришлось поправлять свой невольный обман.— Проедем малость вдоль берега, потом по неширокой речке — и тогда уж... А вы не лезьте в мокреть. Приоткройте полог и любуйтесь

Берег возник внезапно, крутой стеной, с вековой лиственницей на самом верху.

Дети задрали головы.

— Ой-ой-ой! Страшно как! Голова кружится!

Гриш остался доволен тем, как они встречают новые места. Успокоил их:

— Не пугайтесь, скоро пониже будет.

Въехали в речку. Берега пошли разные: левый — крутой, лесистый, правый — низкий, луговой, с тальниками и березками. Есть на что посмотреть, что с чем сравнить.

— Эй, Варов-Гриш, Вотся-Горт не прозевай! Хорошенько рули! — гулко прокатился бас Гажа-Эля, и многоголосое эхо повторило его призыв.

— Не прозеваю, ай люли-люли! — весело отозвался Гриш, и все в лодке засмеялись — и взрослые и дети.

Караван въехал в неширокую протоку. Вскоре на ее берегу показались два домика со стайкой и сарайчиком, окруженные березами.

— Вот и наш Вотся-Горт,— устало и радостно вздохнули взрослые.— Приехали-и-и! Здравствуй, Вотся-Горт!

Глава четвертая

ЭГРУНЬ

1

Верстах в пяти выше и ниже Мужей Малая Обь круто поворачивает за густые тальниковые берега. Оттого приближающийся пароход долго не бывает виден. И только по дымку над тальниками узнают селяне — «биа-пыж» идет, «огненная лодка», может, с вереницей барж, с продуктами.

Случается это не часто, и надо ли удивляться, что все — и кто ходит, и кто кое-как ковыляет — спешат на пристань, потолкаться в народе, из первых уст узнать новости. Мужи ничем не отличались от других селений Севера: пароход здесь всегда событие.

Первыми бегут на пристань женщины, на ходу развешивая на руках, на плечах свое рукоделие. Зырянки — большие мастерицы шить пыжиковые шапки, тюфни — высокие туфли из шкурок с оленьих ног или нерпичьего меха. Пораньше прибежишь — с выгодой продашь,— наивно полагают рукодельницы. Да ведь покупателей здесь не обманешь, не проведешь.

Немного погодя и мужики мчатся к пристани. Не столько порох-дробь, сколько винка манит их. Некоторые отчаянные даже на лодках кидаются навстречу пароходу. (Каким только чудом не подминают их колеса!) И все для того, чтобы первыми взобраться на палубу, отведать винки еще до того, как судно пристанет, и выхваляться потом перед дружками.

Прибытие парохода — событие и для ребятни. Мальчишки и девчонки не зевают. Наравне со взрослыми торопятся поскорее сбыть северные рукоделия, разжиться деньгами, а удастся — выменять чего-нибудь лакомого: картошки, редьки, лука и, конечно, сладостей...

Вездесущие и зоркоглазые ребятишки и на этот раз первыми обнаружили дымок над Малой Обью.

— Биа-пыж! Биа-пыж!..

Куш-Юр как раз шел в Совет, когда улицу огласил торжествующе-призывный клич ребятни, мгновенно подхваченный в разных концах села:

— Биа-пыж! Биа-пыж!

«Не иначе Гал с товаром для мир-лавки!» — обрадовался Куш-Юр и повернул в сторону пристани, прикиды-

вая на ходу, как лучше организовать встречу и разгрузку парохода.

Миновав пять дворов, он сбавил шаг. На тихой улочке вдруг стало людно. Деревянные шаткие мостки скрипели и гнулись под множеством ног. «Будто шквалом людей повымело из изб»,— подумал Куш-Юр.

Обойти передних можно было только по жирным пластам неизбывной грязи. И Куш-Юр, не задумываясь, сошел с тротуара. Он надеялся в веренице прохожих разыскать партийцев и комсомольцев, позвать их на разгрузку.

Как ни торопился он, а на пристань поспел далеко не первым. На широком дощатом настиле уже толпилось немало селян. Одни развертывали свои товары, другие сторожили приближавшийся дымок, гадали: какой биапыж выползет из-за поворота, состоится ли торжок, не напрасны ли хлопоты?

Белым лебедем, торжественно и красиво, пароход выплыл по стрежню волнующейся от ветра реки. Поравнявшись с селом, загудел громко и протяжно. То было хорошо знакомое селянам грузо-пассажирское судно «Храбрый».

С настила на гудки ответили приветственными криками. У «Храброго» — команда торговая, с пустыми руками не отойдет.

Пароход, шлепая плицами, медленно приближался к пристани. Толпа подалась навстречу.

Куш-Юр с трудом пробрался вперед, ведя за собой всех партийцев и комсомольцев села, которых он разыскал в толпе.

Их было девятеро вместе с Куш-Юром. Пока пароход приближался, они кое-как сдерживали натиск людей. Но когда «Храбрый» ошвартовался и матросы спустили трап, некоторые ловкачи, рискуя свалиться в воду, прорвались на судно.

— Освободите настил! — призывал Куш-Юр наседающую толпу.— Может, что для мир-лавки привезли. Выгрузим, тогда уж поторгуете. Успеете.

— Груз?

— Мир-лавке?

— Сла-те господи!

Люди попятились.

— Подальше, еще подальше отведите толпу! А я поищу Гала,— приказал Куш-Юр своим помощникам и направился к сходням.

Но едва он шагнул на трап, как туда же метнулось несколько человек из толпы.

Куш-Юра взорвало.

— Куда!.. Вот нечистая сила! — сердито рванулся он, но сумел ухватить за рукав плисовой кофты только какую-то нарядно одетую зырянку.

Женщина обернулась. Она была молода и так хороша, что Куш-Юр невольно выпустил ее руку. Откуда такая красавица в селе? Даже в гневе, со зло нахмуренными тонкими бровями — прекрасна.

— Ты-ы?! — Но она тут же одарила его белозубой заискивающей улыбкой.

— Это другое дело! Не идет тебе сердиться.— Куш-Юр был рад пошутить.

Девушка откинула концы розовой пуховой шали, приоткрыла зажатые под мышкой золотистые нерпичьи туфли, отороченные пышным мехом бурого песца-крестоватика, и вызывающе подалась вперед.

— Продать вот надо! Нельзя, что ли?!

— Да ведь мешаете,— улыбнулся Куш-Юр, откровенно любуясь девушкой.

— И ты таращишь бельмы? Зажмурься, а то присохнешь.— Она игриво повела плечом.

— Ты меня знаешь? — спросил Куш-Юр.

— Куш-Юр, председатель,— ответила девушка.

Он знал свою кличку, но в устах незнакомки она прозвучала насмешливо, вроде безволосый или безголовый председатель.

«Однако бойка не в меру. Где-то я ее видел!» — напряг он память.

— Ты чья такая?

— Тот знает — чья...— пожеманничала она.

«Заигрываешь. Ну, давай, давай! Вот узнаю, есть ли выгрузка, коли нет — покалякаем»,— решил Куш-Юр.

Тут его окликнул усатый мужчина неопределенных лет, в старенькой шинели и шапке-треухе.

— Председатель! Гони бездельницу! Нечего с ней лясы точить. Выгрузка есть! — И помахал какой-то бумажкой.

Прежде чем позвать свою бригаду, Куш-Юр обернулся к незнакомке — хотел условиться о встрече. Но девушка уже дробно стучала каблуками щеголеватых ботинок по трапу, тряся кружевными оборками шелкового сарафана. «Ах, ты вот какая!» — возмутился он.

— Эй, куда!..— строго и властно бросил ей вдогонку.

Девушка даже не оглянулась.

Но вход на палубу ей загородил усатый, в шинели.

— А ну назад! — приказал он и, отталкивая ее, стал спускаться с трапа.— Мешаются тут всякие!..

Отбиваясь руками, девушка медленно отступала.

— Ты, Гал, сам всякий! Биасин [1]! Женоубивец!..

Мужчина зарычал от ярости.

«Женоубивец» для Гала — соль на кровоточащую рану! И кто сыпанул?! Мироедское отродье, дочка Озыр-Макки, который сделал его биасином, который спал с его женой, пока он кормил вшей в окопах?! Из-за него, проклятого, на покосе в беспамятстве он косой порешил жену...

— У-у-у!.. Утоплю, подлая вражина! — Гал схватил девушку за лиф сарафана, притянул к себе, намереваясь швырнуть в воду.

— Ты что, Гал! — В два прыжка Куш-Юр оказался на трапе.

Гал с трудом разжал пальцы. Тяжело опустил подрагивающие руки.

— Иди! — велел Куш-Юр побледневшей девушке.

Недобрым взглядом проводил ее Гал, злые искорки не погасли в его глазах.

— Ты что? — повторил Куш-Юр.

В селе многие недолюбливали Гала. Считали, что его надо судить. Мало ли что сменилась власть, все одно за убийство жены судить надо... Отношение Куш-Юра к Галу было сложным. Он осуждал его. Но признавал не преступником, а жертвой подлых кровососов. То, что Гал выследил и доказал связь Озыр-Макки с белыми, примирило Куш-Юра с ним, человеком, глубоко несчастным, замкнутым, полубезумным.

А девушка, уже легко пританцовывая, шла по берегу, словно стычки и не было.

— Кто такая?

Гал, казалось, не слышал вопроса. Его лицо перекосила злоба.

Куш-Юра это озадачило, но он понял — спрашивать не время.

— Что привез? — сделал он вид, будто девушка его больше не интересует.

---

[1] Биасин — огнеглазый, в данном случае — помешанный, ненормальный.

— Вот... радуйся.— В руках у Гала трепыхнулась бумажка.

Куш-Юр взял ее, пробежал глазами, присвистнул недовольно.

— Только и всего? Полсотни мешков муки да крупы, две дюжины кулей соли! Это на Мужи со всей округой!

— Скажи спасибо. Другим и того меньше досталось. Давай мужиков наряжай — пароход ждать не станет.

— Чего там наряжать — сами с комсомолом вытаскаем.

Он пошел звать ожидавших на пристани партийцев и комсомольцев.

То, что никого больше на выгрузку не нарядили, поубавило радости у селян.

— Видать, не ахти как много привез Биасин-Гал, коли сами управляются.

— По фунтику-два на двор выдадут...

— А ты большую сумму наготовил?

— С малой по миру не пускают,— съехидничал в ответ Озыр-Митька, Богатый Митька, сын Озыр-Макки.

Куш-Юр узнал его сразу, не столько по голосу, сколько по злобному блеску в глазах: точь-в-точь как в тот день, когда у отца перетряхнули амбары, а самого забрали за связь с белокарателями. Еще тогда Куш-Юру почудилось, что он видел Митьку в команде, зверствовавшей на барже смерти, и, хотя ему доказывали, что этот гаденыш из села не уходил, он не мог освободиться от подозрения. С Озыр-Митькой рядом стоял Квайтчуня-Эська — Шестипалый Эська. Одного рода и племени. Как и Озыр-Макко, отец Квайтчуня-Эськи был связан с белыми. Обоих к стенке поставили. «И выродков ихних надо было заодно»,— подумал Куш-Юр.

— Потрясли вас, да, видать, мало, без сумы пока обходитесь.— Вечка, широко ставя ноги и натужно согнувшись, нес мешок с парохода, но не мог не ответить на вражью болтовню.

— Им сума не понадобится, их казенный харч ждет, по две галеты с кружкой воды.— Куш-Юр долгим, тяжелым взглядом посмотрел на Озыр-Митьку и Квайтчуня-Эську.

Озыр-Митька сдвинул льняные брови, прищурил глаза, но промолчал, только желваки заходили на скулах.

А Квайтчуня-Эська выставил вперед смолистую бороду, простачком прикинулся.

— Что мы такого сказали? Свобода — что хоти говори... А мы и вовсе молчали. Все подтвердят — ведь правда, мужики? Люди заговорили, мало, мол, привезли... А мы что? Мы к слову, для смеха...

— От такого смеха горькими слезами плачут,— оборвал его Куш-Юр,— верно, селяне?.. Чего сколько привезли — объявим. Ничего не утаим. Сколько есть — все ваше будет.

Ему казалось, что его доверительная откровенность растеплит селян, но они молчали. Выслушали его, попыхивая трубочками, не выразив ни одобрения, ни возражения.

Куш-Юр надел на себя грузчицкую заплечную подушку для переноски тяжестей и пошел на пароход. Невеселые думы теснились у него в голове: «Мешков бы двести получить — контре не нашлось бы ушей. Гады! Все тишком норовят. Главное, чуют, когда из норы выползать... Давно надо бы пощупать этого Митьку. Матерый! Ишь как зенки вызверил. Его допусти, он не то что волосы на голове моей спалит, а всю шкуру спустит... Ох, был он там... А что, если протокол составить — и в Обдорск, за злостную агитацию? Там — живо дело...»

Но когда он, взвалив на себя мешок, осторожно ступая, сходил по трапу, раздражение поутихло. Давно не носил он тяжестей, с той поры, как перестал бурлачить. Ладно, что бросил он это дело, а то бы не миновать грыжи. Спину сейчас ломит... Куш-Юр чувствовал, за ним наблюдают десятки глаз, и ему захотелось показать всем, что он не белоручка.

Небрежно, будто какой сверток, скинул он с плеч мешок, выпрямился и увидел неподалеку женщин, шумно, наперебой предлагавших команде парохода свой товар. Давешняя белокурая незнакомка вертелась там же.

«Все торгует! Одной парой туфель? — усмехнулся Куш-Юр.— Неужто никто не клюнул? А может, не одна у нее пара? Хороша, ничего не скажешь. Прямо писаная!.. Где-то я ее видел! Где? Когда?.. Что у нее с Галом?» Но он так и не вспомнил.

2

Выгрузку кончили к обеду.

Пароход трижды прогудел, отчалил от пристани и пошел по стрежню вниз, на Обдорск. Пристань опустела. Мужчины разошлись, негромко переговариваясь: груз

пришел «капельный», а следующего парохода не скоро ждать. Женщин еще раньше словно ветром сдуло: надо было кормить семьи обедом.

Когда Куш-Юр освободился, незнакомки уже не было. Он слегка пожалел: хотелось узнать, кто такая. По дороге домой решил заглянуть в сельсовет, возможно, секретарь на месте, пусть сосчитает едоков по дворам, после обеда поделят продукты...

Сельсовет помещался рядом с церковью, в доме бывшего попа. Год назад поп добровольно отрекся от сана, постриг гриву, обрил бороду и, нареченный селянами Стрижко-Поп, уехал в соседнее село, где занялся мирским делом — рыбалкой, а дом подарил новой власти. Другому попу, сменившему его, пришлось снимать себе квартиру у прихожанина.

Секретарь сельсовета Писарь-Филь сидел за своим столом и что-то усердно писал. Крупная рыжая голова его, тяжесть которой, казалось, не выдержала тощая шея, лежала возле листов бумаги, аккуратно разложенных на столе.

— Скрипишь? — поддел его Куш-Юр, устало опускаясь за свой стол.— Даже не показался на пристани.

Филь, не поднимая головы, посмотрел на него поверх очков.

— И без меня там, чай, толкотня была. Да и знобит меня у воды.— Он передернул узкими худыми плечами.— Привезли чего-нибудь?

— Малость,— вздохнул Куш-Юр и стал сворачивать козью ножку.

— М-да. За лето, может, еще что получим? А то мором помрем.

— Ты бы хоть не каркал,— поморщился Куш-Юр.— Как-нибудь перебьемся. Лето — не зима. Рыба, дичь, ягода — прокормимся. Что за писанина у тебя? — закуривая, кивнул он на бумаги, разложенные на столе секретаря.

— Списки селян.

— Эк ты догадался! В самую точку! После обеда делить будем по едокам.

Писарь-Филь как-то странно отнесся к словам председателя: он испуганно зашуршал листами, торопливо сгребая их.

— Еще переписать надо,— пробормотал он, пряча бумаги в стол.

— Это зачем же? Списки давно готовы были. Пармщиков не вычеркнул? Не вычеркивай, им тоже дадим.

— Из-за них все дело...

Вид у Филя был растерянный, и Куш-Юр догадался, что дело нечисто.

— Ты что там намудрил?

— Их на отдельный листок выписал, ну и страницу стал переписывать.

— И что?

— Продырявилось в одном месте,— виновато признался Филь.

— Продырявилось? А ну, покажи!

— Зачем? Перепишу, тогда уж.

— Показывай, показывай, чего натворил.— Куш-Юр встал из-за стола и протянул руку.

Филь неохотно, с кривой улыбкой отдал ему разномастные листки.

Быстро листая списки, Куш-Юр увидел прямо посреди одной страницы что-то вроде оттиска печати с дыркой в центре. Присмотрелся — вокруг дырки мелким почерком было выведено: «В этом месте капнуто, по капнутому лизнуто, по лизнутому терто. Получилась дыра. Что вокруг дыры написано — верьте».

Куш-Юр расхохотался.

— Учудил же ты, секретарь! По капнутому лизнуто, по лизнутому терто... получилась дыра... Верьте... ему! Ха-ха-ха! Ох, Филипп, Филипп! Секретарь мой, капнутый-лизнутый!..

Филь встал из-за стола. Хилый и тощий, в потертом пиджачке-недомерке, в больших зеленых галифе и коротких сапожках, обутых поверх длинных, до колен, узорчатых зырянских чулок, он был до смешного нелеп и неуклюж.

— Тебе вот хохотно,— обиженно укорил он.— Разве я для смеха придумал? Капнуло с пера нечаянно. Да здорово капнуло. Я испугался — документ ведь. Лизнул с ходу, как в школе бывало. А оно того пуще размазалось. Я хвать резинку и давай тереть. А бумага-то на курево лишь годна. Миг — и дырища.

— Ну и леший с ней!

— Как же! Я ведь беспартийный. При прежней власти писарил. Всяко подумать могут. Хотя все скажут, богатеи мне не дружки.

— Знаю... Растерялся ты, мил друг, основательно, кап-

нувши-лизнувши... Исповедался вокруг дырки...— Куш-Юр задыхался от смеха.— По капнутому лизнуто, по лизнутому терто. Получилась дырища. Хоть верьте, хоть нет... Ну, Филипп, здорово ты влип. Если пронюхают в Мужах, вмиг окрестят тебя: «Капнутый-лизнутый» или «Писарь с дыркой». Ха-ха-ха!..

Филь уставился на Куш-Юра округлившимися от испуга глазами.

— Скажешь тоже! Смотри, Роман Иванович, не промолвись про «печать-то». Народ наш, знаешь, влепит прозвище — и навеки.

— Знаю, как не знать, коли меня окрестили. Обычай зырянский! Все село — одни прозвища. Кто понадобится — по фамилии не сыщешь. А по прозвищу — каждая собака хвостом укажет.

— А может, так и сделать — добавить в списки и прозвища? — осенило вдруг Филя.

— Как же! Еще мое Куш-Юр туда сунь или твое — Писарь-Филь. А Биасин-Гала впиши — навек обидишь человека... Нельзя!

— Нельзя... Да...

Имя Гала напомнило Куш-Юру утреннюю стычку на трапе, белокурую красавицу.

«Филь, поди, ее знает. Он всех знает. Спрошу-ка будто между прочим»,— решил он.

— Послушай, ты все-таки докладывай мне, кто новый в село приезжает. А то видел на пристани белокурую зырянку, вроде не мужевская, а торговала тюфнями...

— Белокурая? Лицом писаная, телеса — в шелках? — Филь причмокнул: — Эгрунька это, заноза девка, сестра Озырь-Митьки. Расцвела на пышных шанежках.

— Да-а-а?! — Куш-Юр не смог скрыть своего огорчения.— Верно ведь! То-то, думаю, видел ее где-то. Ну, ясно, когда трясли у них сундуки, голосила вовсю на крыльце. Не такой тогда показалась...

— А сейчас слюнки потекли? — осклабился Филь.— От нее все парни с ума сходят. Да и женатые не прочь... Но она — лиса. И не пара она, такому, как ты. Дочь контры!

«Вот оно что! Сестра волка! Поди, сама волчица! То-то ее Гал гонял! Да, похоже, волчица с лисьими повадками... Эх, отчего бы ей не быть просто красивой бойкой девчонкой!»

Тут Куш-Юр заметил, что Филь хитро улыбается.

«Ах да, надо ответить, а то еще черт-те что подумает». И он сказал сухо, отклоняя какую-либо интимную доверительность в отношениях с секретарем:

— А я и не собирался свататься. Да и ты не сваха. По должности интересуюсь. Мне полагается знать всех селян.

— Полагается,— поспешно согласился Филь и вроде без особого значения, безразлично так добавил: — Озыр-Митька метит Эгруньку в жены своему приемышу Яран-Яшке.

Как он и предполагал, Куш-Юр заинтересовался новостью.

— Яшке? Батраку своему? Он ведь ненец, иноверец. Как же это?

— А так. Хитер Митька. Сделает Яран-Яшку зятем — навечно закабалит.

Негодование против Озыр-Митьки вспыхнуло в Куш-Юре с новой силой.

— Вот гад! Я его обломаю, этого вражину!.. Яшку надо вызволить из лап Митьки.

— Нужно... А как? Яшка по уши втрескался в Эгруньку. Не даст вызволить себя.

— А она?

Куш-Юр задал этот вопрос деловым тоном. Но Писарь-Филь вдруг уверился, что познал сокровенную тайну председателя, и поспешил его успокоить:

— Что ты! Она знает себе цену. Яшка хоть и озырянившийся ненец, все одно для нее — иноверец.

— Да ну их псам под хвост! Давай к делу. Ты эту капнутую-лизнутую страницу перепиши, чтоб после обеда список был как стеклышко. Едоков подсчитай. Ясно? — Он поправил шапку и вышел из Совета.

Проводив его, Писарь-Филь, похлопывая себя по ляжкам, залился довольным смешком.

Глава пятая

ПЕРВЫЙ УЛОВ

1

Разгружаться вотся-гортцы решили с утра. Похлебали молока. После этого мужчины повели жен осматривать избы.

Сандре здесь все было знакомо: с зимы, когда она помогала мужчинам ставить дома, ничего не переменилось. А Еленния, Сера-Марья и Гаддя-Парасся осматривали и дома и сарай дотошно, в деталях. Мужчины ждали восторгов и похвал, а женщины как-то сникли. Избы стояли без окон, без печей...

— Бабе вовек не угодить, якуня-макуня.— Гажа-Эль, озлясь, топнул ногой.— Окна навесить плевое дело. Знаете ведь, с собой привезены, со своих изб поснимали, зряшной работы чтоб не делать тут. А печи кто зимой кладет? Летом сложим. Было бы чего варить...

Но на женщин не подействовали ни слова Эля, ни его добродушная шутка. Они молчали, поджав губы. Только Сандра поддакнула:

— Верно, это не помеха...

Еленне, Марье и Парассе не понравилась поспешность Сандры. Могла бы и подождать, не старшая. Не дослушав ее, они самолюбиво отвернулись.

Гриш немного опешил: такого начала не ожидал. Он терялся в догадках, но не подумал о том, что женщины вдруг затосковали по оставленному жилью, где хоть и не так просторно, светло и чисто, не пахнет свежестью, зато обжито, зато все на привычных местах, в избе одна хозяйка... Не подумал потому, что еще раньше, до отъезда, честно всех предупредил о совместном проживании на первых порах. Никто тогда не высказал недовольства или несогласия. Но то в Мужах, где было много всякой мороки с отъездом... А здесь, в Вотся-Горте, когда надо заходить под крышу, все вдруг остро ощутили это неудобство. Даже Елення, с которой на эту тему столько было переговорено, с тоской думала сейчас, что всю жизнь мучилась с невестками и вот опять не сможет хозяйничать в доме.

Уныние женщин раздосадовало Варов-Гриша. Однако не назад же ехать. Не позориться же перед людьми.

— Присядем, потолкуем! — сказал он решительно и опустился на крылечко.

Мужчины сели на бревна, а женщины так и остались стоять нестройной шеренгой. Повторного приглашения сесть они не услышали.

Мужчины молчали, давая понять: они на все согласны, пусть бабы выбирают. Женщины не разжимали губ.

«Одна другой не поклонится... Достанется мне с ними»,— подумал Гриш, выжидая вместе со всеми.

Еще зимой, когда ставили избы, он прикинул, кому с кем жить. Но согласятся ли с ним?

Однако не скажешь, так и не узнаешь...

— Может, так: по детям поделим избы? — спросил он и увидел на лицах женщин и мужчин заинтересованность. Это прибавило ему уверенности, и он продолжал: — У Сени да Парасси четверо, у Миши с Сандрой пока нет, им изба на пару. У нас с Еленней трое да у Эля с Марьей — двое. Нам, значит, вторая. Как думаете?

— А как Сандра понесет? — Сенька испуганно заморгал, увидев возмущенный жест своей Парасси. Ей предложение Гриша понравилось: когда еще Сандра понесет, бог даст, может и не понесет, а пока ее верх будет в избе.

— Так и наши не яловицы,— подмигнув Варов-Гришу, прогрохотал Гажа-Эль.

— Сиди ты, пес подстреленный! Этих не прокормить! — замахнулась на него Марья.

Но шутка всех развеселила. К радости Гриша, тут же в дружном согласии порешили, что делить избы по детям — самое лучшее.

Хотя избы были одинаковы, ставлены в одно время, для полной справедливости тянули жребий — кому в какую заходить.

Ночь провели вповалку на полу, подстелив кое-какие вещички.

С утра парма зажила в трудах и заботах.

Разгружались. Обставлялись. Навесили на окна пока что одинарные рамы. Поставили железные печурки — протапливать избы, если вдруг похолодает. На воле на невысоких столбах слепили из глины, перемешанной с прошлогодней травой и для крепости посоленной, круглую, чем-то напоминающую пышный каравай, печку без трубы, как у хантов перед юртой. В такой печке хоть шанежки пеки.

Работали дружно, весело. Женщин словно подменили. Рта не закрывали: все никак не могли нарадоваться новому месту. Скот на самом виду пасется, прямо за сараем. И покосы тут же, за хлевом. И лес светлый, березовый под окном, дрова, можно сказать, у самой печки. А промысел так и вовсе подле избы: неводи да неводи.

— Как в раю! — пришла в восторг Марья, и женщины согласно закивали.

— То-то же! Кругом хорошество-пригожество,— гордо подхватил Гриш.— А ну, артель, тяни, не канитель!

На ночлег устроились уже на своих постелях, каждая семья под своим пологом.

Под утро Гриш проснулся в какой-то тревоге: показалось, кто-то над ухом шепчется. Он приподнялся на постели: кругом было тихо. Гриш повалился обратно. Но тут до его слуха донесся шепот Марьи и недовольное бормотание Эля. «А вторую печку сегодня слепите?» — «Пошто она тебе?» — «А что вчетвером с одной-то печкой?» — «Пошто вчетвером?» — «Как пошто?» — «Одна наварит».— «Параська? От ее варева собак мутит!» — «Спи!» — «Объедят они всех со своей прорвой. Ненасытные».— «Каждый кусок не усчитаешь».— «У тебя много ли припасено — шесть ртов еще напихивать?» — «Так и на них пай приходится».— «Свое пусть и жрут!»

Гриш окончательно проснулся — сон как рукой сняло.

«Однако, скажи, какая! — заклокотала в нем злость. Не спали б дети, он сказал бы Сера-Марье, не поглядел бы, что соседка.— Ведь вот какая сквернота! В рот заглядывать! Ешь сама, коли завидно. Не препятствуем. Как уговорились, так и будет! Промысел — сообща, котел летом — общий, чтоб кухарить поочередно, не отрываться от дел. Работай, сколь сил есть, ешь, сколь влезет...»

Тихонько, чтобы не разбудить Еленню, Гриш вылез из полога и, как был в исподнем, босой вышел из избы. Было прохладно. В воздухе чувствовалась предутренняя свежесть. Он поежился и вернулся за одеждой. Одевшись, прошел к хлеву, поглядел на скот. Подумал: в дороге доили в один подойник — и ничего, а здесь порознь. Не углядел. Тоже против уговора. Так оно одно к одному и...

Повернул к реке. Проходя мимо хантыйской печки, остановился. А если и другие, как Марья? Что он против всех? Слепить разве еще одну? Потешить Марью!.. Вот-вот... Дойка — врозь, варка — врозь, лов — врозь... Как уговорились! С непривычки блажат бабы! Все на попятный двор норовят. Привыкнут — не нарадуются. Третьего дня нос воротили, а вчера — одно хорошество. Как нападет на них! Вот ведь не поддался — и сладилось.

Однако придет утро, а варить в общем котле нечего. Вчера не поохотились, не порыбачили. Недосуг. Опять молочко с сухарями? Тремя коровенками всех не прокормишь. Семейка — семнадцать ртов. Которые титьку сосут, так все одно мамкам их пай идет. По делу, с утра бы сеть

забрасывать. Снасть не готова. Руки не дошли. Что б там ни было, сегодня надо изладить...

Занимался день, и над рекой закружили стаи крикливых чаек-чарганов. Птицы взлетали из речных зарослей и в зарослях садились. Видимо, гнездились там.

Не раздумывая, Варов-Гриш столкнул на воду калданку, прыгнул в нее и поплыл, размашисто гребя одним веслом. На протоке лодку сносило течением, и она легко скользила.

В зарослях, на выступающих из воды луговых кочках, гнездились не одни чарганы, но и утки, гуси, лебеди. Какой птичий базар под боком, а они не знали!

Он въехал на затопленный луг, сошел с лодки, и, присев на корточки, стал собирать яйца в подол парки [1]: крупные, со снежно-белой скорлупой — лебединые, пожелтее, поменьше — гусиные и зеленые, с черными веснушками — яйца чаек. Миг — и подол полон.

Отнес находку в лодку, порадовался: хороший будет завтрак ребятам. Пересчитал — две дюжины и еще четыре штуки. Засмеют, поди, за такую малость. Еще раз набрал полный подол. Две дюжины. Нет, так много не насобираешь. Гриш разделся, снял суконную парку и рубаху, завязал рукава и ворот.

Мешки получились вместительные, но наполнять их стало труднее. Чарганы словно опомнились от внезапного нападения человека и, воинственно крича, пошли в наступление на Гриша, норовя ударить его клювом. Самые отчаянные бесстрашно кидались ему на голову. Отбиваясь одной рукой, Гриш торопливо наполнял мешки. Он сожалел, что взял малую лодку, под тяжестью она оседала все ниже и ниже...

Время летело быстро. Утро было в разгаре, когда Гриш, голый по пояс, стоя посредине сильно загруженной лодки, осторожно работая веслом, показался в протоке.

Мужчины бродили возле изб, не зная, чем заняться, женщины доили коров. Первой увидела его Елення.

— Ой, что с ним случилось, с Гришем-то? — Она испуганно бросилась к берегу.— Ой, не иначе — тонул!

Кто был на воле, все побежали за Еленней.

Тревога сменилась радостными возгласами, когда лод-

---

[1] Парка, или гусь,— в данном случае летняя, из сукна, одежда с капюшоном.

ка легко ткнулась в прибрежный песок и замерла.

— Яиц-то сколько! Полная лодка! Вот это насбирал! Ай да Гриш!

Хвалила его и Марья, и он уже не держал на нее зла: не она, так и не привез бы столько еды, вкусной и питательной.

Гриш велел мужчинам и старшим ребятишкам принести ведра и котелки, выгрузить яйца и снести их под навес.

Хлопот было полно, и ждать, когда сварятся яйца, не стали. Наскоро позавтракав молоком, принялись за работу. За едой Гриш рассказал о птичьем базаре, и тут же договорились ставить касканы — навесные ловушки — на дичь и, пока изладят сети, сделать пробную тоню имевшимся ветхим неводом.

В обед расстелили брезент на лужайке и уселись, поджав ноги, неподалеку от костра, на котором в многоведерном котле варились яйца.

Гусиные и лебединые поделили между детьми. Яиц этих сварили немного, но ребятам хватило. Два лебединых яйца еще дали Парассе — как лекарство от цинги, и она выпила их сырыми.

Дождавшись, когда Гриш, как старшой, принялся за еду, и остальные потянулись к деревянным чашкам, доверху наполненным яйцами.

— Утрамбуемся до отвала, не сами собирали,— подморгнул Гришу Мишка и, погладив рыжие щетинистые усы, заглотнул очищенное яйцо.

— А чего стесняться? Пармой живем, мать родная. Все равны! — возразил Гриш.

— Равны, да не совсем. Гажа-Эль вон какой бочка. А Сенька — лагунчик ведерочный. Неодинаково сожрут.

Сенька Германец поглядел своими глазками-чешуйками на живот Гажа-Эля, словно прикидывая его вместимость.

— Ты думаешь? Я, может, больше его слопаю,— сказал он.

— Да? — развеселился Мишка.— А ну, у кого аппетит больше?

— Як-куня-мак-куня!! — с презрением и угрозой выдавил из себя Эль и протянул руку к чашке, но Сенька опередил его и проворно облупил яйцо.

— А нам чего на них смотреть-то! Давай тоже,— обратился Мишка ко всем.

И женщины, и ребятишки стали между собой состязаться, кто съест больше.

Парасся едва успевала заменять опустевшие чашки, подставляя полные вперед своим детям и приговаривая с деланным беспокойством:

— Не объесться бы, не замаяться животами.

Гришу стало не по себе от этой вспышки жадности и обжорства.

«На даровщину накинулись! Будто кто отнимает. Али боятся, что другому больше достанется? Если не лениться, так с пустым брюхом ни один не будет».

Но, хватая яйца и давясь ими, никто не обращал внимания на Гриша, на его осуждающие взгляды.

Победил Сенька. Он съел четыре дюжины.

— Вот это да-а! — все были удивлены.— Мал, да удал! И куда он их запихал? Может, за пазуху?

— В утробу, сюда,— хлопал себя по животу Сенька, откинувшись навзничь и блаженно улыбаясь.— Я выиграл!

— Вот якуня-макуня! На целую дюжину больше против меня.

— А я еле-еле полторы дюжины одолел,— признался Мишка.

— Поднатужится, так и больше всех нас вместе слопает.— Эль виновато покосился на Марью.

Гриш насторожился: не хватало еще, чтоб пошли счеты-пересчеты.

Но Сенька добродушно пролепетал:

— Больше всех — нет, не полезет.

— Смотри, Семен, не заболей. Я буду виноват,— то ли пошутил, то ли всерьез сказал Мишка.

С обеда поднялись с трудом.

Сенька посоловел, глаза его смотрели сонно, он еле ворочался. Эль громко икал и тяжело пыхтел. Видно было, не прочь вздремнуть и Мишка.

Но Гриш притворился непонимающим и велел, как уговорились с утра, разобрать снасть. Яиц, по его подсчетам, могло хватить дня на два-три. А теперь завтра варить опять нечего. Придется с утра делать пробную тоню.

Свои сети он быстро выволок на полянку, но трое других долго не возвращались. Гриш уже подумал, не задали ли они храпака. Наконец появились Эль и Сенька. По их скучным лицам не трудно было догадаться, как сожалеют они, что им не удалось поспать.

Последним вернулся Мишка с кусками старых сетей и бечевкой для тетивы.

— Колом стоят эти полторы дюжины,— пожаловался он, тыча себе под ложечку.— А ты хоть бы что.— Он посмотрел на Гриша.— Сколько съел?

— Не считал: штуки четыре или пять.

— Четыре или пять?! Охота было чуть свет вставать да собирать?

— Так ведь мы теперь все друг для дружки.

— Для дружка, но и сам не зевай! Нет, ты слыхал, Гажа-Эль,— четыре или пять!

Эля это нисколько не тронуло. Разложив рядом с ветхим неводом Гриша свои такие же старенькие сети, он тупо глядел на них, прикидывал, что можно из них выкроить. Но когда Сенька неизвестно почему вдруг произнес: «Так жить можно!», не умолчал:

— Еще как! До отрыжки!

2

Назавтра сделали пробную тоню. Закинули в протоку небольшой залатанный невод. Тянуть его помогали и женщины, и старшие дети. Да и младшим не сиделось дома — первый лов!

Сынишка Гажа-Эля Энька и дочка Сеньки Нюрка нетерпеливо поджидали приближение мотни. Они разулись и вошли в студеную воду. Скоро ребятишки посинели, продрогли, но не уходили, приплясывали, чтобы согреться. Ведь так велик соблазн первыми выхватить из сети трепещущую рыбу и кинуть ее на зеленеющий пологий бережок.

Выполз на берег и Илька, сел на траву и с завистью глядел, как дружно, весело, говорливо тянут сеть. Ему бы с Энькой и Нюркой в воде приплясывать-ждать.

Рыбакам до берега оставалось шаг шагнуть. Мотня кишела живыми льдинками. Нюрка не выдержала, приподняла платьице и кинулась навстречу сети.

— Утонешь, язва сибирская! Куда лезешь, прямо в невод! Без тебя обойдутся, холера тебя возьми! — разразилась Гаддя-Парасся.

Нюрку ругань матери не остановила. И Парасся, бросив невод, замахнулась, чтобы воздать ей за ослушание, но девочка ловко увернулась, выхватила из невода пер-

вую рыбину первого улова в Вотся-Горте и выбросила ее на берег.

То была средняя щука. Вдогонку ей полетели щуки помельче и покрупнее, язи. На лужайке росла живая, трепещущая горка. Разговоры смолкли, и лишь слышно было, как шлепались, падая одна на другую, мокрые рыбины.

— Нюрка!!! — Гаддя-Парасся вдруг встала во весь рост и торжествующе подняла крупного сырка.— Отнеси в избу, на нярхул [1]! — Она ловко разъяла рыбью челюсть и за жабры повесила сырка дочке на палец.

Нюрка, провожаемая завистливыми взглядами ребят, не оглядываясь, вприпрыжку побежала в избу. Северные дети любят лакомиться свежатинкой и несут ее с улова на нярхул с большой гордостью.

За Нюркой, прервав работу, наблюдали все женщины. Они видели — у ног Парасси трепыхается еще один сырок, и заметили, как она быстро присела, накрыв его подолом сарафана.

— Какая ты счастливая! Первая сырка увидела! У первой у тебя нярхул будет! А мы не знаем, достанется ли нашим детям полакомиться,— лицемерно пропела Сера-Марья, не в силах скрыть досаду, что не ей достался сырок.

— Всем достанется, всем достанется.— Парасся будто невзначай нашла второго сырка, подозвала младшую свою Нюську (все дочери ее были почему-то наречены одним именем — Анка, Нюрка и Нюська) и точно так же, как и Нюрке, нацепила рыбину ей на палец и отправила в дом.

Но тут сырок попался и Марье, и Энька, сияя от радости, помчался с рыбой в избу.

А следом за ним унесла в дом рыбу Анка — старшая дочь Парасси.

Мишка Караванщик незаметно подтолкнул локтем жену:

— Еще улов не поделили, а воронята налетели...

— Ц-кышш! — цыкнула Сандра.— Ребятишки, много ли...

Но шепот их услышали.

— Детям пожадничал! Э-э...— огрызнулась Парасся.

---

[1] Нярхул — свежатина, еда из свежей [illegible] рыбы.

Марья тоже проехалась по адресу молодой пары:

— Своих нет, так и чужим жалко!

Елення промолчала, но подруг своих не осуждала. Попадется белорыбица, и она своим даст на нярхул.

Мужчине не годится ввязываться в перебранку с женщинами. Мишка отошел в сторонку покурить, но про себя решил поговорить с Гришем, чтоб такого больше не повторялось. Детишки детишками, а порядок должен быть. Вот Елення-то не взяла! Но именно в эту самую минуту сидевший на берегу Илька заканючил:

— Мама! Я тоже хочу нести рыбу на нярхул! Дай мне совсем живую! Ой, как хочу!

— Погоди, сынок, вот попадется, и дам!

— Возьми, Елення! — протянула ей рыбину Сандра.

— Бог тебе за добро воздаст,— благодарственно приняла рыбу Елення и поспешила к сыну, нацепила сырка на крючковатый палец правой руки.— Не тяжело?

— Не,— мотнул Илька головой, хотя держать руку на весу было трудно. Мальчик полусидя, опираясь на левую руку, пополз к избе.

По дороге его встретил отец. Он возвращался из сарая, волочил носилки для рыбы.

— Ты куда, сынок?

— Мамка дала! На нярхул,— обрадованно выпалил мальчик.

Гриш вскипел:

— Елення! Стыд какой! Общее ведь! Неси обратно! Или лучше я понесу!

Илька прижал рыбу к груди, прикрыв правую руку левой.

— На нярхул! — жалостно протянул он.

— А мы сейчас все поедим нярхул, сообща,— смягчился Гриш.

— А Нюрка понесла! И Энька понес! — не унимался мальчик.

— Что понесли? — насторожился Варов-Гриш.

— Рыбу на нярхул.

Гриш с силой отшвырнул носилки и поспешил на берег. Поди, весь улов растащили!

Мишка все еще курил в сторонке, но остальные работали, заканчивая выборку рыбы из невода, женщины о чем-то судачили. Особицей от кучи щук и кучи язей лежало несколько белорыбиц-сырков и пыжьянов.

Зацепки для крупного разговора, к которому Гриш

приготовился, не нашлось, и он оглянулся, пожалев, что бросил сына.

Мальчик медленно возвращался на берег. Ожидая его, Гриш нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Как только сын подползет, он возьмет у него сырка и спросит построже Еленню: «Кто разрешил брать рыбу?»

Но мальчик еще издали крикнул:

— Чего же ты стоишь, папа? Ты ж обещал нярхул сообща?

— Какой такой — сообща? — не поняла Елення.

Бросив на жену сердитый взгляд, Гриш не ей, а всем адресовал свое предложение:

— Устроим детям нярхул?

— Устроим! И сами поедим! — дружно согласились женщины и мужчины.

— Иди, сынок, зови ребят! — обернулся к сыну Гриш и взялся готовить нярхул.

Раньше других прибежал Энька с рыбиной в руках и отдал ее Гришу. Потом пришли другие дети — сестра Эньки Окуль, Февра с маленьким Федюшкой на руках. Дети Гадди-Парасси явились из дому без рыбин. Последним приполз усталый, но счастливый Илька: в первый раз он почувствовал себя участником какого-то значительного, общего со взрослыми дела.

К тому времени Гриш распластал на доске несколько сырков и пыжьянов, отделил мясо цельными ломтями от головы и хвоста, не задев ни одной косточки, отрезал жирные чешки с брюшка и спины, рассек все на куски и поставил в общей чашке на разостланный брезент, заменявший стол.

— Ешьте! — пригласил он ребят.

Дети шумно набросились на лакомую еду. Анка зажала в каждой руке по куску. На нее глядя, это сделали и остальные. Чашка быстро опустела.

— Ах, вкуснятина! — восторгались ребята.

— Ешьте, ешьте, детки, свежатину. Скорее вырастете,— приговаривали, глядя на них, матери.

Никем не замеченный Сенька исчез. Вскоре он принес два сырка. Третьего, опасаясь гнева Парасси, оставил дома.

Гриш просветлел от радости. Ай да Сенька, молодец!

— Давай разделывай, Сень! А я за гармошкой сбегаю! Отпразднуем первый улов!

3

Мишку Караванщика, единственного из всех, устроенный Варов-Гришем праздник первого улова нисколько не радовал. Он поел свежатинки, с Гажа-Элем поохал, что нечем спрыснуть — Гриш зажал флягу со спиртом,— попел со всеми, лишь бы время убить, а сам все думал о своем.

Поначалу у него было намерение, дождавшись Гриша, побеседовать, как быть с уловом. Уговор на берегу — самое любезное дело, никто не в обиде. Пять рыбин — вроде пустяковина. Но если так пойдет — их, воронят, девять, да на каждую руку по сырку или пыжьяну — здравствуйте и до свидания! С чем приехали, с тем и домой возвращайся.

Но Гриш чего-то загорелся общим нярхулом, нажимая на это — общий, и Мишка удержался от разговора. Что-то ему в Грише начинало не нравиться. Дурит или хитрит? Давеча яйца всем раздал — жри от пуза. Как поп с Евангелием.

Мишка Караванщик это общее себе иначе представлял. Сообща промышлять, а добычу, как водится между людьми,— каждому рыбаку на рыло. Куда свой пай пристроить — он сам знает. Советчиков не надо. Ему бы деньжат сколотить, а там видно будет. Может, хозяйство заведет, а может, по конной части, извозом займется, дело хорошее. Ломать хребтину на дядю — дураков нет.

Кажется, оплошал он, Мишка. Шел в компанию известно почему — Сандру от Романа увести. Не то чтобы очень уж он по ней убивался — просто захотелось нос Роману наставить. Не больно важный начальник — одинаково партизанили, да он как был Мишкой Караванщиком, так им и остался, а Ромку Романом Ивановичем величают. Председателем...

Ну и без бабы чего себя морить. Пошастал по вдовам, надоели.

Но Сандра того не стоит, чтоб из-за нее на Сеньку, на его воронят батрачить. Хоть бы грела, а то — ледышка...

Когда Гриш завел свои скороговорки: «Тут и песне конец...» — и бабы стали нехотя подниматься, Мишка удержал всех:

— А с уловом что?

Голос его прозвучал спокойно, и вопрос можно было

принять за хозяйскую озабоченность. Эль удивился:

— Как что? Засолим — и будет прок...

— Не про то...— поморщился Мишка.— Что с уловом делать будем?

— Якуня-макуня! Уху варить, брюхо набивать! — Гажа-Эль был настроен на шутку, но в голосе Мишки чувствовалось раздражение:

— Только и всего — брюхо набивать?

Гриш почувствовал, что вопросы задаются неспроста, и, сложив гармошку, сказал спокойно:

— Не только брюхо набивать. Что не в котел — для мир-лавки солить-вялить. Ты ведь знаешь, Миш.

— А выручку?

— Всем поровну. С Куш-Юром обговорено.

— А по мне — делить улов сразу. Сам своему паю желаю быть хозяином.

«Вот ты куда?!» — Гриш сощурил глаза — от кого другого, но от Мишки Партизана не ожидал. В разговор вмешалась Марья:

— Миш верно говорит, надо делить сразу! И засаливать отдельно.

— Вот видишь! — ухватился Мишка.

Сенька Германец сидел за спиной Гриша и напряженно слушал, но тут он высунулся вперед:

— По-справедливому делить — по детям! — воскликнул он тоном человека, которого вдруг озарило счастливой мыслью.

Мишка Караванщик зло захохотал:

— Силен бродяга! И котел общий, и делить по едокам... Держи карман шире!

— Как же это ты, Семен? Михаилу-то с Сандрой вовсе ничего не достанется,— хмыкнул Гажа-Эль.

Сенька усиленно заморгал, соображая.

А Эль продолжал:

— Делить, так поровну, на семью, без общего котла! Мишку именно это бы устроило.

— Что Михаилу, что Семену — поровну? — не без подковырки уточнил Варов-Гриш.

— А кому какое дело? Нарожал — корми,— заволновался Мишка.

Но тут его Эль не поддержал.

— Неладно, однако, черепок сварил, якуня-макуня. Давай, Варов-Гриш, что твой сварит. А может, уже сварил?

Гриш чуть-чуть помедлил, и его опередила Сандра.

— С общим котлом лучше,— робко выговорила она.— Власть худого не присоветует.

— А ты не суйся, коли не спрашивают! — Мишка подскочил и в ярости сжал кулаки.— Знаем, кто эта власть! Ребра пересчитаю!

Сандра съежилась, но не отступилась.

— Да, с общим котлом лучше! Надо держаться того, что в Мужах решили: излишки засаливать вместе. А нажиток — поровну на семью.

— Может быть,— вздохнул Эль и положил руку на плечо Мишке, мол, не шеборшись, ладно, попробуем эдак.

— Конечно! — поддакнула Парасся, а за ней и Сенька.

А Мишка криво ухмылялся, дескать, поживем — увидим.

Гриш промолчал. Да и какие еще слова, коли сошлись в парму. Он растянул мехи и заиграл, запел свои скороговорки, будто давая понять, что спор окончен.

Глава шестая

ЗАНОЗА

1

После встречи на пристани Эгрунь стала чаще попадаться на глаза Куш-Юру. Он удивлялся: год прожил в Мужах и не видел ее, а тут по два-три раза в неделю встречает. Про себя он точно мог сказать, что невзначай. Но и не похоже, чтобы она подкарауливала его. В летнюю пору люди больше на воле бывают, оттого чаще и видятся. Глядеть на молодую красавицу было ему и приятно и горько. Не будь она сестрою Озыр-Митьки, он бы не проходил мимо, сухо сказав: «Здравствуй!» Все-таки хороша. Сандре не уступит. Ну да он без серьезных намерений. И Эгрунь вроде знать его не знает. На приветствие не отвечает. Не то что на пристани. Э-э, да ведь там от него ей выгода могла быть. Такая уж порода — во всем корысть ищет.

Вот так однажды он шел на реку и вдруг увидел Эгрунь. Согнувшись под большой вязанкой зеленых веток тала, девушка медленно поднималась по деревянному тро-

туару в гору. Видать, привезла с того берега на корм скоту.

«А она не белоручка!» — Куш-Юр уступил девушке дорогу и поздоровался.

Но Эгрунь, как и всегда, не ответила. Прошла, бровью не повела, ровно его и не было.

Следом за Эгрунью тяжело ступал Яран-Яшка. Впрочем, можно было лишь догадываться, что это Яшка. На широких плечах парня громоздилась такая вязанка зеленых веток, что его коренастой фигуры не было видно, и казалось, ветки сами плавно ползут в гору.

— Здорово, батрак! — шутливо приветствовал его Куш-Юр.

— Драствуй,— негромко отозвался парень, не останавливаясь.— Я не патрак. Сепе тащу.

— Ой ли?! Породнились, что ли, с Озыр-Митькой?

— Я у них выросли...

— Люди говорят — женить тебя хотят на Эгруни.

Яран-Яшка остановился, выпрямился, красный от натуги, и расплылся в улыбке.

— Маленько еще нет.

Он встряхнул вязанку, подбросив повыше на плечи, и двинулся дальше.

— Слышь, Яков! — крикнул Куш-Юр ему вслед.— Зайди в сельсовет. Разговор есть.

— Некогда! — буркнул парень.

Через день Яшка уехал с Озыр-Митькой на рыбный промысел.

Весть эту принес Писарь-Филь. Каждый день он выкладывал Куш-Юру ворох сельских новостей и непременно что-нибудь об Эгруни. Иной раз говорил только о ней. Так что Куш-Юр был в курсе всех сплетен, об Эгруни знал все, о чем судачило село. Видимого интереса к этим новостям он не проявлял, Филя ни о чем не расспрашивал, но и слушать его не отказывался.

Вскоре после того, снова встретив Эгрунь, он самолюбиво подумал, что строптивого Яшку надо поставить на место. В сельсовет вызвали, а он не идет. И в тот же день приказал Писарю-Филю:

— Вызови Яран-Яшку!

— Э-э, не скоро будет. На Иван Купала разве Озыр-Митька отпустит. На мыльке похороводить с девками. Эгрунька заводилой там.

«Мыльком» звали хорошо видную из окна сельсовета

лужайку позади церкви — единственное в Мужах место, где всегда сухо. Молодежь там проводит летние игрища и хороводы.

Куш-Юр ни разу еще не был на молодежных гуляньях в Мужах. Свободное время всегда проводил у Гриша. В Обдорске, помнилось, гулянья проходили весело. Зыряне — большие мастера петь, плясать, водить хороводы, чем-то напоминавшие русские. Да и пели в большинстве русские песни. Но как в селе отнесутся к его появлению на гулянье? Не красный праздник — церковный. Самому, может, и не стоит ходить. А Вечке, пожалуй, надо побывать. Веселье весельем, но, если над контрой глаза не иметь, яду, как пить дать, подпустит. Вот только с промысла приедет ли Вечка?

Накануне дня Ивана Купалы Писарь-Филь угодливо доложил:

— Яран-Яшки не будет. Озыр-Митька не пустил. А Эгрунька вовсю наряжается. Новый наряд справила. Хмельного наготовила.

Куш-Юр был занят своими мыслями.

— Не видел, Вечка приехал? — спросил он.

— Навряд, отец его неводит на дальней тоне.

— Если не приедет, с тобой на гулянье пойдем.

— Я-то зачем? — не понял Филь.

— Как зачем? Сам говоришь — хмельного наготовили. Поймаем — протокол напишешь.

Филь загорелся: он любил производить обыски и писать протоколы. Сейчас его радовало и другое: кажется, Куш-Юр подцепился...

Филь побаивался председателя, дрожал за свое место. При его тщедушии без должности не прокормиться. Хоть и вырос он в Мужах, а ни охотой, ни рыбалкой не занимался. И с той поры, как уловил интерес Куш-Юра к Эгруни, он только и строил планы, как бы свести их. Жениться председатель не станет: Эгрунька — дочка контры. Тайно будут любиться. Тут уж без него не обойдутся...

Завтрашняя встреча с Эгрунькой, казалось ему, будет решающей...

2

Молодежные гулянья у зырян — это невероятная, порой режущая глаз пестрота красок. Даже парни стара-

лись перещеголять один другого яркостью рубах и узорами шерстяных чулок. Девушки и подавно отдавали предпочтение цветам броским. И уж не повторялись. Двух одинаково красных сарафанов не встретишь. Если на одной огненный, то на другой — малиновый, на третьей — бордовый. Где только подбирали ткань! Но еще больше пестроты было в платочках, которыми не повязывались, а, сложив в три пальца шириной, обвивали голову. Яркие, цветастые, они напоминали живые венки. Ширины в три пальца требовал обычай, чтобы макушка оставалась непокрытой. Это оберегалось как девичья честь, как знак свободы. А для того чтобы покрыть макушку, каждая девушка припасала себе баба-юр, кокошник, который она наденет в час венчания и уже навсегда. После этого платочек повязывают не венком, а на всю голову...

Гулянье было в самом разгаре, когда на «мыльке» появился Куш-Юр в сопровождении Писаря-Филя.

Парней пришло мало: путина в разгаре. Но девушек это не остановило. Они веселились, как умели. Танцевали. Пели народные песни — зырянские и русские. Переняв русские песни от людей, плохо знавших язык, они комично искажали слова. Пели: «Ах ты, Сеня, моя Сеня...» Или: «Во саду ли, в городе девушка гуляла, она правыми руками солдат выбирали...» Стараясь сдержаться, сохранить приличие, Куш-Юр крепко стискивал губы, чтобы не расхохотаться.

Верховодила играми, заводила песни Эгрунь. В небесно-синем шелковом сарафане, в синем с оранжевыми цветами платочке, который так шел к ее белокурой головке и васильковым глазам, веселая, задорная, она была еще привлекательнее, чем всегда. Парни не сводили с нее глаз. Тот, кому выпадал случай плясать с ней или оказаться рядом в хороводе, норовил покрепче обнять девушку. Однако мало кому это удавалось: Эгрунь легко выскальзывала из объятий и бросала на кавалера такой взгляд, что тот краснел, виновато улыбался.

Писарь-Филь наклонился к уху Куш-Юра.

— Вот девка, сводит парней с ума!

— Тебя, часом, не свела, что-то часто о ней говоришь? — усмехнулся Куш-Юр, не отрывая взгляда от Эгруни. Спросил и покаялся: ни за что обидел бедолагу: уж если эти парни, молодые да ладные, успеха не имеют, куда тщедушному Филю.

Но Филь и не думал обижаться.

— Не отказался бы, если б меня мамка лучше родила,— смущенно хихикнул он.

«Тут хоть кто не отказался бы»,— только успело мелькнуть в голове Куш-Юра, как он услышал вкрадчивые слова Филя:

— А чего б тебе, Роман Иванович, не покружиться? По стати подходишь, да еще и начальник. Маленько и тебе погулять надо, не старик какой, а то сухота съест.

— Хочешь, чтоб и меня с ума свела? — неосторожно отшутился Куш-Юр.

Эгрунь недалеко от них кружилась в хороводе, услыхала его слова и занозисто бросила:

— Не бойся! Кого другого, а тебя сводить не стану!

Куш-Юр, задетый ее словами, пренебрежительно дернул головой:

— Может, я и сам не захочу!

— Захотел бы, коли мог!

— Вот заноза! — только и нашелся что сказать Куш-Юр и вдруг попросил гармониста: — А ну, сыграй «Барыню»!

— «Барыню», «Барыню»! — Филь усиленно замахал руками.

Куш-Юр лихо заломил на затылок шапку, подтянул голенища сапог и направился в центр «мылька», но дорогу ему преградила Эгрунь. Сдвинув брови, кинула она хмуро и дерзко:

— Зачем мешаешь?

— Ты что за хозяйка? Хочу попеть-поплясать! — распалился Куш-Юр.

— Сегодня наш праздник, а не красный!

— Но-но, полегче! — Куш-Юр помрачнел.— Знай помалкивай! Не забывай, из какого гнезда выпорхнула!

Плохо знал Куш-Юр женскую психологию, а то лучше бы ему отшутиться. Потому что Эгрунь особым женским чутьем угадывала, что не безразлична она председателю, и нисколько не испугалась его злых слов, отмахнувшись от них, как от легких пылинок. Смерив Куш-Юра насмешливым взглядом, она ответила, не скрывая издевочки:

— Ох, укорил, испугал. Награбил добра, а одежи себе не справил. Как Тихэн полоумный ходишь.— И, залившись смехом, подхватив под руку первого попавшегося парня, павой поплыла в сторону гармониста.

Это было неслыханной дерзостью. Не то что с председателем, а с любым мужчиной в таком тоне ни одна де-

вушка еще не говаривала. Но уж так комично было сравнение с Тихэном, известным в селе дурачком, который круглый год ходил одетый по-зимнему, в рваной малице и драных меховых пимах, что трудно было сдержаться не только парням, загоготавшим во все горло, и даже самым скромным девчонкам. Одни захихикали открыто, а другие тихонько прыснули в кулак, поглядывая то на растерявшегося Куш-Юра, то на глупо ухмылявшегося Тихэна, который вертелся здесь же, в толпе, и кривился в глупой ухмылке.

А Эгрунь подошла к гармонисту, о чем-то с ним пошепталась и, когда тот поднялся, громко позвала:

— Пошли, девки-парни! У Югана в лесочке погуляем! Венки совьем. Суженых на речке погадаем. Айда, Тихэн, с нами! Пускай власть одна тут пляшет!

Гармонист рванул страдания, какая-то голосистая певунья затянула, и молодежь двинулась с «мылька». Писарь-Филь забежал было вперед, раскинул длинные руки.

— Куда вы, парни-девки! Гуляйте здесь, здесь гуляйте! — Голос его умоляюще дрожал, но ребята прошли, пересмеиваясь и строя рожи.

Пропустив всех вперед, Эгрунь замкнула шествие.

Куш-Юр долго провожал ее взглядом, полным ненависти и злости.

— Увела,— виновато выдохнул Филь.

Куш-Юр был мрачен. «Кто увел? Контра! Поделом тебе, Роман Иванов! Не гологоловый ты, а пустоголовый. Партийную совесть потерял!.. Мало что красавица, все одно — чужачка!»

В подавленном настроении поплелся он с «мылька».

Утром в сельсовет Куш-Юр шел окраинной улицей, чтобы избежать лишних встреч. В селе, наверное, по всем углам уже судачат, как взяла над ним верх Эгрунь. Ладно, что многие мужики, парни и бабы на путине.

Он злился на себя, и не столько за вчерашнее, сколько за то, что не мог выбросить из головы этой Эгруни. Вот не хочет о ней думать, а перед глазами ее манящий стан. Прямо напасть какая!

Новых друзей заводить надо, а то не свихнуться бы, к юбке не прилипнуть... Были б Варов-Гриш, Сандра... Видеть бы ее — все же не так чувствовал бы одиночество.

Несколько дней мучался он.

Вылечила его Эгрунь же...

3

В Мужах принято перед петровым днем, до начала сенокоса, устраивать бабьи супрядки. Соседки сговаривались и со взрослыми дочерьми, иногда и с их подругами, делали для хозяйства кирпич. Работали по очереди на дворе у каждой хозяйки. Натаскают на дощатый настил глины, добавят песку, увлажнят водой и целый день месят глину голыми ногами, подобрав до колен подолы сарафанов. Ну и, разумеется, ведут свои нескончаемые разговоры.

В один из таких веселых, теплых дней Куш-Юр не спеша шел по селу. Вдруг слышит звонкий женский голос:

— А председатель наш все ходит один да один.

Куш-Юр приостановился: кто-то цепляется, не иначе.

— Тсс! Услышит.

— А что, имею право! Эгрунька, окрутила б ты его!

Кровь ударила Куш-Юру в лицо.

— Поди окрути, когда у него «женилки» нет,— ввернула Эгрунь.

По многоголосому бабьему визгу Куш-Юр догадался — супрядка не малая.

— А ты что, проверяла? — раздался чей-то голос и тут же умолк, словно захлебнулся от смеха.

«Вот нечистая сила!» — Куш-Юр был готов провалиться сквозь землю. Зачем остановился, простофиля! Теперь начнут насмехаться. Им только попадись на зубок.

— Проходил мимо, выронил с перепугу,— язвила Эгрунь, и бабы от удовольствия еще пуще завизжали.

Но чей-то сухой голос одернул насмешницу:

— Бесстыжая! Девка ведь ты! Он все ж таки начальник...

— Начальник, да не надо мной! Захочу — с ума сведу. Иссохнет по мне и сдохнет!

«Как бы не так! Ишь заноза!» — мысленно огрызнулся Куш-Юр.

Глава седьмая

ПЕРВЫЕ ЯГОДКИ

1

— Будь они трижды прокляты, эти поедники!

Ругались взрослые, ругались дети. Гаддя-Парасся не стеснялась на крепкие словечки, другие повторяли их вполголоса, про себя.

К сенокосу расплодилось комарья видимо-невидимо. Потеряли покой люди, собаки, скотина. Кровожадные насекомые носились тучами, пробивались в каждую щель, проникали под рубахи и сарафаны, под накомарники, как туго ни зашнуривали их на шее. Не было спасения от комарья и в избах. Сутками напролет чадили дымокурами — ставили посреди избы таз и жгли сырые ветки и траву. Едкий синий дым стоял, как в черной бане. Но звон насекомых не стихал. Когда становилось совсем невмоготу, кто-нибудь махалом из лебединых или гусиных крыльев выгонял поедников в окно или дверь. Становилось легче, но ненадолго: каким-то неведомым образом они снова появлялись в избе. Дети прятались в душных, задымленных балаганах. Не переставая хныкали, расчесывая себя до крови, а малыши ревели в голос, не находя себе места.

Родители сокрушались, что ничем не могут помочь детишкам.

— Вот напасть! Хуже морозов! Бей — не перебьешь. Самая пора ихней плодовитости. Одного прихлопнешь, а цельное решето новых народится!

Варов-Гриш, стараясь как-то отвлечь ребят, рассказал им слышанную в детстве байку.

...Самоедский богатырь Итте победил людоеда Пюнегуссе и решил сжечь гада, чтобы тот никогда больше не воскрес. Долго корчился людоед, рычал злобно и, уже испуская дух, прошипел: «Все одно буду мучить людей. Пепел мой поднимется сейчас в небо, и каждое лето ветер станет разносить его, и будут пылинки сосать кровь человека и всякой другой живности!» Вот и летает людоедское отродье, мучает всех...

Ребята байку запомнили и, когда становилось совсем невмоготу, принимались клясть людоеда Пюнегуссе. И этим немного отвлекались.

Нашествие насекомых оборачивалось большой бедой. Самая пора неводить и косить, а работалось через силу, золотое время уходило. Коровы сбавили удои, обилие зеленого корма шло не впрок.

Собаки исхудали. Они вырыли себе норы и сутками не вылезали из них, спасаясь там от неугомонных кровососов. И хозяева на горе себе ничего не могли поделать. Не могли помочь им.

Погибал и Белька, белый лохматый пес Гриша, его любимец. Не столько возле детей, сколько возле собаки проводил Гриш свободные минуты. Казалось, дни ее сочтены, не выдержит. Тут на глаза ему попался деготь. Не долго думая, Гриш густо вымазал Бельку от кончика хвоста до носа, только глаз не тронул. Белька попробовал было вылизать себя. Деготь оказался не только неприятного запаха, но и вкуса. Собака отчаянно металась. Каталась по земле и валялась в песке и мусоре. Скуля, вытянула лапы, видно, приготовилась умирать.

Мишка питал слабость к животным, и ему стало жаль Бельку.

— Вот никогда бы не подумал, что ты над собакой будешь изгаляться. Задохнется он у тебя. Кожа-то у него теперь не дышит.

Гриш сочувственно глядел на Бельку и не узнавал его: и жалкий и смешной. Но комарье от него отступилось — будет жить!

— Собаки больше через рот дышат, высунувши язык. Не знаешь, что ли? — объяснил он Караванщику.

И правда, Белька выжил, единственный из всех псов Вотся-Горта.

— Что ж ты, якуня-макуня, раньше не надоумил? — досадовал Гажа-Эль.

Варов-Гриш почувствовал неловкость — мол, о своем Бельке позаботился, а на чужих начхал. Разгорячился. Что он, сам не понимает, какой убыток — потерять собаку! На общий кошт придется новых покупать. Разор, а придется. Без собаки в тайгу не сунешься. Промысел упустят — и вовсе разор.

— Верное слово — не знал! — оправдывался он.— Неволя вынудила додуматься напоследок.

Женщины, слышавшие этот разговор, повернули его по-своему. Начала Елення:

— Сколько же их, комарья-то, оказывается тута!

Гаддя-Парасся вставила:

— Вот тебе и райское житье!

Гриш попытался шуткой утешить женщин:

— Ничего, бабоньки. В раю-то, поди, тоже не всегда сладко. А мы, чай, не без греха люди, да и на земле пока.

Сам того не желая, подлил масла в огонь. Женщины зацепились за его слова.

— Ох, истина, истина! В грехе мы! — заохала Сера-Марья.— Сколь уж колокольного звону не слышим. Забыли вовсе про церковь, беспоповцами стали!

С этого начали, а дошли и до земных нужд: хлеба не осталось, рыба да молоко, молоко да рыба, детишки совсем отощали.

— Съездить бы в Мужи, в божьем храме помолиться! — загорелась Марья.

Сандра ее поддержала.

— Тем временем комарье переведется, и поразживемся кое-чем хлебным. Поди, уж завезли муки-то. Про нас кто порадеет,— присоединилась Парасся.

Но сторону Гриша дружно взяли мужики. От комарья и вовсе сдурели бабы! Разгар промысла, сенокоса, а они — в храм. Этакого отродясь не бывало: золотое времечко тратить. Поп, чай, и сам страдует. Церковь — на замке. Да и хлебного вряд ли привезли в Мужи, еще не жали, не косили в России, а от старого... Сами слышали, что Куш-Юр пояснял — голодно на Большой Земле.

— И без поездки вашей придется помощников искать на неводьбу, пока с покосом не управитесь,— в раздумье проговорил Гриш.

Разом приутихли бабы. Да и мужики задумались. Нужда в помощниках была явная. Не справляются сами, рук на все не хватает. Если для одного брюха добывать, можно и без помощников. Так ведь еще мир-лавке долг возвращать. Мучки, сахару, соли, табачку и всякой всячины по горсточке взяли, а набралось. Ну, и другое, на всякое новое обзаведение: снасть, порох-дробь, соль, табак, винку, сарафаны-платки — без лишнего, самое необходимое беря в расчет,— надо припасти. Помощнику долю отвалить придется, это уж как водится, задарма никто стараться не станет.

Разговор об этом случался и прежде, да мужчины не приходили к согласию. Гажа-Эль и Мишка Караванщик противились, но и они чувствовали: придется отступить. Невмочь разрываться между ловом и стогометанием, а

бабам одним зародов не скласть. И без баб неводить несподручно.

В ближних сорах, затопленных пойменных низинах, где сейчас рыбачили, ловили ставными сетями. Каждый по отдельности, на облюбованном месте. Однако вода в сорах, куда рыба зашла для нагула и икрометания, пошла на убыль. На реку придется переходить, значит, и работника брать...

Хоть и выгоден лов в сорах, но если бы от одного Гриша зависело, не стал бы он ждать, когда вода вовсе убудет. На сорах этих раздор между мужиками пошел. Не мог Гриш с ними сладить.

Ловля рыбы ставными сетями требует умения и сноровки, особенно при большом ветре. То волны закрутят сеть, то забьют ячеи травой и всяким мусором. Где уж тут рыбу поймать! Выбор уловистого места, хитрость и смекалка в расстановке сетей — все от рыбака зависит. Оттого и улов неодинаковый: один за поездку добывает пуд или два, а другой — лишь на уху.

Больше всех привозил рыбы Гажа-Эль. Неплохо добывали Варов-Гриш и Мишка Караванщик. Не везло Сеньке Германцу. В первый раз, когда он добыл несколько рыбешек, пошутили над его незадачей. Он, по обыкновению, поморгал ресницами. В другой раз один Эль позабавился, остальные промолчали. На ночь Гриш уступил Сеньке свое уловистое место. Сам приехал с рыбой, Сенька — с пустыми руками. Мишка только головой недовольно помотал. Но несколько дней спустя он не выдержал, напрямик выложил:

— Так дело не годится! Поди, дрыхнет в калданке, а мы отдувайся! Шесть ртов — шутка в деле! Ничего себе, порядочек!

— Якуня-макуня! — почесал в затылке и Эль.

Сенька вдруг озлился, из себя вышел, никогда его таким не видели.

— Дрыхну — ты видел? Не меньше вашего умаялся! Не везет мне...

— Не везет... У тебя одно везение — на жратву,— не унимался Мишка, подбадриваемый смешком Гажа-Эля.

Наверное, Сенька хотел еще что-то сказать, но то ли пыл у него прошел, то ли почувствовал, что крыть нечем,— лишь беззвучно пошевелил губами и поплелся в избу.

Тут не стерпел Гриш. Поругать Сеньку надо, этого

он не отрицает. Без счастья и в лес по грибы не ходи, а умелый их и у моря сыщет. Пускай старается. Но и считать каждый кусок да глядеть за каждым шагом — не по дружбе. Коль сошлись в парму, так имейте сочувствие и уважение к товарищу.

На это Мишка ответил коротко:

— Счет дружбы не портит!

— Какой счет! — не соглашался Гриш.— Иной и портит, дружбу ломает.

Хотелось ему еще сказать: «Дележа хочешь по улову? Не выйдет!» — да удержался.

Мишка Караванщик и так, видно, догадался, замолчал, пахмурился, будто обидели его, и с того разговора стал ко всему безучастным: спросят — скажет, пошлют — сделает.

А вскоре вышла ссора между женщинами.

Они сгребали накошенное сено, Сера-Марья и похвастала:

— Мой рыбы наловил опять более всех, а Сенька — порожний.

Гаддя-Парасся и вспылила. Сама-то она Сеньку костила на чем свет стоит, но другим не позволяла худого слова сказать.

— Может, и моему повезет. Хвастать не станем! Не жадные! Я вон молока не жалею — каждый день от детей отрываю!

Намекала она на Сандру и Мишку, не имевших коровы.

Сандра не стерпела:

— А сено кошу задарма?

Могло бы дойти до потасовки, но мужики вовремя подоспели, развели жен.

Вскоре уловы у Мишки стали поменьше. Иной раз не больше Сеньки добывал. Могло такое из-за проклятых поедников случиться. Но чуял Гриш, не в комарах дело. Эль не сбавил, сам он сколько брал, столько берет. Рыбе комар не помеха. Да и видно было, приезжал Мишка даже посвежевший, как будто отоспавшийся.

Вот и хотелось Гришу поскорее перейти на реку. На сорах — в одиночку, на реке — ватагой, неводом. Сообща — дружней и согласней. Не терял он надежды восстановить в парме тот дух, какой был в пути и в первые дни после приезда на остров.

2

Комарья поуменьшилось, и жизнь в Вотся-Горте стала менее тягостной.

С вечера, когда солнышко еще стояло довольно высоко, мужики отправились, может, в последний раз на соры. Совсем соры обмелели, но рыба еще не вся ушла, хотелось ее подобрать дочиста.

А назавтра, утром, женщины, как обычно, собрались на покос. Еленя с Марьей уже вышли на крыльцо, когда услышали брань в соседней избе. Парасся крыла без стеснения, но и Сандра, всегда тихая и сдержанная, не оставалась в долгу. Видно, допекла ее Парасся.

— Что там у них опять? — поспешили раздосадованные соседки.

Раздор начался из-за простокваши. Парасся припасла туесок своим девчонкам на завтрак, поставила в сарай на холодок. Знал ли Мишка или полагал — на его и Сандры долю оставлено, но прихватил туесок простокваши с собой на рыбалку. Парассю и понесло. Сандра в душе не оправдывала мужа, только стерпеть соседкины попреки не смогла.

Примирить баб не удалось. Сандра забралась под свой полог и оттуда выкрикнула, что косить не пойдет.

Еленя с Марьей шли на покос удрученные. За ними семенила утихшая и немного напуганная Парасся.

— Собирались жить сообща, а грыземся,— вздохнула Еленя.

— То ли еще будет! Ох, не сладить нам никогда, вот вспомянешь меня,— не желая, чтобы ее услышала Парасся, беспокойно прошептала Марья Еленне на ухо.

Оставшись в избе, Сандра занялась стиркой. Потом отправилась на реку прополоскать белье. Солнце поднималось, день обещал быть добрым, и ей стало неловко: пора горячая, а она дома отсиживается. Урон парме наносит из-за обиды на ворчливую Парассю. Мишка, может, и не поругает, но Гришу да Элю в глаза глядеть стыдно будет.

«Прополощу, быстренько развешу и пойду на покос»,— решила Сандра.

Подоткнув за кушак подол сарафана, она вошла в воду и тут услышала всплёски: кто-то гребет. Оглянулась — приближается груженая калданка. На веслах — рослый, плечистый мужик с белым платком на голове

вместо накомарника. Сандра приложила ко лбу ладонь козырьком, чтобы получше разглядеть — кто в лодке: гость или проезжий? Гребет, будто не умеючи или сильно устал. «Вот славно, кабы гость! Вотся-Горт никто еще не навещал»,— подумала Сандра.

И вдруг сердце у нее екнуло: Куш-Юр!

— Батюшки! — Сандра в замешательстве не знала, что делать — принимать гостя или бежать к женщинам с неожиданной новостью. Она порадовалась, что осталась дома, но тут же пожалела: подумают — нарочно сцепилась с Парассей, чтобы без свидетелей встретить.

Куш-Юр, в гимнастерке, обветренный и посмуглевший, поравнявшись с Сандрой, перестал грести, сорвал с головы платок и помахал им.

— Привет пармщикам!

— Здравствуй! Здравствуй! — Сандра не спускала с него сияющих глаз.

— Пристать-то можно? А то мимо проеду,— улыбался Куш-Юр, радуясь, что именно ее первую увидел.

— Что ты, что ты! — забеспокоилась Сандра, шагнула вперед, готовая принять и подтащить лодку на берег.— Причаливай, милости просим! Вот гость так гость! — Она оглянулась, хотя и знала, что на берегу — ни одной души. И вдруг вспомнила, что подол у нее задран и в руках мужнина рубаха. Поспешно отступила назад, расправила сарафан, а с рубахой не знала, что делать, и в смущении отвела руку за спину.

Куш-Юр тем временем два раза гребнул, и лодка шурша въехала на песчаную полосу.

— Стоп! — Он вынул весла из уключин, бросил их в лодку и перемахнул через борт в воду.— Ну вот я и в Вотся-Горте! Здравствуй, Сашенька!

— Здравствуй! — Сандра вдруг перешла на шепот.

— А ты успела загореть, поправилась.— Куш-Юр откровенно любовался молодой женщиной.

— Так уж и поправилась... Скорее от комаров опухла. Вон их сколько тут.

— Да-а, просто напасть. Даже платок не спасает, как ни повяжи... А где остальные пармщики? Спят, поди, от комаров прячутся?

— Что ты, Роман... Иванович! Кто же летом долго спит? Солнце-то уже взошло. Одни ребята еще спят. Мужики с вечера на рыбалке. Бабы тоже недавно ушли на покос, а я вот...— она немного замялась,— задержалась

чуток, рубаху выстирать... Мишке.— Она твердо решила оставить Куш-Юра и бежать за женщинами: неладно ей одной его принимать.

— Значит, говоришь, вовсю трудитесь? — Куш-Юр огляделся.— Устроились вы вроде неплохо. Молодцы!

Обдумывая, как бы ей уйти, чтобы не обидеть гостя, Сандра слушала рассеянно и не сразу нашлась, что ответить. А он принял ее рассеянность за недовольство пармой, спросил прямо:

— Или не нравится в парме?

— Не знаю. Недавно еще живем...

— Так что с того?

— Всяко...

— Не дружно?

Как ни мало было сказано, а Сандре показалось: она наболтала лишнее. Гостю не следует знать, что у хозяев,— и она поспешно стала поправляться:

— Почему же! Живем хорошо. Еды хватает. Хлеб вот только вышел...

— Если только это, так я вам привез муки и соли... Маловато, правда...— Куш-Юр повернулся к лодке, сдернул дождевик, под которым лежали полмешка муки и полкуля соли.

— Правда?! — обрадовалась Сандра и шагнула к калданке посмотреть на бесценный подарок.

Куш-Юр оказался от нее совсем близко. Она чуть подалась назад, но он потянулся к ней. Стараясь не глядеть на него, Сандра сказала негромко первое, что пришло на ум.

— И как это ты догадался захватить с собой? — И дальше, чтобы молчанием не выдать свое волнение: — Сюда-то как попал? Сам, что ли, так и ехал из Мужей? Нас-то как нашел?

— Нашел, как видишь! Тебя где хочешь найду.— Голос его чуть дрогнул. Безотчетно поддавшись порыву, он обнял Сандру, нагнулся к ее губам.

У Сандры слегка закружилась голова, всем своим существом потянулась она к нему, но вдруг что-то словно ударило ее: грех-то какой! Бог накажет! И люди увидят — засудачат! В испуге она с силой оттолкнула Романа, он пошатнулся и шлепнулся в воду.

— Ой, как же это я? — вырвалось у Сандры. Она кинулась к нему, протянула руку.

Куш-Юр ухватился за руку Сандры, оперся о борт

калданки, вскочил, вышел на берег. Вода ручьями стекала с него.

— Вот это да... Выкупала гостя...— отряхиваясь, пошутил Куш-Юр, но чувствовалось — поневоле шутит, неловко ему.

— Прости, Роман Иванович,— дрожащим голосом повинилась Сандра.

— Одна тебе возможность поправиться: поцелуй меня напоследок. Больше нам наедине не побыть.— Он старался казаться веселым. Но в глазах застыли мольба и боль.

— Не трави мое сердце,— жалобно взмолилась Сандра.— Перед богом Мишке слово давала, не возьму греха на душу, не порушу божьего закону.

Она отвернулась, зашмыгала носом.

— Да что ты все — бог да бог! Да какой он тебе бог, если неверную дорогу показал!

— Так суждено, значит...— смиренно произнесла Сандра и, не желая больше продолжать этот разговор, улыбнулась: — Худо тебе, поди, в мокром? Дать чего-нибудь Мишкиного переодеться?..

— Обсохну...

Сандра торопливо собрала белье и сказала:

— Пойду к бабам! А ты разоблакайся, скорее обсохнешь. Не то увидят мокрого, начнут пытать — где да почему...

— Ты о себе подумай, сарафан мокрющий, сама-то что скажешь?

Она вдруг озорно тряхнула головой:

— А вот скажу, как на самом деле было!

Обоим стало весело. Ей уже не хотелось уходить.

Он стал разуваться, чтобы просушить портянки, но тут же решил и обе рубахи снять. Укрылся от комаров дождевиком.

— Давай сполосну портянки, все посвежее будут. Да и гимнастерку — вся в тине,— предложила Сандра.

Стирая его вещички, она подумала, как это приятно — стирать для него, куда приятнее, чем Мишкино...

«Ой, что я, прости господи!» — Сандра украдкой перекрестилась.

От Куш-Юра не ускользнули ее движения.

— Чего ты? — спросил он.

Смутившись, Сандра невпопад спросила:

— Еще не окрутился?

Он понял: уходит от ответа, но сам не стал уклоняться:

— С тобой бы — хоть сейчас...

— В церкви? — Ее голос напряженно зазвенел.— Перед налоем?! — Глаза испытующе прищурились.

Внезапная мысль поразила Куш-Юра — вот чего он вовсе не брал в расчет!

Сама того не желая, Сандра открыла причину неожиданного ухода к Мишке.

— Не оттого ли... Постой!., Саша... Сашенька... Да неужто из-за этого? — с трудом вымолвил он.

Она опустила голову, ссутулилась, поняв, что выдала себя.

— Не тревожься зря, Роман Иванович. Чего не суждено, тому не бывать...

Голова ее шла кругом. Сердце тревожно билось. Но она знала, что ничего уже не изменить. Просто бес ее искушает. Батюшка на причастии говорил. Тело ее нужно Роману. Грех-то какой. А душой он с ней никогда не соединится, потому что не смирит гордыни, не станет на колени перед ликом святых, не поклонится всевышнему. Она доказала богу, что была и будет послушной рабой. Отчего же тоскливо на сердце? Она послушна воле господа. Отчего же, как Роман появился, ее неудержимо тянет к нему.

Размышляя, она не заметила, что по второму разу прополаскивает Романово бельишко.

Куш-Юр задумчиво глядел на нее. Он чувствовал, кто-то стоит между ними. Кто? Мишка? Но и до Мишки что-то мешало. Что? Бог? Не стал бы он, Роман, ломать комедию с долгогривым перед налоем. А для Сандры — это все. Зыряне преданы церкви. Как все новообращенные. Что же он раньше об этом не подумал! Раньше, раньше надо было религиозные подпорки вышибать. Эх, Саша-Сашенька, дитя доверчивое...

На какое-то мгновение в мыслях всплыл образ Эгруни. Он усмехнулся: и эта такая же... Хотя Эгрунь, если выгоду почует, продаст и долгогривого. Сандра честная, оттого и истовее. И жалко ее, и больно... Эх, Сашенька...

Он тяжело вздохнул.

Молчание их затянулось. Ему казалось, что Сандра на него обиделась.

— Подруги, поди, тебя ждут? Задержалась ты из-за меня,— напомнил он мягко.

Сандра вздрогнула, взглянула на солнце:

— Батюшки! Время-то завтракать! И ты, чай, голоден. Я мигом обернусь — сбегаю к бабам, порадую гостем.

Она выкрутила белье и только стала развешивать его на ветвях прибрежной березы, из-за хлева вышла Парасся с косой-горбушей на плече.

— Несет ее черт вперед времени, прости господи! — проворчала Сандра.

Не желая с ней встречаться, она быстренько развесила белье, схватила мужнины рубашки и заторопилась к дому.

Увидев приезжего, Парасся саженными шагами благо ей позволяли и длинные ноги, и просторный зырянский сарафан, устремилась к берегу.

— Драстуй! Драстуй! — звонко выкрикнула она на ходу.— Гость ждет, а мы косим-гребем, гребем-косим, знать не знаем. Сандра словно чуяла, на косьбу не пошла. Сердце — вещун у ней! — В голосе Парасси чувствовались притворные радость и доброжелательство, но глаза подозрительно ощупывали уходящую соседку: какая-то Сандра невеселая, и сарафан вроде мокрый. И Куш-Юр нерадостный. Знать, что-то промежду ними вышло, может, миловались и она, Парасся, им помешала?

Перехватив ее взгляд, Куш-Юр решил соврать:

— Только что пристал. Да вот беда, неладно из лодки выпрыгнул, весь вымок.

— Ой, беда-беда, утопнуть ведь мог! — всплеснула руками Парасся.

— Спасибо, Сандра поблизости стирала... Вот и мое развесила посушить. А ты, вижу, бойкая стала... Избавилась от цинги? Не болеешь?

— Маленько поправилась. Здесь благода-атно!

Подошли запыхавшиеся Елення и Марья. Начались взаимные приветствия, расспросы — как в Мужах и что в Вотся-Горте.

— Сандры-то не видать. Не знает? — спохватилась Елення.

— Знает! Только что в избу ушла,— поспешила сообщить Парасся. Многозначительно улыбаясь, она рассказала по-зырянски со всеми известными ей подробностями встречу Куш-Юра с Чурка-Сандрой. Она ничего не присочинила, только голосом придала этим подробностям свою окраску.

Слушая ее, женщины по привычке ойкали, и было не

понять — беде Куш-Юра они сочувствуют или осуждают, что Сандра оставалась с ним с глазу на глаз.

Куш-Юр решил прервать стрекотню Парасси и объявил про муку и соль. Что тут поднялось!

Женщины радостно заахали, захлопали в ладоши, засмеялись и не стали ждать, как того требует приличие, когда гость сам выложит подарки, побежали к калданке. Они полагали увидеть полную лодку, но скромный размер посылки мир-лавки разочаровал их. Да что было делать, гость-то не виноват. Как-никак — поддержка. И сами истосковались по хлебному, а детишки и подавно. Спасибо, не позабыли о них в Мужах — как селянам выдали, так и им.

Парасся забралась в лодку, бесцеремонно осмотрела завязки на мешке, брезент, на котором стояли мука и соль,— нет ли следов, не отсыпано ли: вполне мог Куш-Юр отсыпать зазнобе своей.

Куш-Юр не понял, чего она там шарит, подумал: ей не терпится скорей получить свою долю.

— Сейчас выгружу.— Он полез в калданку.

— Сами, сами! И так небось умаялся на веслах,— запротестовали женщины.

— Нет, так не водится! Подарок в дом несут.— Куш-Юр весело взвалил на плечо мешок с мукой и направился к избам.— Куда нести? Может, в сарай?

— В сарай, в сарай,— поддержала Елення и добавила: — Одеть бы тебя во что-то, председатель. А то неудобно, чай, голому-то в плаще?

— Спасибо! Если найдется что — не откажусь. Комарья у вас — тьма.

— Это что! Это уже благодать! — отозвались женщины.

Войдя в сарай, Куш-Юр поставил мешок.

— Пользуйтесь!

— Подождем мужиков, они хозяева,— уклонилась Елення.

— В парме все хозяева,— заметил Куш-Юр, удивляясь осторожности женщин.— Но подождать так подождать.

3

Сенька Германец подъезжал к Вотся-Горту, весело распевая песню про неудачливого рыбака:

Федя-Вань, дуралей,
Ездил на рыбалку.

Пока спал под кустом,
Потерял калданку...

Против обыкновения, он как-то даже не шепелявил. И греб, греб без устали — скорее бы домой. Повезло ему сегодня, как никогда: пуда три, а то и больше, пожалуй, добыл — сырков и пыжьянов, даже несколько муксунов. Самому не верилось. Значит, и у Сеньки есть счастье. Теперь Мишка не скажет, что он, Сенька, дрыхнет, как дуралей Федя-Вань! Э-э, прикусит язык. Сам выйдет дуралеем! Совсем мало поспал сегодня Сенька. Но никто не видел, кроме халеев. Всю ночь галдели они над сетями, расклевали-погубили часть улова. Не то лодка до верху была бы рыбой наполнена. Ну, и того, что есть, хватит. Мишке и такое давно не снилось. Рыба от него отвернулась. К Сеньке пошла. Уж сегодня-то ему все позавидуют!

Вот он и пел во все горло, гребя в такт песне. И казался самому себе на три головы выше, на аршин в плечах шире.

Как ни старался Сенька песней дать знать, что возвращается с промысла с удачей, никто почему-то не вышел встречать его, порадоваться богатому улову. Огорчился Сенька, прервал песню, тихо причалил калданку.

Кто-то опередил его, чья-то лодка стояла уже на берегу. А ну как и у того удача?.. Он заглянул в чужую калданку — пустая, и не бывало в ней рыбы, чешуек не видать. Оглядел лодку — грузноватая для рыбалки и не здешняя: уключины железные, на русский лад, весла не овальные, северянские, а четырехугольные в лопастях. Приехал кто-то...

И тут его осенило: это даже лучше! Посторонний повидает-подивится, как он, Сенька, всех обставил, сколько рыбы добыл за одну ночь. И не выдержал, закричал на весь Вотся-Горт:

— Что же вы! Ослепли-оглохли! Встречайте рыбака!

Куш-Юр в заплатанных штанах Гажа-Эля и в его же рубахе как раз выходил из избы. Увидел рыбака на берегу, пошел ему навстречу.

Сенька онемел от неожиданности.

Куш-Юр подхватил его под мышки, легко приподнял и поставил на землю.

— Здравствуй, Семен... как тебя по батюшке...

— Мартынович... Привет! Сам председатель! — Сенька такого не ожидал. И вправду, счастье к счастью идет:

председатель увидит — все Мужи узнают,— и поспешил показать свой улов: — А у меня во сколько рыбы!

— О-о! — похвалил Куш-Юр.

— Как всегда! — расхвастался Сенька.

— Молодцом! Только травой надо рыбу прикрывать от солнца...

— Если что испортится, то маленько сверху. Зато я первый!

Куш-Юр кивнул на реку:

— Вон еще кто-то... Кажется, Михаил.

— Ага, Караванщик. Опять калданка у него легкая. С тютельку рыбы.

— Он что — мало добывает? — удивился Куш-Юр.

— Э-э! — махнул рукой Сенька. И вдруг испугался своего бахвальства: еще, пожалуй, уличат его... И зафукал на комаров.

Подъехал Мишка, приткнул калданку к берегу. Его синие глаза с припухшими веками от удивления широко раскрылись.

Куш-Юр и Мишка сдержанно обменялись приветствиями.

— Какими путями, начальник?

— Водными,— блеснул зубами Куш-Юр.— Обещал навестить вас, вот и заглянул.

— Так, так... Гость, значит.— Мишка не выпускал весел и не спешил выходить из лодки. Он перевел взгляд на лодку Сеньки, увидел его улов.— Ого! Сам, без подмоги? Хоть раз с рыбой. Знал, когда подгадать...

Это была плохо скрытая зависть. Сеньку такая похвала не устраивала, потому что он рисовал ее себе совсем не такой, откровенной, шумной, с восклицаниями. Чернит Мишка его перед председателем. Ну погоди!

— А ты что, тоже нарочно пустым подгадал? — с неожиданной смелостью ляпнул Сенька Германец.

По тому, как рассвирепел Мишка, Куш-Юр догадался, что это не первая между ними стычка. В душе он порадовался тому, как Сенька отбил Мишкин выпад, но взять сейчас Сенькину сторону, усугубить раздор было неразумно, и он сказал примиряюще:

— А вот Михаил укрыл рыбу травой...

— Я ж не Сенька! Пока Гриш да Эль подъедут, от его улова одна вонь останется.

— Ага! Хотелось тебе! А они вон едут,— показал Сенька.

Лодки Варов-Гриша и Гажа-Эля плыли рядом, и рыбаки о чем-то беседовали. Вдруг они налегли на весла — видимо, увидели незнакомого, а может, узнали Куш-Юра. Скорее всего узнали, потому что еще издали заорали:

— Мать родная! Председателя черт принес! Здорово, Роман свет Иванович!

— Здорово, якуня-макуня! Винки-то захватил?

— Целую бочку, еле допер! Поторапливай, а то без тебя выдуем...— отозвался, смеясь, Куш-Юр.

Гриш выпрыгнул из лодки и, не подтащив ее на берег, кинулся в объятия Куш-Юра.

— Сейчас я тебя...

— А может быть, я тебя...— подхватил его Куш-Юр.

И они стали бороться, пыхтя и крякая, словно расшалившиеся мальчишки. Изрядно помяв друг друга, протянули руки, потрясли ими в крепком, радостном приветствии, чинно поздоровались.

Дав им нарадоваться, протянул руку председателю Эль да так сжал его ладонь, что тот охнул от боли.

— Ага! Будешь знать, как без винки ездить,— загоготал Гажа-Эль.— Вот схвачу и перекину через протоку. Или выкупаю.

— Выкупаться я успел,— смеялся Куш-Юр.— Во, в чужой одежде.

— Якуня-макуня! Так ты ж в моей шкуре! Точно. То-то я думаю, вроде родные заплатки вижу. Ограбил, выходит, позарился на мое барахло!

Дружный, заразительный смех мужчин привлек на берег всех пармщиков — одна Сандра не вышла. Куш-Юру пришлось еще раз рассказать про свое падение из лодки.

— Правда, правда! — поддакнула Парасся.— Мы-то косили, а Сандра гостя встречала. Простирнула и развесила на березе его бельишко...

Мишка помрачнел. Оглянулся. Похоже, только сейчас хватился жены.

— Хоронится, паскудина ленивая! Людям срамно в глаза поглядеть,— зло пробурчал он и зашагал к избе.

Остановил его спокойный, деловой оклик Гриша:

— Куда, Миш? Рыбу выгружать! Гость — гостем, дело — делом.

Мишка неохотно повернул к лодке.

Та же Парасся, которая минуту назад не без умысла

омрачила настроение, теперь легко подняла его непосредственным, радостным восклицанием:

— Сеньке-то, Сеньке-то моему как повезло! Даже муксуны! Вот уж поедим нярхула.

Она выхватила из лодки двух крупных муксунов, подняла их за жабры. Сенька стал рядом с женой, улыбнулся во весь рот, почувствовав себя героем.

На похвалы не скупились все, особенно Гриш. Гриша радовала всякая, даже самая малая Сенькина удача. Ему хотелось, чтобы Сенька Германец поверил в свои силы, перестал считать себя неудачником.

И только Мишка не поддерживал общего восторга.

— А растаскивать рыбу не след,— сердито заметил он и пнул ни в чем не повинного Бельку, который лежал под ногами.

Собака вскочила, обиженно заскулила и заластилась к Еленне, ища у нее защиты: Белька был сыт и на рыбу не зарился.

Варов-Гриш подмигнул Куш-Юру — мол, все потом объясню. И, словно не замечая Мишкиной грубости сказал:

— Ради гостя, да еще такого, не поскупимся на угощение. Давайте, женщины, варите-жарьте еду, а мы рыбой займемся.

— Блинов али оладьев каких-нито испеките, якунямакуня,— попросил Эль.

— Каких тебе блинов, оладьев! — накинулась Марья.— Из чего?

— Председатель привез. Привез ведь?

— То детишкам! — категорически заявила Марья.

— Это по какому постановлению? — поднял голос Мишка.

— А мы, детные, уговорились.

Мишка присвистнул, помрачнел.

Тогда вмешался Куш-Юр.

— Что привез вам из мир-лавки, то на всех: и на взрослых и на детишек. Конечно, как порешите...

— Ну нет! Мне положено — отдай, а свое — хошь, детишкам скорми.

— Тогда и рыбу по едокам,— взъерепенился Сенька.— Я вон сколько добыл, а отдаю в общий засол.

Мишка смерил его презрительным взглядом. Сенька сжал кулачки, словно хотел схватиться с Мишкой. Караванщик подался вперед. Ему нужна была какая-то разрядка накопившейся злости.

— Тихо! — призвал к порядку Гриш.— Постыдились бы председателя.

— Ну, якуня-макуня! — покачал головой Гажа-Эль.

Не скрыл своего осуждения и Куш-Юр.

— Первые ягодки это,— горько усмехнулся Гажа-Эль и принялся разгружать калданку.

— Не я начал,— прошипел Мишка.— Ишь, захотел рыбу по едокам. Горби спину на него! Один раз привез больше других-то. Я так думаю, председатель: кто сколько добыл, столько каждый и засаливай. Тут уж без дураков. Давай скажи свое слово, чтоб не было между нас больше раздору.

Гриш предупреждающим движением руки остановил Куш-Юра — пусть повременит, послушает и других, а тогда уж судит — и первым высказал свое мнение:

— Не выйдет так, Миш. Снасти у нас в складчину, собрали из кусков, латали вместе. И улов общий. На то парма.

— Этак-то мне нету резону. Я себя завсегда прокормлю!

Гриш был мирно настроен, и ему очень не хотелось заводить ссору, особенно сегодня, при Куш-Юре, но оставить Мишкины слова без ответа он не мог. Подумавши или сгоряча Мишка бухнул — все одно: под парму подрубается.

— Вон что ты запел-засвистел! Как маленько про харч не стало заботки да припасик на складе завелся — так сам с усам. А забыл, с чего в парму сошлись?

— Верно! Верно! — закивали головами и мужчины и бабы.

— Теперь и я скажу,— выждав немного начал Куш-Юр.— Резон тебе тот, Михаил, что порознь вы — голытьба, а вместе — сила. Один другого подопрет, и вместе продержитесь в эту трудную пору. Давно ли вы в парме?

— Да всего две луны,— подсказал Эль.

— Ну вот, а не узнать вас — раздобрели.

— Даже при комарах... Не греши, Миш, жить можно! — подытожил Сенька.

Но Мишка был непримирим.

— Тебе-то чего не жить? Только что не пьян, а сыт, и нос в табаке!

— Зачем в табаке — я не нюхаю,— хихикнул Сенька.

Мишка махнул рукой и пошел к лодке выгружать рыбу.

4

Пока мужчины возились с рыбой — потрошили да солили, женщины успели подоить коров, накормить детей и приготовить обед. Солнце уже грело вовсю, и комаров стало меньше. Обедать расположились у костра. Стол был обильным. Уха, сваренная в большом котле, нярхул из нескольких муксунов, рыбья варка, малосольная и сушеная рыба, отварная солонина из утятины, сохраненная с весны, молоко, простокваша и даже сметана. Словом, все, что имелось, выставили перед гостем. Только хлебного было совсем немного — по сухарику на рот. Из привезенной Куш-Юром муки женщины ничего не состряпали.

Куш-Юр развязал свою дорожную котомку и достал из нее четверть буханки ржаного хлеба.

— Это от меня на общий стол!

— Что ты, что ты! Ты у нас в гостях,— зашумели хозяева.

Куш-Юр разрезал хлеб на тонкие ровные ломтики и положил в самый центр стола.

— Ты бы лучше, председатель, сулею выставил, якуня-макуня.— И Гажа-Эль поскреб за ухом. Его слова встретили веселым одобрением.

— Признаться, и я соскучился,— впервые улыбнулся Мишка Караванщик.

— И я! — Сенька даже сам поразился своей смелости.

Парасся было зашикала, но рядом сидевший Эль одобрительно похлопал Сеньку по колену:

— Рыбы наловил — мужиком стал.

— А я и так мужик: трех девок и мальчишку состряпал.

— Ну, то еще как знать, может, помощники были.— Эль игриво посмотрел на Парассю, которая, казалось, впервые в жизни не знала, как ей быть,— принять сказанное за шутку или отлаяться.

— Что мелешь! — замахала на мужа руками Марья.— Не выпимши, а башка как порожняя сулея.

— Разве, Манюня, не знаешь? Когда я выпимши, башка моя — полная сулея.

— А вот проверим.— Варов-Гриш вытащил из-под рубахи свою заветную флягу и потряс ею.— Попируем, мать родная! Сам председатель давал!

Тут застолье и вовсе повеселело.

Обедали долго, шумно. Спирт развязал языки. Вспомнили родные Мужи, и Куш-Юр не успевал отвечать на вопросы. Но много он не знал и теперь жалел, что не сообразил обойти родственников пармщиков и привезти весточки. Но ему прощали, наперебой давали поручения, кого навестить в селе и как обсказать про жизнь в Вотся-Горте.

Пока разговор шел о приветах да родне — все было чинно и ладно. Но потом пошли взаимные попреки — то в лености, то в жадности, то в зависти. Вспомнили и такое, что в трезвых головах минуты не держалось,— всякую мелочь. Мишка после первого стаканчика опять нахмурился и бросал косые взгляды то на Сандру, то на гостя, сидевших друг против друга, а под конец и вовсе прогнал Сандру в избу, придравшись к какому-то ее слову.

Куш-Юр, тоже оттого, что был под хмельком, не выдержал, заступился за Сандру.

— Зачем же так-то, Михаил! Она ж молчит, а скажет, так дельно.

— Для кого дельно, а для кого нет!

Гриш уже не рад был, что распочал фляжку. Несколько раз он пытался урезонить товарищей, но куда там! Тогда он надумал развеселить их игрой на тальянке, своими песнями да скороговорками увлечь. Никакого веселья на этот раз не получилось, и Гриш горестно уронил голову на тальянку:

— Так-то вот, Роман Иванович, дорогой-бесценный...

Куш-Юр тяжело вздохнул, но подбодрил друга:

— Не горюй, Гриш. Обычные житейские стычки... Пора, наверное, отдыхать? Вы с промысла, с покоса. Да и я с дороги, не прочь бы прикорнуть. Спасибо за угощение!

— Пожалуйста, не обессудь, что скудно,— по обычаю, с поклонами ответили хозяева. И стали подниматься.

Куш-Юр отказался отдыхать в избе, сказал, что предпочитает подремать в лодке, на воде.

— Ну, и я с тобой! — обрадовался Гриш: ему хотелось побыть с Куш-Юром наедине, излить душу, в избе этого не сделаешь — соседи все слышат.

Куш-Юр понял Гриша и не воспротивился, хотя его в самом деле тянуло поспать.

Они настлали в лодки сена, выехали на реку, воткнули в дно длинные колья, привязали калданки рядышком и улеглись, укрывшись дождевиками.

Легкий ветерок приятно холодил, хмель на свежем речном воздухе понемногу выветривался, мысли прояснялись.

Они лежали молча, прислушивались к крику чаек. Над ними умиротворенно сияло голубое небо.

— Это ты ладно придумал,— выразил свое удовольствие Гриш.— Чудно ведь как: комар от воды плодится, а на воде не держится. Гляди — нет их тута!

— Ветреннее здесь, прохладнее.

Гришу хотелось поговорить, и он продолжал:

— А я так думаю — ему тут нету никакого пропитания: птицу не догонишь, рыбу не ухватишь. А на земле — всякая живность. Кто-нибудь да поймается.

Снова помолчали.

— Хорошо, что ты приехал. В самый раз,— сказал Гриш в раздумье.— Так-то оно все бы ничего, да с людьми трудно. Хочешь как лучше, а который поперек встает.

«Мишка Караванщик? — хотел спросить Куш-Юр, но воздержался.— Кто же другой?»

— Хитрая тварь... Сам крошка, а, знать, с умом.

— Ты про кого? — удивился Куш-Юр.

— Про комара-поедника...

— Хочешь сказать — человек вон какой большой, а без ума?

— Да нет... А впрочем — да! Ты ему добра желаешь, а он нос воротит, не в ту сторону идет, куда надо...

Куш-Юр долго молчал. И Гриш больше не заводил разговора. Куш-Юр понимал: от него ждут совета. И он выложил свои раздумья:

— Считали, царя свалили, буржуев вымели и жизнь покатит, ну не как на санном полозе, но вроде того. Один трудовой народ, друг и брат, все сообща — и пойдем. Где тяжко, там приналяжем, вытянем — и дальше. А получается не так. Вон как к вам ехал, мирил двух баб. Из-за покосов раздор между ними. У одной мало угодий, а у другой — излишек, не выкашивает, без того сена вдоволь. Да и косить некому. У которой нехватка, просит, мол, дай выкошу. Не дает. «Наш этот покос. Наш!.. Исстари наш! Не отдадим никому!» И косой размахивает, устрашает — не подходи! Говорю ей добром: «Так ведь у соседки сена не хватает...» — «А нам какое дело, что ей не хватает? Осока наша собственная! Хотим — косим, хотим — нет!» Ну, я ее прижал, приказал — уступить ту осоку...

— Во-во, сквернота наша! Себе, но не людям, а то не

себе, так и не людям! Как сходились — уговаривались: общим котлом жить будем. Так нет же... А если всяк себе, так, знать, опять по-старому?

— Заезжал к Озыр-Митьке. Шумит всем, что тоже парму сбил. Хитер! При мне улов делили. Кому пай, кому полпая. Один пай, гляжу, лишний. «Кому?» — спрашиваю. «Озырь-Митьке».— «Как так?» — «А так: невод-снасти его, лодки — тоже...» Не парма, а батрачество. Ладно, доберемся до него...

— Видишь! Озыр-Митька! От него чего ждать? А Мишка Караванщик? Ни кола, ни двора! А туда же метит. Может, и выше потянется. Кабы со всеми равно хотел жить, чего бы ему ершиться?

«А наверное, так и есть!» — подумал Куш-Юр. И вдруг вспомнил Мишкину грубость за обедом, Сандрину приниженность и молчаливость и проникся к ней жалостью. Еще до сегодняшнего утра у него теплилась надежда, что Сандра одумается... Но между ними, оказывается, стена, которую не ему, а ей надо перемахнуть. Хватит ли у нее сил? Разволновавшись, он заворочался, словно ему стало неловко лежать, лодка закачалась. Куш-Юр подумал, что не будет ему жизни, пока Сандра не с ним, а с Мишкой.

Гриш догадался, о чем думает Куш-Юр, вспомнил Мишкину грубость за обедом и, жалея Сандру и сочувствуя другу, первый раз повинился, что не помешал свадьбе.

— Не в том дело! — с огорчением выдохнул Куш-Юр.

— В ком же? — не понял Гриш.

— В боге. Сама призналась. Сегодня. Меня любит — это точно знаю. Язык отруби, если придумываю. А пошла за нелюбимого. Отчего? Оттого, что под венец я не стану. Без попа — не в законе. А с нелюбимым — в законе. Вот какая петрушка! Из-за чего жизнь поломала!

— Все ж таки бог...

— И ты... За новую жизнь, а с богом!

— Как же без бога-то? Без бога непривычно...

— Тебе без бога непривычно, Мишке — без своего хозяйства, той бабе без осоки своей. Так оно и идет...

— Может, мы чего не так делаем? — вполголоса спросил Гриш.

Куш-Юра поразил не сам вопрос, а удивительное совпадение мыслей его и Варов-Гриша. И он сейчас подумал, чего все-таки артачатся и Мишка, и Эль, и Сенька, каждый по-своему, против взаимовыручки? Ведь всякая пар-

ма на взаимовыручке строится. Гришу он ответил негромко:

— Хорошее вы дело делаете. Такой пармы, как ваша, на всем Севере не было. Поновей она у вас, почеловечней. И то, выходит, не по нутру кой-кому. Привычка старая, себялюбие чертово сидит в каждом. Не вышибешь сразу заразу эту. Тут надо быть терпеливым... А ты поспи-ка давай, ночь ведь глаз не смыкал.

— Завтра отосплюсь, когда уедешь. Мне разговор с тобой дороже сна-отдыха.

— Ну уж ты через край...

— Верное слово.

— Благословил я тебя на выселку,— верно, не рад?

— Ты что?! — Гриш приподнялся, перегнулся в калданку Куш-Юра, проговорил возбужденно: — Да я тутошнюю жизнь ни на какую другую не променяю! Один тут с Еленней и ребятами я во как жил бы! — Он энергично приложил руку к горлу.— Во как сыт был бы! А интереса такого, как в парме, не имел бы. Это уж я точно знаю! Слушай, тут ведь такое хозяйство можно завести! Место благодатное — сам видишь! В раю не сыщешь. Право слово! Всего вдоволь. Людей вот маловато. Разов бы в пять больше была б парма — э-э-э, как бы тут зажили мы — на всей земле-матушке лучше не сыскалось бы! Руки-ладони аж чешутся. И то сделал бы, и другое. Здорово интересно все представить. Не думалось, что так занятно это. Вот только людей поболее бы.

«Хваткий становится»,— с гордостью слушал его Куш-Юр и, когда Гриш замолк, сказал осторожно, будто предупреждая:

— Этих бы не разогнать.

Гриш сразу потух, стал озабоченным.

— Думаешь?!

— Если крутовато брать...

— А как послаблять? Добровольно ведь пошли в парму!

— Парма парме рознь...

— Без общего котла и общей засолки? Или еще как? — в голосе Гриша слышалось недовольство, брови его нахмурились.

Куш-Юра это не смутило.

— Я не к тому... Понимать надо хоть того же Мишку. Трудится-то наравне, а приходится на его долю меньше.

— Делить улов по паю на свата-брата можно. Вроде никому не обидно. Мишка первый ухватится. Но как по-

раскинешь — несправедливо! У того же Мишки лишек заведется, завидки пойдут, опять спор-раздор. Вот ведь что!

— Да-а-а... А должно все быть в согласии.

— В чем и дело!

— Может, зря голову ломаем? Может, испытаете еще? С умом. Без спешки. Что не так — согласуем.

— Вот это по мне! — обрадовался Гриш.

Куш-Юр утомился, не прочь был чуток поспать. Вечером ему в путь, ночь добираться до условного места, где подберет его катер. Но Гришу не хотелось оставлять разговора.

— Ну как ты там — все один-одинешенек?

— Один. Работы много.

Куш-Юру поворот на эту тему был не по душе, но Гриш будто и не замечал:

— Работа работой, а себя тоже нечего томить. Надо и душу отвести.

— А я и отвожу, когда приходится.— Куш-Юр рассказал, как ходил на «мыльк» и как Эгрунь увела от него молодежь.

Гриша эта история не посмешила. Помолчав, он сказал строго:

— Эгрунь — девка приметная. Смотри не попадись. Стреножит...

Куш-Юр подивился проницательности Гриша. А тот продолжал:

— Мужиковское дело... Не устоишь и захмелеешь. Да похмелка горькая выйдет.

— Ты напрасно, право же! — улыбнулся Куш-Юр.

— Не серчай, по дружбе говорю... Да, Сандра...— И, увидев, как помрачнело лицо Куш-Юра, осекся: — Прости, не буду...

Желая загладить свою бестактность, Варов-Гриш продолжал задавать вопросы. Но Куш-Юр отвечал неохотно. Разбуранил его душу Гриш. Сердце снова заныло: не на что ему надеяться — Сандре не быть с ним... Куш-Юру захотелось на берег, может, удастся еще перемолвиться с Сандрой. И он обрадовался, когда до них донесся голос Гажа-Эля:

— Долго дрыхнуть будете, якуня-макуня? Клюнули, как воробьи, спите, как медведи. Душа горит! Тушить надо!

Гриш поморщился:

— Пойдет липнуть...

Ему не хотелось возвращаться, но Куш-Юр настоял.

— Мне ведь скоро отъезжать. Может, еще чего сказать пожелают или спросить.

5

Вечером за ужином у костра Куш-Юр, уже переодетый во все свое, высохшее, поделился впечатлениями о Вотся-Горте, о житье-бытье пармщиков, постыдил их за распри, за скаредность и мелочность.

— Направится дело. Помаленьку сдружимся,— за всех заверил Гриш.

— Как с добычей быть — про то надо столковаться нам раз и насовсем. И — шабаш! — напомнил Мишка.

— Во-во, с этим у нас разнобой, якуня-макуня.

Куш-Юр переглянулся с Гришем, мол, придется поговорить.

— Давайте сообща придумаем. Одна голова — котелок, девять — котелище.

— Откуль девять — пять всего,— поправил его Мишка.

— Свою не считаешь, а еще чьи? — поддел Куш-Юр.

— Почему свою: пятеро нас мужиков,— отбился Мишка.— Голова — что с усами, а у баб ни бороды, ни усов.

— Теперь равноправие. Женщин не обижай! — с удовольствием влепил ему Куш-Юр, придавая своим словам и второй смысл.

Женщины отнеслись к его словам с сомнением. А Парасся даже прыснула в кулак: тоже сказал, неужто мужики, как и бабы, рожать станут? В разговор женщины так и не вступили: сидели, слушали. Зато мужчины спорили до хрипоты. Каждый отстаивал свое: Гажа-Эль — равную дележку между теми, кто промышлял, если не участвовал, тому ничего не давать; Сенька — дележку по едокам; Варов-Гриш по-прежнему отстаивал общий котел и общий засол; Мишка был против всякой дележки: кто что добыл, то и забирает.

Но против этого восстали все.

— Хитер! Снасти в складчину, а улов — кто сколько добыл. На чужом горбу в рай,— наступал на Мишку Эль.

Куш-Юр в спор не вмешивался. Мысли его вернулись к недавнему разговору с Гришем. Верно ли тот делает,

чтоб в парме было все общее, бери сколько тебе надо... Может, оттого не могут столковаться, что складчина не равная: от одних и конь и корова, а от Мишки ни тпру ни ну-у. Из-за этого? Вон и в избах — одним передний угол, другим место у порога. Опять неравенство... Бери сколько надо... Кабы так! Тут и Мишка не стал бы шебуршиться. А откуда взять? Кишка еще тонка... Но сама-то парма, взаимовыручка,— хорошая штука при нынешней нужде. Надо еще раз, при всех, одобрить, поддержать Гриша. Небывалое дело он делает...

Куш-Юр не мог больше молчать.

— Вы все хотите справедливости, чтоб никому обидно не было,— начал он издалека.— Но если сделать, как хочет Эль, обидно Семену. А если так, как предлагает Михаил, обидно Элю. Михаил забыл, наверно, что Эль и коня привел, и корову, и снасть дал. Не миновать, чтоб один другому уступил, а то никогда не будет согласия между вами. Вот что хочу вам посоветовать...

Куш-Юр прямо сказал, что считает правильными условия пармы, которые отстаивает Гриш, объяснил пользу взаимовыручки. Ему задавали уточняющие вопросы.

Мишка притих, попрекал себя за несдержанность. Вот ведь уязвили его, окаянные! Верно, что безлошадный он, бескоровный. А молоко получает на себя и на Сандру... Взвесив все еще раз, Мишка решил пока помалкивать.

Сеньке условия пармы, придуманные Гришем и одобренные сейчас Куш-Юром, представились невероятной щедростью, в которую даже не верилось. Он и рыбак не из удачливых, и охотник аховый, а получит наравне со всеми, и котел общий, харчи, значит, по едокам. Но первым выразить одобрение не отважился: еще спугнет счастье. С его голосом не запевают, а подтягивают — и он ждал, что скажут другие.

Помалкивал и Эль, иронически улыбаясь.

Заговорил Гриш, не пряча довольной улыбки:

— Лучше, как Роман Иванович, не решить. Выходит, я прав был.— И он попросил согласных с условиями пармы проголосовать. Как на настоящей сходке.

Все подняли руки. Даже дети. Кроме Ильки.

— Единогласно, кроме одного.— Куш-Юр потрепал Ильку по головке.— А ты чего — против?

— Ручки у него не поднимаются, а то бы и он со всеми,— пояснила Елення.

— Верно ведь,— вспомнил Куш-Юр и, сконфузившись,

привлек к себе мальчика: — Значит, с тем и еду, что будете жить сообща и дружно! — заключил он.

И, как бы желая доказать, что так и будет, Мишка вдруг крикнул Сандре, повеселев:

— А ну-ка, Сана, налей чайку гостю и мне уж заодно.

Сандра с удивлением посмотрела на мужа, налила из чайника две кружки, молча подала одну Куш-Юру, вторую — мужу.

«Что-то круто подобрел ты, Миш. Обрадовался моему отъезду», — грустно ухмыльнулся про себя Куш-Юр.

Перемена в Мишке бросилась в глаза и другим. И все расценили ее так же, как Куш-Юр, но вида не подали.

Ужин не затянулся. Перед заходом солнца рыбаки собирались на лов. Подошло время отправляться и Куш-Юру. До отъезда ему хотелось хоть словечком перекинуться с Сандрой и коротко объясниться еще с Гришем. Но Сандра исчезла, а Гриш сам позвал его в сарай показать, сколько заготовлено варки и жира, пусть передаст Биасин-Галу, можно катер пригонять, порожним не уйдет.

— Да, да, покажи,— охотно пошел Куш-Юр, втайне надеясь не только перемолвиться с другом, но и увидеть Сандру. Отойдя от костра, спросил: — Доволен?

— Спасибо, Роман Иванович, за поддержку. Верю, парма выстоит.

— Однако же, как водится в семье, мелких ссор не избежать. Только не делай из мухи слона.

— Постараюсь.

Они вошли в сарай. Половину его занимали бочонки с жиром и варкой. Куш-Юр подивился, сколько сумели заготовить, похвалил за сохранность.

— Эх, мало побыл ты у нас. Совсем не поговорили,— сожалел Гриш.

— Все не переговоришь. Я вот лучше тебе газеты и книжки пришлю.

— Нет у нас грамотеев-читальщиков...

— Да-а-а... Ну, другим разом я прямо доклад про все сделаю...

Когда они вернулись на берег, здесь их, отмахиваясь от несметных в вечернюю пору комаров, терпеливо ждали и рыбаки, и женщины, и дети. Не было только Сандры.

— Мало гостил,— грустно сказала на прощание Марья.

— Ровно свет в окошко поувидели,— с чувством пожала руку Куш-Юра Елення.

— Спасибо за привет и ласку. Погостил бы еще, да служба требует,— после того как простился с каждым в отдельности, поклонился всем Куш-Юр.

— Верно, службу надо исправно исполнять! — насмешливо пробасил Мишка будто в поддержку гостя.

«Наверное, не велел Сандре из избы выходить, не то пришла б проститься»,— подумал Куш-Юр и, чтобы скрыть огорчение, поспешил в лодку.

Когда калданки отчалили — а до устья протоки Куш-Юру было по пути с рыбаками,— женщины поспешили в избы.

— Сандра чего не была? — вспомнила вдруг Марья.

— От комаров хоронится,— ехидно заметила Парасся.

— Не потому,— строго оборвала ее Елення, но больше ничего не добавила.

А Сандра стояла за стайкой, у самой воды, под раскидистым талом, не замечая роившихся комаров, и ждала, когда мимо проплывут лодки. И едва завидев их, она замахала платочком. Махала и тревожилась, как бы не увидел муж. Но не хотелось, чтобы и Роман увидел. Увидит — поймет, как неспокойно ей, как тянется к нему всем сердцем. Мужчины ехали, о чем-то переговариваясь, ни один из них не оглянулся в ее сторону. Сандра шептала добрые пожелания и махала платочком, пока лодки не скрылись за поворотом. Не видя больше Романа, она обхватила дерево, прижалась к нему и залилась слезами.

Глава восьмая

ЕРМИЛКА И МА-МУУВЕМ

1

Еще несколько ночей рыбачили вотся-гортцы на сорах. Наконец поймы вовсе обмелели, в ином месте до щиколотки не поднималась вода. Пробовали добывать рыбу в протоке — и протока обмелела, для промысла не годилась. Оставалась лишь дальняя тоня — по реке Хашгорт-Еган, ниже Вотся-Горта. Там и вовсе не обойтись без помощника. А бабы заняты: косьбы еще хватало. Да и по дому забот полно.

Не долго рядились, уговорились: брать помощника.

Стал вопрос — кого?

Из Мужей? Стоящие — все на рыбалке, а нестоящего — даром не надо, не так они богаты, чтоб нахлебников держать.

Самое ближнее к их острову было становище хантов. Помнил Гриш, жил там работящий человек Ермилка.

Варов-Гриш и Гажа-Эль и поехали звать Ермилку, если отпустит его старшина рода.

Перед тем малость поспорили — сколько положить работнику.

— А как нам, так и ему. Мы ж не батрака берем, а помощника зовем! — Гриш даже удивился, как речь могла зайти об этом.

Но Мишка пошел доказывать, что парма в таком случае останется в накладе, лучше делить улов по паям. Да и хантыйский старшина не дозволит Ермилке отдавать свою долю в общий засол с пармщиками.

Все призадумались: действительно, чепуха получается. Хоть откажись от помощника или дели улов поровну, в угоду Мишке.

Выход подсказал Сенька Германец:

— Ермилка-то, поди, не добавит невод, не сделает складчину сетями. Значит, давать ему маленько из улова — и ладно.

Гриш почесал за ухом.

— М-да... Вообще-то можно и так. Только если уж на глазок, то по-честному.— Ему хотелось и выйти из тупика, и не нарушать условий пармы, одобренных Куш-Юром.

На том и сошлись, хотя Мишка и морщился: подумаешь, по-честному, на глазок. Ханты надуть не грех, не разберется...

...Ермилка согласился. Старшина отпустил. Вскоре за протокой появился чум, покрытый берестой, похожий издали на островерхий стог сена.

Как и все мужики-ханты, не стриг Ермилка волосы, заплетал косички. Лицо его было густо усеяно синими крапинками: когда-то он заряжал патроны у костра, высыпал порох в подол малицы, но от шальной искры порох вспыхнул — и только глаза чудом уцелели. Пороховые метинки обезобразили ему лицо...

С Ермилкой приехала жена Марья с грудным мальчонкой и двумя дочурками трех и шести лет да старик отец Макар-ики, седой, с тощей бороденкой.

Новопоселенцы были тихи, неразговорчивы и очень бедны: носили дырявые малицы, до того старые, вышарkавшиеся, что никому не угадать, из какого они меха. Обувь им заменяли замшевые чулки выше колен, у подошвы отороченные мехом, тоже уже вышарканные. В этих чулках они ходили и в сухую погоду, и в ненастье. У Марьи было еще суконное платье неопределенного цвета, изношенное, грязное.

Отличались ханты трудолюбием. Старик, едва приехав, принялся плести гимгу, ловушку для рыбы, по-русски — морду. Марья, когда засыпал ее грудной сынишка, мастерила лукошки из бересты.

Ермилка горячо взялся неводить с артельщиками. Свой пай сразу же после улова он отвозил за протоку и возле чума засаливал рыбу в бочке или в большом деревянном корыте, вялил, сушил. В парму вступать не хотел. «Своим родом рвать нельзя. Без рода пропадешь»,— говорил он. Никто ему не возражал. А то что он отдельно засаливал свою долю улова, было даже выгодно: запасы соли у мужевских переселенцев быстро истощались.

В общем, Ермилкой оставались довольны, и он, похоже, не раскаивался.

Через неделю с небольшим подошла к концу соль. Хоть и промышляли зыряне ветхим неводом, который то и дело приходилось чинить, но ловилось хорошо, очень хорошо. Соли требовалось много.

— У Ма-Муувема, поди, и соль есть? — пытал Эль Ермилку.

— Маленько есть...

— Едем к Ма-Муувему! — предложил Эль, втайне надеясь разжиться и вином.

— Знаешь, сколько он сдерет?

— А как путину упустим?

Довод был веский. Но Гриш предложил подождать катер, который обещал прислать Куш-Юр, авось не пустой придет, чего-нито подкинут им. Да и распечет их Куш-Юр. Рыба к Ма-Муувему, чего доброго, уйдет, катер порожняком вернется. Как Куш-Юру в глаза смотреть?

— Вот заладил, Куш-Юр да Куш-Юр! Или мы сами своему добру не хозяева? Что нам надо, то и сделаем! И шабаш! — ожесточился Мишка.

Даже Сенька, когда Гриш оглянулся на него, ища поддержки, отвел взгляд. Разъярился Гриш... Но что он может один против всех!

«Круто не поворачивай»,— вспомнил наставление Куш-Юра... Соль впрямь очень нужна. Есть ли она в Мужах? Да туда и долго... А здесь наверняка и под боком...

Они возвращались с рыбалки, неторопливо гребли, переговариваясь вполголоса. Эль опять завел свое и даже ушам не поверил: Гриш согласился.

— Будь по-вашему! Съездим за солью.

Эль завопил от радости.

— Однако ездить не надо. Моя поедет, Макар-ики поедет, рыбу Ма-Муувему отвозить, спрашивать будем,— вызвался Ермилка.

— Завтра! — Элю не терпелось.

— Завтра — нет. Завтра рыбы мало.

— Чего — мало, калданка, поди, наберется.

— Калданка — мало.

— А тебе что останется?

— Сперва долг плати. Потом себе бери.

— Так ты много должен?

Напоминание о долгах заметно опечалило Ермилку:

— Не знаю. Однако много...

— Как не знаешь?

— Ма-Муувем муку давал, чай давал, винка... Платить надо. Без Ма-Мувема как жить? Совсем худо будет.

— Так ты давай к нам в парму навсегда, насовсем! — позвал его Гриш.

Ермилка головой покачал:

— Нельзя своего рода бросать.

— Худо твое дело,— посочувствовал Эль.

— Худо, худо,— закивал Ермилка.

Гриша охватило возмущение, зря дал согласие на поездку к Ма-Муувему! Рядом греб Мишка. Гриш процедил ему:

— А мы еще на поклон потянулись к обдирале-живодеру!

— На нас не разживется, знаем, где власть! — в полный голос отозвался Мишка и самонадеянно шевельнул усиками.

Густые, темные брови Ермилки нахмурились, он забормотал недовольно:

— Зачем лась? Лась мука, винка не давал. Ма-Муувем давал. Пошто болтать? Ма-Муувем услышит — мне худо будет. Больше винка не даст, муки, чай-табак не даст. Как жить буду?

«Еще передумает ехать!» — Эль поспешил вмешаться.

— И впрямь — чего болтать? Не бойся,— потрепал он Ермилку по плечу,— не скажем власти. Это так, зря брехали, на ветер. Пускай выручает нас Ма-Муувем. Заплатим и спасибо скажем.

Ермилка немного успокоился, даже криво улыбнулся.

— Ладно. Маленько поговорю с хозяином. Может, выручит, может, нет.

2

Летний стан рода Ма-Муувема расположился на берегу Большой Оби, выше Вотся-Горта.

На зеленой лужайке в беспорядке стояли островерхие чумы, в эту летнюю пору покрытые берестой. Возле каждого жилья дымились костры, бродили лениво собаки, на вешалах сушились растянутые сети, висела связками рыба, вялилась.

Чум старшины Ма-Муувема выделялся и размерами, и тем, что рядом с ним, под навесом, выстроились ряды бочек и ящиков — богатые запасы рыбы. Такие же бочки и ящики теснились и в большом каюке, принадлежавшем старшине. Вдоль берега стояло множество других лодок — больших и малых.

Ма-Муувем, коренастый, с висячими темными усиками, черноволосый, остриженный под кружок, на вид еще не старый. Двигался он медленно, должно быть, старался придать себе больше важности и мудрости. Ведь недаром его зовут Ма-Муувем — Моя Земля. Даже мало нуждающиеся сородичи признавали Ма-Муувема своим главой, ответственным за всех перед властью,— старой ли, новой ли. Ему сдавали прежде ясак, и он вносил его за весь род в казну. Он был и судьей, разбирал споры между сородичами, определял меру наказания, вплоть до предания виновного властям.

А бедные сородичи — ими же были без малого все — полностью зависели от Ма-Муувема. Его неводом на его лодках они промышляли на полупаях, ему сдавали свои уловы за продукты и товары, а чаще всего в уплату прежних долгов, которые никогда не кончались.

Семья Ма-Муувема была небольшая: две жены — пожилая Пекла и молодая Туня, обе бездетные, и хромой племянник-сирота — девятнадцатилетний Пронька.

Мужиков на стане Ермилка не встретил — неводили.

Бабы и ребятишки разделывали и засаливали рыбу. Тем же занимался возле чума и Ма-Муувем.

Старшина даже не поинтересовался, много ли Ермилка привез рыбы, не спросил, хорошо ли ловится в Хашгорт-Егане. Бросил взгляд на Ермилкиного отца, выразил неудовольствие.

— Оба мужика кинули рыбалку! В разгар лета! С бабой мог приехать.

— Баба с грудником,— виновато пояснил Ермилка и, желая его поскорее задобрить, сообщил:

— Зыряне соль всю высолили.

— Гм! Худо дело без соли.

— Худо. Совсем худо,— подал голос Макар-ики и поскреб под косичками.— Хлеба нет. Ничего нет. Одна рыба.

— Кругом нынче беда.— Ма-Муувем перестал разделывать муксунов, поспешил к лодке Ермилки — принять рыбу, словно вдруг испугался, что добыча уплывет обратно в реку.

Он окинул оценивающим взглядом бочку и два больших корыта с рыбой, слегка поворошил ее сверху, велел перегружать в свой каюк. Пробурчал:

— Маловато. А долгов у вас ой-ой.

Замечание Ма-Муувема еще больше пригнуло и без того робевшего, ссутулившегося Макар-ики.

— Сколько наловили — все привезли,— боязливо, шепотом сказал старик.

Ермилка промолчал. Натужившись, боясь вывалить рыбу в воду, он двигал двадцативедерную бочку. Макар-ики кинулся помогать сыну. Вдвоем они переставили ее с борта на борт.

Управившись и переведя дух, Ермилка заговорил со старшиной.

— Шибко худой невод у зырян. Маленечко половят, опять долго чинить надо. Однако маленько добыли... Рыба там есть. Соли нет. Винки тоже нет. Гажа-Эль ой мучается. Он без винки — как рыба без воды.

— Ай, пьяница! — засмеялся Ма-Муувем.— Пускай воду пьет! Рыба в воде не дохнет. А то подохнет Гажа-Элька. Шибко худая пора.

Старик с Ермилкой подобострастно улыбнулись. Настроение старшины хорошее, самая пора для главного разговора, и Ермилка повел его, не откладывая.

— Без винки не умрет, так без соли и хлеба — беда.

Всем беда. Говорят, кто хлеб продаст, соль, винку, хорошо рыбу дадут, пушнину давать будут... Ермилка тоже,— намекнул он после паузы и на себя.

— Куда денешься. Жить надо. Винку пить тоже надо,— грустно вторил Макар-ики.

Ма-Муувем положил за нижнюю губу измельченный табак, прикрыл древесной ваткой, смачно засосал, поддразнивая Макар-ики с Ермилкой.

— Надо, надо,— оттопыривая нижнюю губу и не переставая сосать, охотно отозвался старшина.— Мне надо, тебе надо. В лавке — нет. Ничего нет. Купец не едет. Озыр-Митька — тю-тю. Новая ласть бедная... Хватит, однако, болтать. Пойдемте в чум, зарубку сделаем на палочке. Уплатили вы маленько долг.

«Маленько... Сколько ни плати, все маленько»,— печально подумали в одно время отец с сыном и, переглянувшись, поплелись за старшиной.

Чум Ма-Муувема был просторный, с очагом посередине. Матерчатые пологи по обе стороны от входа отгораживали спальни его жен. На земле, у входа, лежало несколько досок вместо пола. Позади костра, в глубине чума, виднелся кованый сундук, на нем деревянные божки-идолы,— семейная реликвия, а чуть повыше сундучка висел, прикрепленный к шесту, маленький медный образок Николая Угодника — единственного православного святого, признаваемого и почитаемого крещеными хантами. Возле сундука на низеньком переносном столике расставлена разная посуда, в основном самодельная — деревянная и берестяная. Убранством жилище старшины, кроме разве иконы да сундука, ничем не отличалось от жилищ его сородичей, та же грязь и копоть. Над костром висели нечищеные, черные чайники и котлы. А повыше их, у дымохода, на специальных жердях — рыбьи чешки. С них стекали в очаг, на угли, прозрачные слезинки жира, которые в бедных чумах собирали, как драгоценность, а здесь они сгорали, распространяя чад.

Войдя в чум, Ма-Муувем снял с себя суконную парку и остался в черном жилете, надетом поверх длинной, чуть не до колен, красной рубахи. Он кликнул старшую жену Пеклу. Та оставила засолку, поспешно вошла, старательно закрывая краем платка смуглое морщинистое лицо, чтобы его не видели сородичи мужа. Того требовал обычай. Одета она была в красное платье. Пекла принялась хлопотать возле очага.

Пока готовился чай, Ма-Муувем достал из-за сундука связку палочек разной длины и толщины, старых, уже потемневших от времени, и совсем свежих, чистых, со многими зарубками и крестиками. Это были своеобразные «долговые книжки». Старшина не знал грамоты.

Ма-Муувем сел перед очагом, скрестил ноги, указал, чтобы сел и Ермилка с отцом. Он ловко перебрал мясистыми пальцами связку и отыскал нужную, почерневшую палочку с зарубками на обеих сторонах.

— Вот ваши долги.— Ма-Муувем показал палочку старику.

— Наши,— признал старик со вздохом.— Ой, много, однако, зарубок без крестиков.

Ма-Муувем пожал плечами:

— Много едите, много пьете чужого. Даром давать не могу. Совсем ничего не осталось. Купить негде. Сами знаете.

— Так... так...— растерялся Ермилка.— Вот беда. Как быть?

— Как быть... Одну зарубку перекрестим, думать будем.— Ма-Муувем взялся за нож.— Какую? Глубокую нельзя — винку брали. Шибко дорого. Рыба ваша столько не стоит. Эту уберем, неглубокую — чай-сахар.— И, не дожидаясь согласия должников, ловко и быстро сделал перекрещивающий надрез на неглубокой зарубке.

— На одной рыбе живем. Детям шибко худо.— Макар-ики приложил руку к груди и поклонился, взывая не к снисхождению, но к новой щедрости.

— Ничего им не сделается. Сам рыбой кормлюсь. И ты кормился. Долгов за вами вон сколько еще,— старшина потряс «долговой книжкой», хотел было сунуть палочку в связку и положить ее на заветное место, но, подумав, помедлил.— Соли нет у зырян? И у вас?

— Нету, нету. Совсем беда,— заискивающе закивал Ермилка.

Ма-Муувем почесал в мясистом затылке.

— Жалко мне вас. Однако маленько выручу солью. Из последних своих остатков. Опять даю в долг. Я всегда выручаю. Ма-Муувем — добрый.— И сделал новую глубокую зарубку на палочке Ермилки.

Старик не сводил глаз с его рук, и в это мгновение вздрогнул, будто его самого чиркнули ножом.

— Больно глубокую зарубку сделал, однако,— заметил Макар-ики.

— Гм! — недовольно дернул плечом Ма-Муувем.— Теперь соль дороже винки. Не хотите, не берите. Строгнем зарубку.

— Берем, берем соль! — поспешил согласиться Ермилка.

— Беда с вами. Сколько мороки мне,— притворно вздохнул старшина. Положил связку на место.— А зырянам соль сам привезу. Мне так и так побывать к ним. На моей земле промышляют... К празднику, к ильину дню, приеду. Передайте. Лишнего не болтайте. Среди них партизан есть. Может, «красный человек», опасный...

— Не-ет,— убежденно затряс косичками Ермилка.— Простой мужик, рыбак.

Макар-ики, понурив седую голову, не переставал вздыхать:

— Мало, мало даешь, хозяин. Совсем худо. Без табаку нет жизни, лучше умирать.

— Нету табаку! Пока нету.— Ма-Муувем ловко извлек изо рта табак с древесной ваткой, стряхнул на пол возле очага.— Все. Будем чай пить. Потом работать. Скоро народ вернется с неводьбы.

Он дал знак Пекле, и та бесшумно пододвинула к гостям низенький столик, внесла миску с малосольной рыбой, несколько сухарей, налила чай в кружки.

Чаевали недолго. Хотя хозяин и делал вид, что рад уплате долга и не жалеет угощения, но было заметно, как торопился он окончить потчевание. Не ожидая, когда Ермилка с отцом поедят, он дал каждому по кусочку ватки, отсыпал по щепотке табака из костяной табакерки — пусть пососут, как и он, после еды. Для него это было верхом хлебосольства. Встав, Ма-Муувем повел поспешно вскочивших гостей под навес. Открыл деревянный ларь и наскреб Ермилке треть мешка крупной, грязноватой соли.

— Маловато, однако, будет. Много ли этим насолишь рыбы? — попытался поторговаться Макар-ики. Ермилка покорно молчал.

Ма-Муувем развел руками:

— Я не купец. От себя отдаю. Сам видишь — остатки наскреб. Рыба еще в реке. Может, не напромышляете. Торопитесь-ка на лов. Долг отдавать нечем будет.

Ермилка молча поднял мешок и потащил следом за отцом.

3

Проводив гостей, Ма-Муувем снова обрядился в суконную парку и вышел на берег встречать рыбаков. Где-то они, видно, задержались, и он ходил взад-вперед, размышляя о том, о сем и, между прочим, про то, правильно ли он сделал, отпустив Ермилку промышлять с зырянами отдельно от своей рыбацкой ватаги.

«Может, зря? Мог и здесь Ермилка неводить с остальными моими людьми,— хмурил он темные брови.— Однако нет. Тут и так лишка людей для одного невода. Каждому — полпая. Один полпая, два полпая, три полпая, шесть полпая, восемь полпая... Много-много. Сам лопает, женка лопает, детка лопает... А-а-а... Сколько рыбы пропадает. Зыряне Ермилке полный пай дают из всего улова. Ермилку кормят, женку, деток, старика. Рыба не пропадает ни маленько. Вон сколько привез. Из моей ватаги столько никто не отдает за долг. Дурная башка ихняя парма... Пай дают, кормят... Пускай еще берут кого с Ермилкой. Безголовые. Как глупые рыбы, в сеть лезут. Без приманки. А если приманить? Однако мой невод удачливый. На моей земле — все на меня промышляют».

Тут показались рыбаки, он остановился и уставился на вереницу лодок, стараясь предугадать — уловистый ли был день.

Вскоре лодки пристали к берегу. В одной из них сверкала живая серебристая куча. В неводнике чернела мокрая снасть. Один за другим сошли на берег двенадцать рыбаков — пожилые, средних лет и совсем еще молодые парни, все одетые в плохонькие малицы с короткими рукавами, вымокшие, босые, посиневшие. На Оби и летом студено. Без разговоров каждый занялся своим, хорошо известным делом. Работали сосредоточенно. Одни выгрузили и осторожно, чтоб не повредить ненароком собственность старшины, развесили невод. Другие под зорким присмотром Ма-Муувема перетащили рыбу на берег и стали делить ее поштучно, строго соблюдая уговор: старшине — половина всего улова, а из остальной половины — взрослым рыбакам полный пай, подросткам полпая.

День был удачным. Даже большого осетра поймали. Ма-Муувем бесцеремонно отложил его в сторону, не пустив в дележку.

— Счастливый мой невод. Поймал для хозяина.—

И успокоил рыбаков: — В другой раз уловится, вы поделите.

Так повторялось раз за разом, повторится и в будущем, поэтому рыбаки отнеслись к обещанию старшины безучастно.

Наступил вечер. Стало пасмурно. Подул ветер, нагоняя дождевые тучи, и люди на стане совсем помрачнели, насупились. Никого не радовало возвращение к родным очагам. Вымокшие, озябшие, всецело зависящие от прихоти и воли человека, которого они не смели ослушаться и от власти которого даже не помышляли избавиться, рыбаки молча разбрелись по чумам. И хотя возле каждого жилья ярко пылал костер, людей прибавилось, и они занялись разделкой и засолкой свежей, доставшейся при дележке рыбы, в становище было по-прежнему тихо. А когда закапал дождь, оно будто вымерло. Натрудившиеся за день люди спрятались в своих чумах в надежде поскорее уснуть, забыться, не слышать дробного стука дождя по берестяным нюкам, шума ветра в тальниковых зарослях, плеска волн на реке.

Только в чуме старшины еще долго не спали. Ма-Муувем с женами и племянником Пронькой неторопливо, смакуя и громко отрыгиваясь, ужинали свежим жирным осетром.

На ночь, как всегда, Пронька отправился сторожить каюк с рыбой — лодку могло оторвать волной от прикола и унести течением. Но не ради одной рыбы наряжал Ма-Муувем Проньку: на каюке под берестяной палубой был потайной плавучий лабаз, в котором хранилось все то, что давало старшине власть над сородичами,— сухари, табак, соль, водка. Под палубой укрывался от непогоды и Пронька со своим верным псом Колыхом. Сторожил Пронька охотно. Иногда его навещала, якобы для проверки, молодая жена дяди — полнотелая, румяная Туня, с которой приятно было побыть наедине. У Проньки от рождения одна нога не действовала, и он ходил, держась обеими руками за длинную палку и переставляя здоровую ногу. Это не мешало молодой Туне тайком крутить с ним любовь. Скучно было ей с пожилым Ма-Муувемом, в жены которому ее продали за долги.

После ухода Проньки Ма-Муувем улегся под пологом Туни. Пекла, погасив костер, ушла на свою половину, довольная, что не ее черед спать с мужем.

Понежившись с женой, старшина отвернулся и раз-

мечтался о предстоящей поездке в Вотся-Горт. Желание зырян раздобыть у него соли, вина и, может быть, хлеба радовало его.

«Однако новая власть зырянам тоже как ненастье,— думал он под шум шквального дождя и ветра, сотрясавших чум.— Видать, сильно бедуют, не как мои люди. Мои люди с рыбой, с солью, винку на праздник пьют, табаком когда балуются. Ма-Муувем худо не делает, в беде людей не кидает. Грех так, в тайге людям помогать надо. Я — людям, люди — мне. Зыряне знают. То бы Ермилку не отпустили. Целых два мужика не пожалели. Учуяли, где есть спасение. Беда гонит, беда дорогу кажет. Я помогу... Лучше в долг дать. Гологоловый председатель — росомаха, глядишь, выследит, вынюхает мой лабаз. Крошки не оставит. Русских и зырянских купцов не пожалел... Однако в тайге ходи не ходи — мало увидишь. В тайге погаными руками не нашаришь... Да ведь и куница тоже ловится. Шибко сторожиться «красных людей» надо, очень шибко! В долг дам — мне отдадут. Зыряне сейчас — как по снегу без лыж, а народ промысловый, старательный. Гришку и Эльку давно знаю. Охотники. Не хуже хантов напромышляют пушнины. Долг отдавать будут. Как мои люди. Тоже моими людьми будут. Будут! На моей земле промышляют. Мою рыбу, моего зверя: значит, мне пушнину отдавать надо. Ма-Муувем спрячет — никто не найдет. Пушнина — не рыба, полежит себе. Ма-Муувем шибко не бежит, Ма-Муувем маленько ждать будет. Купцы обратно заведутся. Как без купца? Как тайга без зверя? Как Обь без рыбы? Как ханты без чума? Как мужик без бабы? Нельзя без купца. Купец придет, купит у Ма-Муувема пушнину. Купец продаст Ма-Муувему товар. Ма-Муувем сам станет купцом...»

Эта мысль приятно взволновала его, и, жмурясь, он сладко потянулся. Зашевелилась жена.

— Спи,— не разжимая глаз и боясь упустить сладкое видение, шепнул он.

— Сам, однако, не спишь. Раз тебе не спится, и мне не до сна. С каюком бы чего не случилось,— едва слышно выдохнула Туня.

— Пронька укараулит. Не первый раз. Худо будет, позовет.

— Пронька? Может не поспеть. Из-за ноги.

— Может... Вот дурная погода! — к нему пришло беспокойство, он немного приподнялся на постели.

— Сходи-ка, погляди. Все ведь добро наше там.— Туня преданно прижалась к мужу.

Ма-Муувем поласкал ее тугие груди. Забота молодой жены о добре была ему по душе, но не хотелось расставаться с приятными мыслями, оставлять теплый полог, выходить из чума.

— Разбуди Пеклу. А то сбегай сама, я подумаю тут...— Он не договорил — важными думами с бабой не делятся.

Каюк надежно был причален к берегу несколькими якорями на цепях — Туня это хорошо знала. Знала она, и что муж не пойдет в ненастье проверять каюк — одну из жен пошлет, и ей хотелось, чтоб этой женой была она. Но, добившись своего, Туня не выказала радости. Продолжая хитрить, лениво села на оленью шкуру, служившую постелью, и простонала:

— О-о, проклятая непогода! Неохота вставать.

Но этого уже не мог допустить Ма-Муувем: баба не смеет лениться, уклоняться от работы и выражать недовольство.

— Но-о?! Знай свое дело! — строго одернул он Туню.— Люки палубы проверь, мешки бы не промокли.

Туня молча выползла за полог, надела суконную ягушку-шубу, повязала голову платком и прислушалась к сонному сопению Пеклы. Соперница и старшая хозяйка, которую она недолюбливала и которая в последнее время стала за ней подозрительно приглядывать, спала. Туня потопталась у выхода, будто пересиливала себя, и вышла из чума на дождь и ветер.

«Молодая, а о добре заботливая»,— мысленно похвалил ее Ма-Муувем и предался своим размышлениям.

«Коли в беде — на все пойдут. Но для начала надо винки дать. Как купец делал. Сами в аркан полезут. Элька, лишь бы попало в рот,— все продаст. Да еще в ильин день. Уже мучается без винки. Ермилка не сбрешет... Другие тоже не стерпят. Сумею раззадорить их. Купят винки, и я попью с ними. Не на своей земле промышляют. Должны угостить хозяина...»

У Ма-Муувема слюнки потекли. Перед его взором всплыла картина предстоящего пиршества после удачной сделки с зырянами. В сладких грезах, не дождавшись молодой жены, он незаметно уснул. Когда она вернулась, он так и не узнал, а если бы и узнал, красивая, чернобровая Туня сумела бы убедить старого, верящего в не-

выблемость строгих родовых обычаев мужа, что вместе с беспомощным Пронькой кое-как уберегла каюк с добром от сильного прибоя, промучившись всю ночь.

Глава девятая
ГРОМ С ЯСНОГО НЕБА

1

В страдную летнюю пору северяне отдыхали только дважды — в петров день и ильин день. Особенно почитался ильин день. Он приходился на самое теплое в этих краях время года. Даже зимой, в студеную пору, вспоминали этот день. Если кто плохо прикрывал дверь и напускал в избу холоду, оплошавшему выговаривали:

— Тебе что — ильин день сегодня? Дверь нараспашку!

С ильина дня заметно убывали белые ночи, становились прохладными и росистыми, а то и легкий иней выпадал, исчезали изрядно надоевшие комары. В страду ильин день бывал долгожданным. И если к тому же еще он выдавался ясный, погожий, как вот на этот раз, после прошедшей накануне непогоды, то и вовсе хотелось отпраздновать его от души.

Только как праздновать — ни хлеба, ни чаю-сахару, ни выпивки. Ни церкви на острове, ни хотя бы колокольного звону поблизости.

Женщины Вотся-Горта были удручены. Ничто их не радовало — ни голубое небо, которое будто чисто-чисто вымели, как избу перед праздником, ни стоявшая необыкновенная, не иначе как божественная тишь, когда и травы и листья, словно зачарованные ослепительным блеском воды в реке, боялись шелохнуться под лучами яркого солнца.

Мужики тоже слонялись хмурые. Накануне получили через Ермилку неутешительные вести от Ма-Муувема. И в недальнем от их острова селении Кушвож, как сказывал проезжавший мимо Вотся-Горта рыбак, мир-лавка все еще пуста. Ждут. В Обдорск, слухи ходят, муку и другое съестное доставили. Но ведь когда развезут по Северу!

— Вот и рай, возьми да помирай! — мрачно острил Мишка Караванщик.

Гажа-Эль и вовсе горевал. Варов-Гриш как мог утешал товарища. По правде говоря, ему тоже хотелось гульнуть сегодня на именинах сынишки Ильки. Хотелось и отвлечься от забот. Нехватка соли грозила сорвать наладившуюся было работу. Оставалось соли на два средних улова. Все это знали, и у всех опустились руки. Обещанный Куш-Юром катер не приходил, того и гляди, рыбу не во что станет складывать. Так что уже и не в одной соли дело. Но и путина не вечна. Всего обиднее — рыба больно хорошо шла! Лес начать разве рубить на две избы? Их, конечно, надо ставить. Но ведь лес валить — самая зимняя работа... А придется, наверно. Мужики без дела совсем расхолодятся.

И тут вдруг к острову причалила Ермилкина калданка: приехал Ма-Муувем с Пеклой.

Старшина прибыл в Вотся-Горт с рассветом. Но до полудня скрывался в чуме своего сородича. А лодку с продуктами спрятал в кустах.

— Вуся! Вуся! Здравствуйте! Здравствуйте! — обрадовались гостям зыряне. Пусть Ма-Муувем и прибыл к ним с пустыми руками, надежда все же блеснула: зря не поедет.

— Вуся! — сияли и ханты, здороваясь с хозяевами за руку, Ма-Муувем еще добавил по-хантыйски, складно: — Сяем путэн кавырта, корничаян лэсятта.

Зыряне его поняли: «Кипяти чай да в горнице угощай»,— засмеялись и сами давай шутить:

— Чай давно готов, да где-то потерялась заварка...

— И горница просторна, как мышиная нора...

— Однако зайдем. Посмотрим вашу горницу.— Ма-Муувем почти свободно изъяснялся по-зырянски, однако предпочитал отвечать на своем языке.

Гости направились в избу Гриша и Эля.

Ма-Муувем, едва переступив порог, обшарил глазами углы избы и, найдя иконостас, стал перед ним навытяжку, мотнул головой, повернулся через левое плечо, снова мотнул. Трижды проделав так и ни разу при этом не перекрестив себя и не произнеся молитвы, он отошел от образов, чинно уселся на лавку. Пекла была некрещеной и не молилась. Она как вошла в избу, так сразу опустилась на корточки у входа: сидеть на стульях или лавке не умела.

Женщины завели с гостьей негромкий разговор. Мужчины тоже беседовали чинно. Вначале, для приличия,

похвалили погоду, потом помянули рыбацкие успехи и уж тогда заговорили о своих нуждах.

Хантыйский старшина теребил усики, делая вид, что сочувствует затруднениям зырян, без конца «такал». Качал головой.

Эль слушал, слушал эту беседу, в конце концов не выдержал, спросил напрямик:

— Что же ты, старшина, пустой-то приехал? Неужто так ничего и нет у тебя? Ведь не жизнь у нас, а пагуба. В праздник и то не выпьешь!

Ма-Муувем выждал минуту и ответил сдержанно, с расстановкой:

— Ма-Муувем — старшина. Ма-Муувем — не купец. Купцов — нет. В мир-лавке тоже нет. Вам взять негде. Мне взять негде. Понимать надо. Ай-ай-яй! — воскликнул он, осуждая то ли непонятливость Гажа-Эля, то ли плохую жизнь без купцов.

Наверное, оттого, что гость держался излишне настороженно, словно боялся выдать себя, Гриш не обманулся в ожиданиях. Дернув Эля за рукав, попросив его не вмешиваться, он сказал:

— Соли да хлеба бы нам.

— Соли привез я. Маленько,— негромко сообщил Ма-Муувем.

— Сколько? — обрадовался Гриш.

Ма-Муувем, прежде чем ответить, пристально вгляделся в загорелые, обветренные лица хозяев.

— Мешок, может, будет, может, нет,— пояснил он неопределенно.

— Маловато. Пармой неводим.

— Сколько нашлось у меня, столько и привез. Но дорого стоит. Все теперь дорого. Во всем нужда.

— Не дороже рыбы, чай. А то какой толк засаливать ее?

— Сладим как-нибудь. Чего спешить? — Ма-Муувем важно посасывал табак за губой.— Праздновать сперва надо.

— А с чем праздновать-то? — простонал Эль.— Я б все отдал за сулею водки или лучше спирта.

Ма-Муувем засмеялся:

— А что у тебя есть? Рыба одна...

— И рыба, и варка, и жир.— Эль широко расстегнув ворот линялой рубахи, стал гладить раненую грудь, возбужденно заходил по избе.— Бери, старшина! Все бери!

Только спаси... Душу, понимаешь, томит, нетерпячка.

Ма-Муувем сполз на пол, поджал ноги. Видно, устал сидеть на лавке.

— Рыба, варка, жир... Моя семья — всего две жены да племянник. Своей рыбой сыты. Мир-лавке отдам — мне ничего. Верно?

— Рыбы не хочешь, пушнину дам зимой! — Эль протянул ладонь — мол, давай ударим по рукам.

Ма-Муувем ухмыльнулся:

— Э-э, пушнина в лесу. Гуляет — не боится. Дроби-пороху нет. Да и охотники вы не больно шибко.

— Ну да! — хмыкнули враз Эль и Гриш.

Беседа длилась бы, может, еще долго, но бабы сообщили, что еда готова.

Тут Эль вовсе вышел из себя:

— Не буду праздновать без выпивки, якуня-макуня! Хоть гром Ильи на мою голову! Лучше завалюсь дрыхнуть!

Ма-Муувем поднялся с полу, опять важно уселся на лавку.

— Охо-хо! Ладно, выручу ради такого дня,— вздохнул он, задрал подол парки и вытащил сулею спирту.

— Живем! — воскликнул Мишка Караванщик.

Но Ма-Муувем отвел руку с бутылкой за спину.

Однако сперва купить надо, потом пить.

— Говори цену скорее, якуня-макуня!

— Винка нынче ой-ой дорогая. Целую бочку рыбы стоит, наверно.

— Да ты что! Как не стыдно обдирать нас? Мы ж работные, а ты не купец,— заторговались зыряне.

— Ну, тогда два ящика рыбы,— резко снизил цену Ма-Муувем.

Но и это было дорого. Женщины, прислушиваясь к торгу, заойкали, заахали.

Мужики переглянулись.

— Может, дадим? Отвалим два ящика? Где наше не пропадало! — вдруг расщедрился Гриш.

— Дадим! По пол-ящика с рыла. Зато разговеемся! Спирт же! — Эль азартно потирал руки, топчась перед старшиной.

И торг состоялся: бутылка перешла в руки Гажа-Эля,

2

Праздновали на воле, у костра на лужайке: в избе было и тесно и душно. На расстеленном брезенте, как на скатерти-самобранке, в чашках, в маленьких деревянных корытцах, в берестяных лукошечках было все, чем богаты хозяева: вареная, жареная, малосольная рыба, варка, жир, сметана, творог, смородина и даже несколько сухариков.

Ма-Муувема и Пеклу посадили на самое почетное место — против солнца. Рядом примостились Гриш и Эль, старые знакомые хантыйского старшины: нужно было окончить деловые переговоры. Остальные разместились где кому удобно. Садясь, все поджали ноги.

— Будем делать пори,— весело провозгласил Гажа-Эль и помахал над головой заветной сулеей.

Пори — хантыйское пиршество, часто с жертвоприношениями водяным или лесным духам. Гостям польстили слова Гажа-Эля, лица их расплылись в улыбке.

— Сделаем пори в честь нашего Ильки.— Еленя погладила по головке сына, сидевшего рядом с ней в чистенькой рубашке.

Тот в смущении уткнулся в материн рукав. Ма-Муувем уставился на парнишку...

— Именинник, значит. Жалко — курли [1] с малости. Мой племянник — тоже курли. Однако большой, маленько мне помогает.

Гриш спохватился:

— А Ермилка чего? Позвать надо.

Ма-Муувем остановил его.

— Маленько ждать будем!

— Начнем.— Гажа-Эль потянулся к чашке Ма-Муувема, чтоб наполнить ее первой, но старшина воспротивился.

— Нам с женой, однако, не надо, не надо!

Такого отказа требовала церемония вежливости. Хозяева в ответ должны как можно громче уговаривать гостя все же выпить. И они заговорили враз, каждый свое:

— Почему же отказываешься! Нет, нет! Непременно выпей! Вкусный спирт!..

— Ваша винка, вы купили. Сами пейте. Мы так покушаем. Верно, жена? — Ма-Муувем для вида советовался с Пеклой.

---

[1] **Курли — калека, безногий (хантыйск.).**

— Ситы, ситы. Так, так! Пить не надо.— Иного Пекла и не смела сказать, но, жадно облизнув бледные сухие губы, она выдала свое подлинное желание.

— Не-ет, эдак не годится! Ты у нас в гостях, да еще в день именин. Мы тебя уважаем. Выручил нас. И соль сулишь. Место тоже хорошее отвел нам, — не переставали настаивать хозяева.

Наверное, старшина удовлетворился бы и менее усердным приглашением, но маслом кашу не испортишь. Ма-Муувем был из тех, кто меряет хозяйское радушие многословием. Все сказанное хозяевами было приятно его ушам.

— Верно, верно. Ладно, ладно. Когда-нибудь вас угощу,— согласился он.

Перед тем как выпить, каждый развел свою долю спирта водой из чайника. Хозяева перекрестились. Кивнули Ильке, поздравляя его с именинами да желая здоровья, и потянулись чокаться с хантами, старательно и звонко стуча чашками.

Каждому досталось не так уж и много, особенно женщинам. Но спирт есть спирт и подействовал быстро.

Еленя выпила не все, оставила чуточку, развела водой еще послабее и поднесла Ильке:

— А это тебе, имениннику! Хоть и мал ты. Да бог простит... Пей, не бойся.

Илька глотнул, поперхнулся, закашлялся до слез, захныкал. Мать, успокаивая, сунула ему в рот ложку икры, но мальчик тут же выплюнул ее.

— Тьфу, кака бяка, винка-то!..— проговорил он сквозь слезы.

Вокруг весело засмеялись. Февра не удержалась, съехидничала:

— Ну, Илька, будешь ты теперь пьяницей, как...— и не договорила, а лишь косо взглянула на Гажа-Эля.

Тот, ни на кого не обращая внимания, сипел, причмокивая:

— Еще бы бутылочку! Еще бы, якуня-макуня...

— Не мешало бы! — Хозяева посмотрели на Ма-Муувема.

Он самодовольно погладил усики:

— Понравилась винка?

— Шипко! — громче всех похвалил Сенька Германец. Он с каждым глотком спирта чувствовал себя храбрее и храбрее.

Бабы тоже были не прочь повторить и потому лишь для порядка шикнули на мужиков.

— Будет вам!

Ма-Муувем похлопал по другому своему карману.

— Кажется, тут еще винка была,— сказал он, задрал подол парки и извлек вторую сулею спирта, мутного, наверняка разведенного.

Мужики радостно зашумели, дружно потянулись к ней.

И опять Ма-Муувем отвел руку с бутылкой назад, назвав цену более высокую:

— Три ящика! — и для ясности показал на пальцах.

— Ого! — вытаращили глаза мужчины, а женщины всплеснули руками:

— Мать царица небесная! Разоренье!..

— Не хотите, пить не будем.— Ма-Муувем собрался запихнуть бутылку обратно в карман.

Знал — не устоят, такого еще не бывало. Не из жадности к водке, а так, из гордости. Бабы и те хоть за головы схватятся, а не очень запротивятся.

Торг состоялся, и пир продолжался.

Ма-Муувем снял парку, остался в красной рубахе и жилете. Нисколько не смущаясь, он продолжал угощаться спиртом, проданным за баснословную цену.

Женщины, заметно опьянев, затужили: нет хлеба, жаль детей. Больше всех горевала Елення, не зная, чем отпотчевать сына-именинника.

— Рыбы хочешь? — уже в который раз предлагала она.

— Да нет же! — отворачивался Илька.

— А варку? Или сметанки? Творогу, может, с молочком?

— Не-ет.— Сынишка упрямо крутил головой.— Хлеба хочу. Мя-я-ягонького.

У Еленни сжималось сердце: самого необходимого не может дать ребенку.

Ма-Муувем окинул взглядом Ильку, покачал головой:

— Худо, худо! Жалко именинника.— И вдруг встал на ноги. Чуть пошатываясь, подошел к воде и властно, по-хозяйски крикнул Ермилке — тот копошился возле чума:

— Э-ге-гей! Лодку мою сюда! Живо! На мель, гляди, не посади!

И все услышали ответ:

— Сейчас, хозяин!

Пармщики не знали, что и думать: уезжает старшина, даже не повеселившись. А как же соль?..

— Елення, тащи скорее гудэк! Споем, повеселим старшину, мать родная! — тронул Гриш жену за плечо.

Елення сбегала в избу, принесла тальянку. Гриш, приняв гармонь, как водится, подмигнул слушателям и, подыгрывая себе, задорно запел известную зырянскую песню:

Ах, широка улица, улица!
Ах, весела улица, улица!
Доли-шели, ноли-шели,
Ах, хороша улица!

Мишка Караванщик слушал молча, Гажа-Эль и Сенька Германец стали нестройно подтягивать. Старшие женщины к ним не присоединились — петь с пьяными мужиками не принято. Но молодуха Сандра и с ней все ребятишки подхватили, как умели:

Ах, живет тут девушка, девушка!
Ах, живет тут девушка, девушка!
Доли-шели, ноли-шели,
Ах, красотка девушка!
У девицы молодец, молодец!
У девицы молодец, молодец!
Доли-шели, ноли-шели,
Ах, красавец молодец...

Ма-Муувем, словно не выдержав, а может быть, с расчетом пуще развеселить и расположить к себе зырян, одобрительно крикнул: «Ям, ям!» — и пошел плясать посвоему, подпрыгивая и широко расставляя полусогнутые ноги, дергая плечами, локтями...

За ним пустился в пляс Мишка, выписывая кренделя почище ма-муувемовских.

Стало весело. Давно уж кончилась песня, а плясуны никак не останавливались, выделывали такие выкрутасы, что все животики надрывали.

Тем временем Ермилка с отцом пригнали к берегу лодку старшины — большую калданку с шестью поперечинами, покрытую берестой. В лодке оказалось пуда четыре соли, а не «маленько», как хитрил Ма-Муувем, кроме того, два пудовых мешка муки, плитка чаю, фунта два запылившегося комкового сахару, две бутылки водки и больше фунта листового табаку.

Зыряне глазам своим не верили.

— Вот какой я добрый,— показывая товар, выхвалял-

ся Ма-Муувем.— Ничего не жалею. А не богач какой-нибудь. Самому тоже надо.

— Помасипо, помасипо! Спасибо, спасибо! — разноголосо, восторженно благодарили зыряне старшину, будто получали от него подарок или товар задешево.— Теперь мы малость спасены!

Ма-Муувем не спешил начинать торг, называть цену. Он потребовал вначале рассчитаться за выпитый спирт. Пармщиков обидело недоверие к ним. Хмель кружил им головы, но они принялись перетаскивать на носилках в лодку хантыйского старшины ящики с рыбой. Возможно, они уже чувствовали себя одураченными, но отступить было невозможно: вдруг Ма-Муувем рассердится и увезет назад соблазнительные продукты...

Старшина не поленился, осмотрел и обнюхал рыбу, вываленную из пяти ящиков в его лодку.

— Ям, ям. Вот теперь будем торговаться...

— Ой, беда! Опять, поди, разоришь! — забеспокоились женщины, теснясь возле лодки и не сводя глаз с продуктов.

— Нельзя дешево. Никак нельзя.— Ма-Муувем говорил деловито, строго, будто и не пил, не плясал.— Но рыбы не надо! Денег не надо! Сегодня деньги одни, завтра деньги другие. Зря пропадут.

— Да у нас и деньги-то не водятся. Кроме рыбы-варки, ничего нет. Убоги во всем,— не очень умело вел торг Гриш.

— Охотиться-то будете зимой? — хитро сощурился Ма-Муувем.

— Будем, будем.— Гажа-Эль все внимание сосредоточил на бутылках, торчавших из берестяного лукошка.— Заберем все! Верно, мужики?

Недоброе почудилось зырянам в намеке старшины. Пьяны были, а удержались, не выразили согласия с Гажа-Элем. «Опутывает, чай, как Ермилку? — переглянулись Мишка с Сенькой и, не сговариваясь, повернули головы к Гришу, как бы говоря: — Коли что, так на себя и Эля полагайся...»

Странная ухмылочка блуждала по лицу Гриша. Не будь он под хмельком, пожалуй, призадумался бы над словами старшины, а сейчас лишь внутренне подсмеивался над ним.

«Хитростный какой. Хочет поймать нас, как рыбешек! Самому бы не оказаться в дураках. Не то время! Сельсо-

вет, чай, не даст обмошеннить нас. Заберем, пожалуй, в долг, а там поглядим. Нужда-беда вон какая...»

Он подмигнул товарищам: не бойтесь!

— Так как же, мужики? Забираем добро под пушнину? — напирал Гажа-Эль.

— Беспременно! — как о давно решенном припечатал Гриш.— Договоримся за пори-пированием, мать родная!

С согласия Ма-Муувема зыряне перетащили соль и муку в сарай, подсыревший табак разложили сушить, водку поставили на праздничную скатерть-самобранку — гулять так гулять! А остальное отдали бабам на дележку.

— Счастье-то какое! Даже чай-сахар ради Илькиных именин! — ликовала Елення.

Радовались и подруги, давно уже тосковали они по настоящему чаю. Но продукты словно жгли им руки; деля их, женщины сокрушались:

— Как рассчитаемся-то мужики? В долги ведь непросветные залезаете спьяну-то...

— Ничего, женки! Тайга богата, мы пронырливы. Расплатимся,— успокаивал их Гриш.

Ма-Муувем с довольным видом вторил ему:

— Расплатятся, расплатятся! Надежные мужики! В долг даю, знаю — хорошие охотники.— А про себя он еще раньше решил: «Не смогут уплатить пушниной, отберу вон того быка, который возле сарая ходит. Никуда от меня не денутся. Не на своей земле промышляют. И юрты не ихние...»

Снова запировали.

Ермилка привез отца и жену с детьми. Они тоже присоединились к трапезе, выложив на стол и свое скромное угощение — сушеную рыбу.

После новой чарки Ма-Муувем повел торг. Он вытащил из кармана заранее приготовленную палочку — «долговую книжку» зырян. За все оптом он запросил тридцать связок беличьих шкурок — по десяти штук в каждой связке.

Наглость старшины отрезвила зырян. Мишка Карававщик протяжно свистнул. Женщины в отчаянии заметались: и отдавать продукты не хотелось, и брать было нельзя.

«Если принять без торга назначенную цену,— прикидывал Варов-Гриш,— Ма-Муувем заподозрит неладное...» И назвал:

— Двадцать связок!

— Пятнадцать связок, и то уйма! — удивился нерасчетливости товарища Гажа-Эль.— Добывать-то ноне нечем, да и будет ли еще белка...

— Будет. Ноне шишек много,— уверенно заявил Ма-Муувем.

Он принял цену Варов-Гриша. Добавил, что шкурку дорогого зверя — чернобурки или песца — примет за несколько связок беличьих.

— Быстро рассчитаетесь!

— Оно так, да зверь-то еще в тайге ходит-бродит,— поосторожничал Гриш.

За торгом с неослабным вниманием наблюдал Ермилка. Он не выказывал своих чувств, внешне оставался спокойным, ко всему безучастным, но про себя сокрушался: вот и зыряне попадают в сети старшины. Ермилке уж и подавно терпеть. Наверно, Гриш пьяный сильно. Большой долг!.. Никогда не кончат платить. Ермилка знает... Но молчать должен. Худо будет — старшина разгневается. Помирай тогда...

Ма-Муувем быстро сделал ножом на широкой гладкой палочке двадцать зарубок, потом привычно расщепил ее надвое. На одной половине ниже зарубок вырезал свой «ёш-пас» — родовой старшинский знак — в виде оленьих рогов. Эту половину передал Гришу. На второй дольке попросил его поставить свой «ёш-пас». Варов-Гриш концом ножа выцарапал на палочке первые буквы своего имени и фамилии. И старшина спрятал долговую палочку в карман своих залосненных штанов.

— Палочка надежнее бумажки,— сказал он удовлетворенно.— Палочка не вымокнет, не испортится. Долго терпит.

Гриш повертел свою палочку, размышляя, на кой ляд она, но, подражая старшине, сунул ее себе в карман.

3

Марья, жена Ермилки, и старая Пекла старательно заслоняли свои лица от сородичей мужчин краями платков, но, опьянев, позабыли об этом строгом правиле, а под конец и вовсе сняли платки. Потерял степенность, сделался безмерно шумным Ма-Муувем. У всех на глазах он обнимал Марью, лобызался с нею. А Пекла, не стесняясь, миловалась с Макар-ики. Сам Ермилка то ли не замечал ничего, то ли делал вид, будто равнодушен к уха-

живаниям старшины за его женой. Он раскачивался из стороны в сторону и протяжно пел какую-то бессловесную песню.

Гриш снова взялся за тальянку. И зыряне под его нестройную игру заголосили кто зырянскую песню, кто русскую.

— Ух, веселая выпиваловка-едаловка! — выкрикнула довольная Гаддя-Парасся. Как и другие женщины, она ради праздника приоделась. Вино разрумянило ее, от хорошего настроения морщинки на лице разгладились. Куда только девалась ее обычная озлобленность. Время от времени Парасся чему-то лукаво улыбалась, может быть, мыслям, бродившим в захмелевшей голове. А может, ее смешили жаркие взгляды синих Мишкиных глаз. Взгляды эти ловила она на себе. Они приятно волновали ее: не на Сандру пялит Караванщик глаза!

Мишка в самом деле не спускал глаз с Парасси, дивился: «А ведь ничего бабенка. Телесами обросла. Вот тебе и шкилета болезная!» Приятную перемену в Парассе он отметил еще раньше и время от времени ловил себя на мыслях о ней.

«Конечно, Парасся не так уж молода, и зоб ее не красит,— думал Мишка сейчас.— Зато баба, видать, не из холодных к мужику — вон сколько детей нарожала. А Сандра и не хворая, да не больно охоча до мужниной ласки, по сию пору почему-то порожняя. Нет, не по Мишке угадала жена. А может, Сандра и не любит его? С Романом раньше крутила. В Вотся-Горте бельишко ему стирала. Окромя их двоих, никого тогда на берегу не было».

От этих мыслей Мишке сделалось обидно.

Было уже под вечер. В небе, как случается в такой день, стали собираться белопенные вихрастые облака, предвещая грозу. Ханты поспешили покинуть празднество, отказавшись допивать оставшиеся полбутылки. Их не стали удерживать.

Жара и вино разморили людей. Но расходиться никому не хотелось. Гажа-Эль плеснул себе в чашку остатки спирта, выпил и, уставясь помутневшими глазами на свои могучие руки, вяло лежавшие на коленях, уныло запел по-зырянски:

Ох ты, солнышко мое,—
Молодое ты житье!
Молодое ты житье,
Эх, веселое бытье!..

— А ну, горлань понятливей! Я эту песню не слыхивал,— потребовал Мишка.

Рослый, широкий, будто разбухший от выпитого, Гажа-Эль закачался и запел громче:

Я к пятнадцати годам
Уж работал тут и там,
А двадцатый год минул —
Я в семье уж утонул...

Мишка вставил тут со смешком:

— Ну, на это ты способен. Вон какой бык!

— Пык, пык,— с трудом пошевелил губами Сенька. Он давно клевал носом и, совсем окосев, свалился на бок.

Мишка похлопал его по остренькому плечу:

— Ты тоже пык, только маленький. Спи! Баю-бай!

Гажа-Эль, ничего не видя и никого не слушая, продолжал изливать свою печаль в песне, которую, похоже, тут же и складывал:

Я в семье-то утонул —
Туже пояс затянул.
Стал трудиться день-деньской —
Лес валил в тайге глухой.
На замерзшем хлебе жил,
Вечно рваный я ходил,
Спал под елкой на снегу,
А все время был в долгу...

Голос Гажа-Эля задрожал, вот-вот сорвется, перейдет в рыдание. Мишка перестал над ним подтрунивать.

Всю-то жизнь я как во сне,
Будто лодка на волне:
Закружил водоворот,
И верчусь я круглый год...
Нету крыльев, чтоб взлететь,
Нет и сил, чтоб усидеть.
Так зачем же я томлюсь?
В лес пойду и удавлюсь!..

Тут Гажа-Эль поднял мокрое лицо, вскинул вверх правую руку, левую приложил к сердцу и с горькой усмешкой пропел концовку:

Эх ты, счастье ты мое,—
Солнцеликое житье!
Солнцеликое житье, да,
Эх, блаженное бытье!

— Толковая песня.— Мишка казался менее всех пьяным.— Только солоной водой-то умываться не след. Бабье это дело!

Гажа-Эль тяжело поднялся на ноги, смахнул рукой слезы и, пошатываясь, ударил в грудь кулаком:

— Про мою житуху эта песня! Я всю жизнь мытарствую. Силищи во мне уйма, а пользы нет. Опять в долг залез заодно с вами. Вся душа у меня в синяках, як-куня-мак-куня!

— М-да-а, солнцеликое житье! Хуже не надо,— пригорюнился и Гриш.

Песня Гажа-Эля нагнала на него тоску, и весь сегодняшний праздник показался никчемным. «Эх, нужда-беда наша!.. Был бы Куш-Юр рядом, взять бы этого обирателя за загривок да потрясти, как Озыр-Макку!.. А мы его еще поить-угощать». Варов-Гришу показалось, что долговая палочка через прореху в кармане царапает тело. Он нащупал ее, поправил, чтоб удобнее лежала, и первый раз подумал со страхом: вдруг сделка с Ма-Муувемом всамделишно оцарапает?

«И-го-го-го!» — вдруг раздалось громкое ржание. И перед осоловевшими мужиками из-за раскидистых тальников со стороны заливного луга предстал Гнедко.

— О! Гнедко! — закричал Гажа-Эль.— Почуял, что хозяин пьян. Спасибо, друг! Отведем душу горькую! — И, спотыкаясь, поплелся к коню.

Конь стоял по брюхо в траве, красивый, упитанный, вылощенный. Он высоко поднял голову и тревожно помахивал хвостом.

«И-го-го-го!» — заржал Гнедко снова и, подрагивая мускулами, шагнул навстречу Гажа-Элю.

Мишка привстал на колено.

— Вот дурной конь — дрожит, а идет на расправу. Тьфу!

— Привычка. Оба дурни, черт бы их побрал! — Гриш с трудом поднялся: — Не люблю издевательства над скотиной. Уйду! Да и гремит вон. Буди Сеньку! — И, прихватив гармошку, заковылял к избе.

Гремело все чаще. Потемневшие тучи закрыли солнце. Порывы ветра приносили крупные капли дождя. Вот-вот разразится гроза. Мишка призадумался, что делать с Сенькой, мертвецки пьяным. Оглянулся. Рядом никого — бабы и ребятишки разбрелись по домам, только Эль вертелся вокруг коня, держась за его гриву, похлопывал да поглаживал Гнедка по сытым бокам.

На минуту выскочили из избы Елення и Марья, торопливо забрали посуду, остатки еды и скрылись.

Мишка выругался и только примерился, как ухватить Сеньку в охапку,— вышла на двор Парасся, заметно пьяпая.

— Вот лешак, как налакался! — сказала она с досадой.— Тащи его скорее домой!

— Зачем домой? Там духота. В сарае прохладней, быстрей вытрезвится,— отозвался Мишка. И хотя один мог бы легко перенести Сеньку, крикнул Парассе: — Бери давай за ноги, а я под мышки. Помогай!

Они приподняли бесчувственного Сеньку с земли, понесли к сараю.

— Твоя-то Сандра тоже уморилась от водки. С непривычки, поди. Спит, храпит в избе,— зачем-то сказала Парасся.

— Да?! — обрадовался Мишка.

Войдя в сарай, он приказал:

— Дальше пронесем, дальше, вглубь. Ему там будет лучше, и мы укроемся от ливня.

Блеснула молния. Парасся торопливо прошептала:

— Свят, свят, свят...

Они положили Сеньку в дальний угол, меж бочек с рыбой, на ворох высохшей травы, отошли немного в сторону, стали у другого такого же вороха.

Открытую дверь словно занавесило тугими струями воды, льющимися из распоротого молниями неба.

— Теперь он спит еще крепче. Ни черта не слышит.— Мишка жарко дыхнул в лицо Парасси.

— Спит. А мы-то как проскочим к дому! Ох и льет! Боже ты мой! — Она вздрагивала отчего-то, вроде тревожилась.

— Ни одной души близко, одни мы,— будто успокаивая ее, выдохнул он и придвинулся совсем вплотную. Парасся не шелохнулась. Он обнял ее, притянул к себе:

— А ты похорошела...

Парасся отшатнулась от него, дернулась в слабой попытке вырваться.

— Ой, беда! Что ты делаешь? Мишка... Миша... Миш...

В это время промокший до костей Гажа-Эль вел за гриву к сараю послушного коня. Не доходя до сарая, он, видно, вспомнил, что кнут висит на стайке, на самом венце. Эль свернул и побрел к стайке, что-то бормоча. Там нашлась и узда.

Гажа-Эль привязал Гнедка к толстой старой березе, рядом со стайкой, и, захлебываясь ливнем, под адские

раскаты грома изо всей своей богатырской мочи стал стегать коня:

— За все мои муки!.. За рану в груди!.. За спаленную избу!.. За новые долги!.. За могутную силу, что задарма пропадает!.. Задарма пропадает!.. Як-куня-мак-куня!..

Глава десятая

НАПАСТЬ

1

На самом, можно сказать, пороге дома, когда Куш-Юр возвращался в Мужи из поездки в Вотся-Горт и рыбацкие станы, его подкарауливала беда.

Он уже причаливал к берегу, как вдруг услыхал истошный мальчишечий крик:

— То-ну-у-ут!..

Куш-Юр обернулся. На стрежне реки из воды едва выступала лодка, за которую держался человек, а рядом с ним беспомощно барахтался еще один. Невдалеке маячила голова не то коровы, не то бычка.

Куш-Юр повернул калданку к тонущим.

Течение быстро сносило их, а он за дорогу крепко устал, да и гребец он был не из важных.

Когда Куш-Юр настиг их, увидал — женщины. Одна, видимо, обессилев, уже скрылась под водой, и лишь длинные волосы ее змеились на быстрых струях реки. Вторая держалась за лодку. Крикнув ей: «Подержись!», Куш-Юр ухватил за волосы утопшую. С трудом затащил ее в калданку. Лодку раза два чуть было не перекувыркнуло, и он сам едва не пошел на дно.

Спасенной оказалась Эгрунь. От неожиданности и удивления Куш-Юр чертыхнулся. Скажи, как нарочно! Но было не до размышлений. На лице девушки ни кровиночки. Он быстро приложил ухо к ее груди — не дышит. Торопливо расстегнув кофту, стал делать искусственное дыхание.

Веки Эгруни дрогнули. Ну, будет жить. Тут вспомнил о второй женщине, которая держалась за лодку. Женщина исчезла, будто ее и не было.

Куш-Юр страшно выругался, подскочил к веслам, закружил калданку по тому месту, где еще минуты две

назад видел женщину, внимательно всматривался в воду.

— Нету... Нету... Нету...— кусал он себе губы.

От нервной дрожи знобило. Куш-Юр рванул калданку к берегу — авось кто-нибудь найдется с неводом.

Возле берега Эгрунь очнулась, узнала Куш-Юра.

— Председатель?.. А где тетя Эдэ?

Куш-Юр не ответил.

— Где тетя Эдэ?! — испуганно повторила Эгрунь. И вдруг запричитала, проклиная нетель, которую перевозила на остров, а та возьми да вывались из лодки...

В селе не оказалось никого, кроме Биасин-Гала. Все — от подростков до глубоких стариков — были на путине. Не нашлось даже плохонького невода.

Прихватив небольшой якорь с длинной веревкой, Гал и Куш-Юр помчали лодку на стрежень реки. Эгрунь, растерянная, простоволосая, мокрая, осталась на берегу.

— Эдэ спасать надо было, солдатскую вдову. Девчушка у ней, круглой сиротой осталась,— безучастно глядя на Эгрунь, укорил Биасин-Гал.

Куш-Юр вспыхнул:

— О чем толкуешь! До выбора ли было! Да и что мне Эгрунь!

Гал промолчал, но всем видом давал понять — мол, так и поверил...

Они доплыли до места возможной гибели Эдэ, закинули якорь, как уду в глубь реки, надеясь зацепить им утопшую.

Ничего из этого не вышло. До утра шарили по реке, а, кроме небольшой коряги, ничего не выудили. Промокли. Куш-Юр сидел на веслах уже более суток, едва держался. Но безрезультатность поисков угнетала его сильнее физической усталости.

Гал устал не меньше. В дальнейших поисках он не видел смысла.

— Якорь — не сеть, река — не лужа. Не поймать нам ее. А поймаем, не оживим уже. Всплывет. Или к берегу прибьет. Найдется.

Решили догнать полузатонувшую лодку, хоть ее доставить на берег.

Лодка-городовушка, по-местному базьяновка, захлестнутая водой, отяжелела. Ни черпака, ни другой подходящей посудины под руками не оказалось. Забуксировав базьяновку, они стали выхлестывать из нее воду через борт веслами, потом черпали фуражками. Работали долго.

Куш-Юр, не переставая, думал, как могла Эде так внезапно и бесшумно исчезнуть; высказал свое недоумение Биасин-Галу.

— Обыкновенное дело,— объяснил Гал.— Зырянская баба тонет быстро. Зырянки никогда не купаются, плавать не умеют, хоть на реке рождаются и помирают.

Солнце поднялось над прибрежными тальниками, когда в базьяновке воды осталось на четверть. Лодка всплыла.

— Глянь-ка, мать честная! Вот же где она, Эдэ-то! Рядом! — закричал Гал.

Под бортом базьяновки колыхался на воде подол сарафана...

Когда вытаскивали утопшую, пришлось отцеплять ее сарафан со здоровенного крючковатого гвоздя, торчавшего на кромке днища базьяновки. Видимо, силы несчастной иссякли, она не могла больше держаться за борт, а может, захлебнулась, но погубил ее этот крючок, за который зацепился сарафан. Она так и плыла под лодкой.

Гал обнажил голову.

— Кончилось ее вдовье мытарство. Муж на германке сгиб, да она все ждала его, честно. Вот была баба!

От этих слов Куш-Юра опять кинуло в озноб. Всматриваясь в лицо погибшей, он с болью думал, что ведь она могла сейчас и дышать и улыбаться, сообрази он нырнуть, заглянуть под днище или хотя бы сразу прихвати базьяновку на берег...

Терзаясь, искренне повинился:

— Дурак же я! Надо было лодку к берегу волочь. Может, ожила бы...

— Да-а, не о том ты думал...— Гал вроде бы чего-то не договорил.

Так показалось Куш-Юру, но он был подавлен и не мог возражать Галу...

На похоронах Эдэ он услышал то, что, по-видимому, не досказал Гал.

Позади Куш-Юра в процессии шли старухи, как водится, всхлипывали, жалели покойницу. Одна старуха довольно громко прошамкала:

— Молодому да холостому девка, ясно, дороже...

Куш-Юру показалось, что в спину ему больно ударили сухим комом. Он опустил плечи. Ему бы не молчать, обернуться, рассказать, как вышла незадача. Потом будет поздно. Но он молчал... А старушечьи суждения пошли гулять по селу.

Подогревало пересуды поведение Эгруни. Девушка откровенно искала с ним встреч. Увидит Куш-Юра — рассыплется в благодарностях: «Ты мой спаситель! Не ты — не ходила бы по земле. Ты, Роман Иванович, мне теперь всех дороже...» И так завораживающе глядит ему в глаза. А он видеть ее не мог. Как встретит, так серое лицо мертвой Эдэ встает у него перед глазами.

2

Сиротка Уля, дочка Эдэ, стала заботой Куш-Юра. Не только по обязанности, а и по какому-то необъяснимому чувству вины, которое не заглушалось в нем временем. Он помог переложить печь в избе сиротки, подыскал ей хороших квартирантов, чтоб было кому присматривать за Улей, ухаживать за ее коровой. Приносил девочке подарки — часть своего продуктового пайка. Навещал он ее довольно часто — через день-два.

Вот так однажды зашел он во двор Улиного дома и застал там Эгруню. Девушка доила корову. Хотел повернуться и уйти, но вместо этого прошел в избу. Эгрунь — следом за ним. Стала цедить молоко из подойника в крынки. Она радовалась гостю, суетилась, молоко из подойника расплескивалось.

— А где Уля?? — спросил Куш-Юр.

— Уехала с квартирантами за сеном. Я тут хозяйничаю.

Он встал, чтобы уйти. Эгрунь метнулась вперед, загородила дверь.

— Брезгуешь мною? Али не хороша? — спросила с вызовом, откинула голову, скрестила руки на груди. Она стояла прямо, горделиво, выставив вперед ногу.

— Ты-то хороша, да я — Тихэн полоумный,— вдруг вспомнил Куш-Юр гулянье на «мыльке». Он хотел сбить с Эгрунь игривость, но только раззадорил ее. Она засмеялась.

— Не забыл! Ой, председатель ты, председатель!..— И в ее устах это прозвучало как: «И ничего-то ты не понимаешь...»

Куш-Юр и не желал ничего понимать.

— Ну, вот что. Хватит комедию ломать! — сказал он резко.

Глаза ее удивленно округлились.

— Ты ничего не примечал?..— Она подошла к нему

почти вплотную.— Играла я, право слово. Намеренно тебя испытывала...

Что-то в нем дрогнуло, он ответил нарочито жестко:

— Все в тебе наигранно. Брось дурить. Надоела ты со своими выдумками.

Тут случилось то, чего он вовсе не ожидал. Эгрунь обвила его шею руками, прижалась щекою к его щеке и почти простонала в ухо:

— Милый ты мой! Любимый ты мой! Спаситель! Теперь вовсе не жить без тебя! — Слезы брызнули у нее из глаз. Она опустилась на колени, обняла его ноги.

Куш-Юр растерялся. В книгах он читал про такое.

«Хитрит, змея подколодная»,— мелькнуло у него в голове. «Стреножит тебя!» — вспомнилось предостережение Гриша. А руки невольно потянулись к девушке. Он поднял Эгрунь с пола, легонько провел рукой по мягким ее волосам, по хрупкому девичьему плечику.

— Обними же меня! Поцелуй! Обними...— стонала Эгрунь с болью, жарко.

Куш-Юр почувствовал, что-то словно закипело в нем, заструилось по телу. Он крепко обнял Эгрунь, припал к ее губам нежно и упоительно.

Сколько это длилось — миг или вечность... Сандра! Саша!.. Сашенька...

Эгрунина ладонь дрогнула на его плече, Куш-Юр очнулся.

Туман рассеялся. Стоит он, Роман... в избе утопшей Эдэ!

Куш-Юр резко оттолкнул от себя Эгрунь и выбежал из избы, даже не заметив, что без фуражки. Холодок лизнул ему голую голову. Вот ведь незадача, придется вернуться за картузом.

Кляня свою оплошку, он вошел в избу и заметил — на лице Эгруни мелькнула торжествующая усмешка.

Хотел влепить ей что-нибудь злое, обидное, чтоб не радовалась, змея, но подумал: все равно неверно расценит его бегство. Присел на лавку с намерением объясниться начистоту, стал крутить самокрутку.

Цигарка и так получалась ладная, а он ее еще старательнее приглаживал и поправлял, чувствуя, что это его успокаивает. Но вместе с успокоением приходил стыд — стыд за недавнюю растерянность. Вот показал себя...

Эгрунь опустилась рядом на корточки. Довольная и счастливая, положила ему голову на колени. Своим по-

спешным уходом он поверг ее в недоумение — ведь правится же она ему! Не может быть иначе! А отшивала его, чтоб посильнее приманить. Вот и целовал, как еще никто из парней ее не целовал... И вдруг сбежал! Но коль вернулся, так насовсем.

— Что хочу тебе сказать...— Она подняла голову, заглянула ему в глаза.— Перебирайся сюда... на квартиру... И я... Вместе будем... с Улей. Квартирантам скажешь — съедут.

Он закурил, перевел дух, почувствовал, что вполне устоит перед ней.

— Не быть нам вместе... Помиловаться можно. Но не по-моему это — жизнь тебе калечить... Не барин я какой...— К нему вернулась рассудительность.

— Отчего же не быть?! — у нее увлажнились глаза.

— Понимать должна.— Куш-Юр все же старался не встречаться с ее взглядом.

— Или не скусна? Целовал — не отрывался.— Эгрунь пыталась улыбнуться, чтоб не показать, как уязвлена его словами.

— Не в том дело. Девушка ты — лучше не надо. Разные мы...

— Отцом попрекаешь? Да что я — не сама по себе?! Да мне из его добра и капли не пришлось бы! Отдал бы замуж — и позабыл, как и звать!

— Нет, Эгрунь. У нас говорят: яблоко от яблони недалеко падает. А по-вашему — шишка возле кедра ложится... Совесть не позволит с Озыр-Митькой породниться. Да и народ не простит.

— Какой народ? Биасин-Гал?! — гневно сверкнула она глазами.

— Вот видишь... Нет уж, прости, а лучше прямо, по-хорошему. За целование спасибо — и прощай!

Он нахлобучил на голову фуражку и вышел из избы, даже не взглянув на нее.

— А все ж таки люба буду тебе! — бросила она ему вдогонку.

Куш-Юр радовался, что вырвался. Вдругорядь такое не случится. Он чувствовал какую-то ее силу над собой. И дал себе слово — никогда больше не видеться с Эгрунью. Верно сказал Варов-Гриш — стреножит она его.

Но быть верным слову не всегда удавалось.

Эгрунь не оставляла его. Дня не проходило, чтобы

где-нибудь не подловила. Увидит Куш-Юра, постарается задержать его хоть на минуточку, перебросится любезностью, шуткой. И все так заманчиво глядит на него. И даже людей не стыдится. Куш-Юр находил повод побыстрее отвязаться, уйти. Вот напасть! Сдурела девка! А может, нарочно, с умыслом заманивает? Он теперь не исключал и этого. Бродила мысль: Озыр-Митька, может, чего задумал? От такого всего жди, и сестру не пожалеет, что ему баба... Куш-Юр стал еще строже разговаривать с Эгрунью.

Как-то он переправился на лодке за Юган — обмерить поленницы заготовленных для Нардома и школы дров. Эгрунь, узнав об этом от Писаря-Филя, вырядилась во все лучшее и переправилась следом.

Она возникла перед Куш-Юром неожиданно и бесшумно. Плавно, играя тонким станом, выступила из-за поленниц. Он оторопел, отступил назад, чем немало развеселил ее.

— Испужался. А еще вояка...

— Как ты попала сюда?

— Как и ты — на лодочке-калданочке. Выследила милого.

— Для чего?

— Для свидания. Понравилось с тобой целоваться.

«У-у, нечистая сила, приползла искушать!» — Он со злостью взмахнул в воздухе палкой, приготовленной для обмера поленниц.

— Полегче! А то зашибешь невзначай, как Биасин-Гал жену...

— Ты мне не жена. Уходи! Слышь?

— Не уй-ду! — Она шагнула к нему, прошептала: — Хочешь, стану женой? Сейчас? Вон на той лужайке? Без венчания! Все одно в бога не веришь.

У него перехватило дыхание:

— Дура!.. Вырядилась... Поезжай, говорю! Не мешай.

Эгрунь и бровью не повела. Оглянувшись, посетовала, что кругом опил да мусор и посидеть-то негде. Велела Куш-Юру расстелить плащ.

Он помедлил, но расстелил.

Эгрунь легла, закинула руки за голову, потянулась. Увидев, как он зажмурился, поманила:

— Иди, иди сюда. Да не жмурься, слепцом не сделаю, не съем.

Куш-Юр подсел к ней, закурил.

— Вот что, Эгруня...— Он впервые назвал ее по имени.

Девушка встрепенулась, придвинулась к нему.

— Как ты сказал? Повтори. Ведь я знаю, любишь ты меня. Ох и глаза у тебя! Всю душу мою жгут. Гляди же на меня! Гляди! Милый, любимый...— Она уронила голову ему на руку.— Люблю ведь тебя...

— Верю... Но не быть нам парой. Пойми!

Эгрунь подняла голову. Насмешливо спросила:

— Опять про отца? Если любишь — все нипочем!

— Про отца — одно. Я люблю другую.

— Чурку-Сандру? — она беспечно махнула рукой.— Что с возу упало, то пропало.

— А забыть ее не могу.

— Не отберешь же ее назад у Караванщика. Или отберешь? По вашим безбожным законам...

— Не бреши...

— Любил ты ее когда-то. А сейчас меня любишь! Правда ведь?

— Нравишься ты мне. А любви не имею.— Куш-Юр прямо посмотрел ей в глаза. И она отвернулась.— У тебя ведь суженый есть, Яран-Яшка. Зачем же другого ищешь?

Эгрунь подскочила как ужаленная.

— Яшка?! Яран-Яшка мой суженый! — И захохотала.

— Все село об этом говорит. И Яшка сам сказывал мне... Объяснял, скоро свадьба ваша. И Озыр-Митька за вашу женитьбу. Разве не так?

Эгрунь помрачнела, насупилась.

— Да чхала я на них, на Митьку-живодера и на Яшку-недотепу. Пара ли он мне, Яшка-то? Тьфу...

— Зато работящий.

— Работящих много. Я сама такая, даром что из богатого рода. От меня все парни без вина хмелеют. Какого хочешь кликну — пойдет за меня в огонь и в воду. Да никого за тыщи не возьму. Ты мне нужен! А уже коль надумала, будешь моим!

«А может, вот оно — твое, счастье!» — застучало у Куш-Юра в голове. Но, тут же устыдившись своих мыслей, он поднялся.

Глава одиннадцатая

ВСТАНЬ-ТРАВА

1

У больного Ильки было много разных игрушек. Сделал их отец из дерева: конь с выгнутой шеей, лодки с веслами, пароход с мачтой и трубой. Был даже блестящий стеклянный шар. Но всего больше любил мальчик ваньку-встаньку, подарок дяди Пранэ.

— Дивная игрушка! — хвалил дядя Пранэ.— Как ни положь — встанет. Во, гляди.— И опрокидывал ваньку-встаньку. Но едва дядя отнимал руку, разрисованный деревянный человек вскакивал.— Недаром он ванька-встанька. Вот и ты тоже встанешь на ноги, коли стараться будешь.

Илька не расставался с игрушкой даже ночью. Привез ее с собой в Вотся-Горт. За долгий летний день кем только не бывал ванька-встанька: и всадником, и солдатом, и капитаном, и рыбаком.

А уж как старался мальчик перехитрить деревянного человечка, уложить его.

— Вот какой ловкий,— изумлялся Илька.— А я вот не могу встать. Стараюсь, стараюсь — и не могу.

— И не встанешь никогда,— безжалостно донимал черномазый Энька.— Ты — Илька-сидячка, а встанька — я. Энька-встанька. Во! — И, вскочив на ноги, он принимался прыгать, кривляться, дразнить: — Ты не можешь! Ты не можешь!

Илька терпел это, сносил. Но однажды заплакал горько-горько.

— Мама! Мама! Почему я не встанька? — всхлипывал он.

Елення сидела на корточках у раскрытого сундука и перебирала вещи.

— Ой, не знаю, детка! Богу, видно, так угодно.— Голос у нее надломился, она припала на край сундука, в беззвучном рыдании уткнула лицо в маленькие ярко-синие чулочки и детскую пыжиковую шапочку, порыжевшую от времени.

— Мамочка, а чего ты заплакала?

Елення зарыдала пуще.

— Ничего-то ты, милый мой, не помнишь... Ничего-то ты не знаешь... В чулочках этих бегал ты когда-то на

своих проворных ноженьках, бабочек ловил... Да как еще бегал. А теперь...— Еленния захлебывалась слезами.

Нет, Илька не помнил, как ходил и резвился на ножках. Но горестный рассказ о своей беде слышал не раз.

Приключилось это два года назад — летом тысяча девятьсот двадцатого года. Гражданская война на Севере только-только закончилась, и люди наконец вздохнули облегченно. Началась путина. Мужики выехали на промысел. Надо было запасаться рыбой на долгую зиму да и подзаработать немного. Гриш с двумя братьями уехал рыбачить за тридцать верст от Мужей. Разместились в маленькой промысловой юрте. Братья ловили рыбу ставными сетями на двух калданках. Поначалу дело не ладилось: часто перепадали дожди, штормило. И рыбаки отсиживались в юрте, коротая время кто как мог.

Ильке в ту пору минуло три года. Мальчик был смышленый, подвижный, говорливый. Соседи узнавали Ильку по голосу.

— Ях-я! — обычно извещал он о себе у закрытой двери.

Заслышав этот клич, люди спешили открыть.

— Ты на каком языке кричишь? — спрашивали его.

— На своем.— И мальчик показывал язык: — Во!

— Весь в папку,— смеялись взрослые.

Еленния в ту весну как-то отправилась на пристань продать пыжиковую шапку и взяла с собой Ильку, чтобы показать ему настоящий пароход.

Шапкой заинтересовалась проезжая старуха. Костлявая, чернолицая, носатая — прямо баба-яга из сказки. Купить шапку не купила, а Еленню напугала чуть не до смерти. Уставилась колючими глазищами на мальчика и сказала:

— Береги свое чадо. Могут сглазить...

— Ой, беда-беда! Тьфу, тьфу, тьфу! — всполошилась Еленния и заторопилась с сынишкой домой. Всю дорогу она причитала: — Сохрани господи! Сохрани господи!..

Дома Еленния рассказала всем о страшной старухе. Но прошло время, и о ней забыли.

Как бывает после непогоды, рыба пошла, да так обильно, что рыбаки не успевали с ее разделкой и засолкой. Братья решили вызвать на подсобу Еленню.

— Пускай и сынишку заберет с собой,— велел передать Гриш.— Легче будет бабушке, а то у нее по два внучонка на колено.

Еленния с сыном на попутной калданке выехали вечером. Слегка штормило, но, по всем приметам, к ночи должно было непременно выведриться. Еленния был одета тепло: длинный сарафан, кофта с подкладом, шаль на голове, бахилы на ногах. Для летней поры даже чересчур. И Ильку она закутала в меховую малицу с пестрой пыжиковой сорочкой поверху.

Все же, когда отчалили от села да выплыли на речной простор, студеный северный ветер стал пробирать до костей. Волны белыми гребешками колотили о борта, качали калданку. Вечернее солнце пугливо выглядывало сквозь рваные облака, река казалась то рыжей, то оранжевой, как сок морошки, то темно-синей, под цвет ночного зимнего неба.

— Неужто не стихнет? — встревожилась Еленния.

— Ничего. Доедем. Не впервой,— дымя костяной трубкой, успокоил ее кормчий, бывалый рыбак-ханты.

А резкий холодный ветер дул все сильнее. Грести становилось трудно. Лодка едва двигалась вперед. Ветер, подхватывая брызги от весел, бросал их людям в лицо. Укрыться было нечем и негде. Приходилось терпеть и работать веслами что есть мочи. Мальчик зябко ежился, испуганно глядел по сторонам широко раскрытыми глазами. Одежда на людях и поклажа вымокли.

Волнение гребцов усилилось, когда показался Каменный мыс. Река в этом месте словно усеяна камнями. В тихую погоду их хорошо видно и за десяток саженей, а в непогоду можно вблизи не заметить и либо лодку разбить, либо перевернуться. Чтобы объехать опасное место, вырулили на середину реки. Но там бушевали волны.

— Упаси господь! — молилась Еленния, когда лодка проваливалась в бездну или взлетала на гребне волны.

Илька вцепился в поперечную перекладину иззябшими ручонками, едва держался, чтоб не свалиться. Вскоре его стало слегка поташнивать. Сильный набег волны повалил мальчика на мешок с солью. Так он и остался лежать, беспомощно пытаясь укрыть лицо от ветра и брызг.

Еленния беспокойно глядела, как барахтается на соляном мешке сын, слышала его плач, но не могла кинуться к нему на помощь: новая, еще бо́льшая волна окатила их. Надо было грести и грести. Она лишь крикнула:

— Иленька, не вставай! Ой, боже сохрани!

А волны будто насмехались, хлестали и хлестали по

лодке, по беззащитному ребенку. Мальчик ревел, глотал соленую воду. Голосок его тонул в реве бури.

Внезапно ветер утих. Словно натешился своей силушкой. Хорошо бы Ильку переодеть в сухое, но не во что было. Елення только прикрыла его брезентом, чтоб не так студило.

К месту они подъехали на восходе солнца. Гриш радостно встретил жену и сына. Но мальчик был вял, ко всему безразличен.

— Спать хочет, отнеси его в юрту,— посоветовал Гриш.

Елення подняла на руки сына и испугалась: у Ильки закатились глаза. Он задыхался.

— Илечка! Иленька! Что с тобой, родненький? — тормошила она сынишку.— Ой, не уберегла я сыночка своего. Ой, беда-беда!..

К полудню голову мальчика свело набок, руки и ноги скрючило судорогой, он впал в беспамятство. Елення не находила себе места. Не выдержал и Гриш: обхватив голову, заплакал...

Вот так приключилась беда с Илькой.

Полгода его кормили с ложечки. Постепенно головка выпрямилась, возвратилась речь, а ноги и руки не действовали и стали сохнуть.

Разное говорили о хвори малыша. Одни уверяли: сглазила его та струха, что встретилась Еленне на пристани. Другие предполагали — простыл мальчик. А дядя Петул-Вась, служивший когда-то санитаром в армии, утверждал: племянника разбил паралич.

Всех окрестных бабок и гадалок обегала Елення. Она дала обет: если сын поправится, сходить в Абалакский монастырь, что возле Тобольска, за полторы тысячи верст.

По совету Петул-Вася Ильку каждый вечер сажали в деревянное корыто с горячей водой, сдобренной муравьиным настоем, укрывали с головой покрывалом. Мальчик задыхался, ревел, но его парили и парили, приговаривали:

— Коньэр ты наш... Потерпи чуток... Потерпи...

А ласковая и говорливая бабушка Анн лечила внука еще по-своему: натирала его куском красного сукна, смоченного каким-то вонючим мутноватым зельем. У Ильки противно щемило в носу, кружилась голова. Натертое тело горело, мальчик стонал от боли.

Прошло больше года. Илька научился сидеть. А вот

ползать долго еще не мог. Не было силы в ослабших руках. Чтобы заставить сына ползать, Гриш приделал колесики игрушечному коню. Илька тронет коня, тот откатится, и мальчик поневоле ползет, догоняет игрушку.

По вечерам в избе часто собирались соседи, знакомые. Кто с мальчиком поиграет, кто забавное расскажет. Больше других с ним возился Мишка Караванщик.

Однажды он принес большой темно-зеленый увесистый шар. С виду — стеклянный.

— Что ты, Миш! Стекло разве годится в игрушки? Разобьется шар, порежется ребятня,— забеспокоился Гриш.

Мишка хитро улыбнулся, положил шар на стол, легонько подтолкнул его. Шар упал, стукнулся о пол, чуть подскочил и покатился к сидевшему на полу Ильке.

— Это поплавок от морской сети,— объяснил Мишка.— Увесистый, а в утробе пустой. Плавает за милую душу. И не бьется. На Обской губе подобрал. С моря приливом пригнало. Заморский, поди. У тобольских богатеев этаких не встречал. У тех одни деревяшки. А этот —во! Давно берег. На память о караванной житухе.

Шар сделал свое: гоняясь за ним, Илька с каждым днем все дальше и дальше отползал от постеленной для него оленьей шкуры.

У родителей появилась надежда: авось и без докторов станет сын на ноги. Докторов не было ни в Березове, ни в Обдорске, а про более дальние места никто и не помышлял.

...На масленице с Илькой приключилась новая беда.

Весь день мимо их дома катался народ на разукрашенных оленьих упряжках, на лошадях — верхом, в кошевках и в розвальнях. Улица звенела бубенчиками, колокольчиками, оглашалась гиканьем разодетых в праздничные малицы и меховые пимы разудалых ездоков, смехом и пением нарядных девушек.

В праздник всех тянуло за ворота. В избе осталась одна старуха Анн с малышами.

Илька попросил бабушку усадить его на сундук перед окном, чтобы он мог полюбоваться на шумное, веселое катание.

Бабушка уважила внука и сама глядела в окно. Но тут в зыбке заплакал другой внучонок. Она оставила Ильку одного. Мальчик сидел спокойно, смотрел и вдруг увидел мчащуюся упряжку белых оленей, обрадовался

им, рванулся вперед, с силой навалился на окно. Стекло треснуло и, будто острыми клыками, впилось в его лицо.

Родители за воротами услыхали крик Ильки, кинулись в избу. А там уже в беспамятстве бабушка Анн. Насилу высвободили окровавленного мальчишку. Петул-Вась зашил раны на щеке ребенка. Мало-помалу они зажили. Но шрамы остались. Видимо, на всю жизнь.

2

В Вотся-Горте Илька ползал уже бойчее, подолгу играл на лужайке, катая забавный стеклянный шар.

Однажды шар укатился с лужайки. Мальчик пополз за ним в траву, густую и высокую, с цветами, весь вымок в росе. Мать увидела его мокрющего, всплеснула руками, подхватила и — бегом в избу, обтирать, укутывать.

— Только бы не расхворался! — тревожилась Елення.

Невелико событие, но и о нем был разговор за обедом, когда вернулись рыбаки. Обо всем у пармщиков судачили, что за день случалось: и о значительном и о малом.

— Зря тревожишься. Илью Муромца купали в росе и вылечили,— тоном знающего человека успокоил Еленню Мишка.— Илья-то Муромец сызмала был калекой. Вроде вашего Ильки. А выкупали его в трех росах — и на ноги встал. Да еще богатырем сделался. Слыхали, чай?

Запали эти слова Еленне в голову, и стала она купать сына в росе — перед сном и рано утром. Вынесет голенького из избы, положит в мокрую от росы, прохладную, шелковистую траву и катает мальчика по ней под веселый говор и смех ребятишек.

— Ой, щекотно! Ой, хватит! Я уже мокрый! — молил Илька, хихикая и корчась.

А мать ему в ответ:

— Еще, еще, мой заинька! Еще, еще, мой маленький! Роса — травяная слеза. Чистая, радостная. Самая для тебя пользительная. Особливо со цветочков душистых. Вон сколько их ясных слезинок-бусинок в синих колокольчиках! Все их выльем-вытрясем на тебя, роднушечка мой.— И она стряхивала росу на бледное тельце сына.

Ребятишки вокруг звенели:

— Теперь Илька будет встанька!

— Илька-богатырь!..

— Правда, мама? — радовался Илька.

— Правда, правда,— подтверждала мать.

Мокрого, как после настоящего купания, Елення укладывала сына в постель, укрывала потеплее.

Однажды вечером после такого купания взрослые в избе заслушались Мишкиных рассказов про то, как калики перехожие напоили Илью Муромца зельем из встань-травы.

— Выпил Илья и сам себе не верит,— рассказывал Мишка.— Стоит совсем здоровехонек. Силушка покою не дает — так и прет из него. Схватил Илья дерево, дернул легонько и вырвал с корнем, будто травинку из сырой земли. Пошел в поле к старикам своим. Те рты разинули — сын ли это? А Илья вмиг очистил полюшко от вековечных деревьев и пней. Потом взялся за соху да тут же вспахал все полюшко безо всякого коня. Родители рады-радешеньки — сын Илья богатырем стал...

— Нам бы ту травушку найти, нашего Ильку вылечить,— вздохнула Елення.— Ведь есть же где-то. Не зря молва-то идет исстари о той травушке.

— Какова хоть она? Может, встречается, да не знаем,— разделила горе соседки Марья.

Взрослые еще долго говорили о других богатырях как о правде-бывальщине. Ребятишки слушали затаенно, веря каждому слову.

Не спалось Ильке в тот вечер. Давно умолкли дети, заснули крепким сном. А он все ворочается. Его детское воображение рисует яркие, сказочные картины.

Вот сидит он один в этой самой избе. Приходят нищие в дырявых малицах, в старых пимах. Точь-в-точь такие, какие ходили по домам в Мужах. Просят они Ильку подать молочка напиться, а он не может с полу встать. Нищие достают из сумы сулею, наливают из нее чего-то в чашку, говорят: «Выпей настой встань-травы». И верно, пахнет из чашки цветами-травой. Он пьет, оторваться не может: сладко. И чувствует — руки-ноги его здоровеют. Илька вскакивает, как другие ребятишки, как Февра, как Энька. Бежит в сарай за молоком, поит нищих из деревянного ковша-утки. Попили те и куда-то исчезли, словно и не было их. А он идет из избы к родителям, к пармщикам. Те рты разевают, удивляются:

— Смотрите, какой Илька стал! Здоровей Гажа-Эля!

Он тут же берется тянуть невод и один вытаскивает его на берег с уймой рыбы — такого улова еще не видали. Все ахают. А ребятишки кричат:

— Встал Илька-встанька! Встал Илька-встанька! Илька-встанька! Илька-встанька!

Но Илька не сердится на них, маленьких, глупеньких. Он садится в самую большую калданку и гребет — сам, один,— в Мужи, к бабушке Анн.

— Ну вот и я, старая, успела увидеть внука моего любимого здоровым,— говорит бабушка, а по щекам ее текут слезы, забегают в ямочки-морщинки.— Таким и должен ты быть — в добром теле, весь в меня.

Он гладит бабушку нежно-нежно, как она его, бывало.

Подходит дядя Пранэ, поглаживает свои темные усики, радуется:

— Ах, какой ты молодец, крестник! Оправдал мою надежду. Не зря я дарил тебе игрушку — ваньку-встаньку. А сейчас подарю своего Воронка. Вырос жеребец в богатырского коня.

И вот он, Илька, уже на Воронке. Конь копытами стучит, земля дрожит. Меч у Ильки большой, что оглобля. Он трогает коня и едет на бой с беляками. Раз, раз, раз — всех мечом перебил. Один Озыр-Митька остался. Илька нагоняет его у ворот, Озыр-Митька испуганно дрожит, падает на колени, обещает никогда не обижать бедных людей...

Илька незаметно засыпает. Ему снится, будто его все купают и купают в росе. Он тут же превращается в большого, крепкого и пузатого ваньку-встаньку. Как ни положат его, он вскакивает. Ребятишки тычут в него пальцами, дразнят: «Ванька-встанька! Ванька-встанька!» Ему хочется ответить им, но рот никак не раскрывается: ведь он игрушка с разрисованным лицом. Деревянная игрушка. От этого становится еще обиднее. Илька громко плачет и... просыпается. Плачет и напуганная, склонившаяся над ним мать. Поворачивает сынишку на другой бок. Он засыпает без сновидений.

С той ночи Илька, оставаясь в избе один, трепетно поджидал заветных нищих, калик перехожих. Но они не являлись... Всякий раз, когда взрослые уходили в лес или на луг, мальчик напоминал им:

— Про встань-траву не забудьте. Ищите хорошенько.

А когда те возвращались, спешил узнать, нашли ли. И хмурился:

— Значит, плохо ищете. Я когда-нибудь сам найду...

3

После ильина дня Ильку перестали купать в росе. Цветы отцвели, травы поблекли, огрубели. Выпадал иней. Чувствовалось приближение осени.

В воскресенье уговорились идти в тайгу за кедровыми шишками. И старших ребятишек взяли. Упросился с ними и Илька.

Кухарить и присматривать за малышами была очередь Парасси. Она охотно осталась.

Утром неожиданно разболелись зубы у Мишки Караванщика. Он вышел к завтраку обвязанный платком, морщился, то и дело прикладывая руку к щеке. Никто не удивился: застудил, видать, погода-то холодает. Его тоже оставили дома.

Сандру это обстоятельство немного озадачило. Ни с вечера, ни ночью муж не жаловался на зубную боль. С некоторых пор она заметила в Мишке перемену: стал спокойнее с нею. Вот только бессонницами мается. Средь ночи встает и слоняется где-то по острову, подолгу не возвращается. И этой ночью выходил. Может, и простыл.

Наказав Парассе последить и за Мишкой, в случае надобности пособить ему, Сандра отправилась в лес.

На гористую сторону Хашгорт-Егана переехали на неводнике.

Лес здесь такой, что и бывалым лесовикам на диво. Кедрач высокий, густой!

Ильку оставили в лодке, а сами ушли по галечному берегу в бор, начинавшийся у воды. Вскоре совсем неподалеку то в одном месте, то в другом раздались удары палок — колотили по стволам деревьев, стряхивая шишки на землю. Мальчику сделалось до слез обидно, и он стал кликать мать. Она, видно, была далеко, зова долго не слышала, а когда наконец подбежала, он едва не ревел:

— Мама, найди поскорее встань-траву-у! Я тоже хочу шишковать!

— Ищу, милый, да все не везет.— Еленья подняла сынишку на руки, вздохнула — тяжел уже Илька — и понесла к лесу.— Сейчас поищем вместе. Может, сам найдешь, укажет тебе боженька милостливый.

— А он тут живет?

— Он повсюду, где помнят о нем. Молись, проси его помощи.

Тяжело ступая между кустами, задевая их широким

сарафаном, Елення пробиралась вверх по кочастому склону горы. То и дело она натыкалась на толстоствольные кориcтые деревья, прикрывала лицо сынишки рукавом кофты, чтобы не оцарапали его густые, в длинных зеленых иглах, ветви. Ветви были затянуты паутиной. Паутиной, казалось, опутан был весь лес. А Илька, моля мысленно боженьку, во все глаза высматривал на земле заветную встань-траву.

— Вон встань-трава! В кусте! — Он показал рукой на незнакомое ему растение с узкими, как иглы, листьями.

— Это багульник. Им покойников окуривают,— объяснила Елення. Она опустила Ильку на сухое местечко возле кустарника, поправила под ним подол его легкой летней малицы.— Посиди тут, а я примусь за работу.

Илька загрустил. Огляделся. Рядом сновали ребята. Энька палкой сшибал шишки с нависших от тяжести ветвей, собирал добычу в кучу. А Сенькины дочурки, задрав головы, восторженно подпрыгивали. Встречая черный град шишек, сыпавшихся с верхушки высокого развесистого кедра, они радостно визжали. Их папка вскарабкался чуть не на самую вершину дерева и длинной палкой сшибал темные созревшие плоды. Ай да папка! Ловок и удачлив! Девчонки только успевай собирать.

— А где наш папка? Почему не на дереве? — спросил Илька Еленню.

— Далеко, видать, ушли они с дядей Элем, в самую глушь лесную. Тоже лазает по кедрам, не без того. А шишек ноне много.— И Елення окликнула: — Февра! Не ходи далеко, заблудишься! Тут тайга тайгой! Медведи да всякие зверюги! Таскай шишки к брату, веселее ему будет.

С пустым мешком и большим, как ведро, лукошком Елення скрылась за деревьями. Февра подтащила к брату полное лукошко шишек, вывалила их рядом с ним.

— Во сколько! Крупные, спелые, без серы! Ешь, щелкай, Илька, свеженькие орешки.— И вприпрыжку убежала к ребятам.

Илька выбрал из кучи шишку покрупнее, слабосильными пальцами кое-как отеребил чешуйки да защелкал орехи. А все равно невесело. Вот самому бы сшибать шишки! Взобрался бы на самый высокий кедр, повыше дяди Сени. Эх, если бы найти встань-траву! Неужели и здесь, в таком большом лесу, мама не найдет ее? А мо-

жет, поискать самому, поползать меж кустов? Вот подумать-подумать о боженьке, помолиться ему, попросить о помощи, а потом поползти...

Он отложил шишку и закрестился, зашептал, подражая бабушке Анн:

— Боже, ты всемогущий! Помоги мне, грешному, вылечиться. Помоги найти встань-траву. Мне ох как хочется ходить! Энька вот бегает, на дерево даже лазит, а я... Шишек собрал бы сколько! А то сижу да сижу. Не видишь разве, боженька?..— Что дальше сказать, он не знал и закончил на манер бабушки: — Прости нас, грешных, господи. Аминь!

И пополз за куст по мшистым кочкам. Попадались Ильке еще не осыпавшиеся ягоды — черные, красные, голубые. Он съедал их. Всякую траву он внимательно рассматривал, ощупывал руками. Но встречалась давно знакомая, а не особенная какая-то. Незаметно он переполз по влажной ямке к следующему кусту, от того — к третьему. И там не задержался. Штанина на правом его колене взмокла, холодила и малица. Февра с ребятишками, слышно, галдит уже где-то далеко.

Илька приполз еще к одному кусту и рядышком увидел какую-то незнакомую травинку: почти от самой земли на ней росли листья, а на листьях еще листья, мелкие, густые, как перья. И цвет у травинки зеленый-зеленый, не такой, как у других трав. А на нижней стороне листьев в два ряда — красные бугорочки.

Екнуло сердечко у мальчика — встань-трава! Он оглянулся — спросить не у кого. Вцепился обеими руками в траву, поднатужился и вырвал. Повертел ее перед глазами, понюхал — трава как трава. Поискал еще поблизости и опять нашел несколько таких травинок, даже покрупнее. Сорвал. Сердце колотилось радостно: боженька услышал его мольбу!

С крепко зажатой в кулачке заветной травой он пополз дальше, не чувствуя, что уже весь вымок. Пошарил еще в нескольких кусточках, однако безуспешно. Видно, боженька счел достаточным и этих травинок, чтобы стать Ильке здоровым.

Мальчишка не без труда возвратился на место, к куче шишек, спрятал находку в рукав малицы — не потерять бы. И та́к радостно ему стало, что хотелось лишь думать об одном — каким он будет здоровым, сильным, как станет ходить на ногах и бегать. Бегать, бегать!..

Февра принесла еще одно лукошко с шишками. Увидела мокрого братишку, ахнула:

— Илька, ползал, что ли? И рот-то весь черный от ягод. Надо было тебе в мокроту лезть! Нарвала бы сколь хочешь.

— А вот и не из-за ягод... Я что-то нашел. Боженька помог. Не скажу тебе... Я тоже буду бегать,— не утерпел, выдал свой секрет Илька, таинственно прижимая к животу рукав малицы.

Февра сморщила носик:

— Пфи, глупый дурашка! Промочил вон ноги. Вовсе отнимутся! Попадет тебе от мамки! Щелкал бы лучше орехи...

Но мать не ругала сынишку.

Илька не кинулся к ней со своей радостью. Он дождался прихода всех взрослых из леса и хитровато спросил:

— Вы опять не нашли встань-траву?

— Нет,— ответил за всех отец.— Не растет она, видать, в нашенских местах.

— А вот и не так! Растет она тут! Я боженьку попросил, поискал и нашел. Вот сюда, в рукав, запрятал!

— Да ну! — радостно всплеснули руками родители.— Вот повезло-то тебе! Покажешь дома. Сейчас поедем.

Только лодка пристала к Вотся-Горту, навстречу выбежала Парасся. Была она какая-то особенно приветливая.

— Управились за полдня? Насбирали-то сколь! И морошка! А крупнющая — что наперсток! — рассыпалась она в похвалах.

Теплый, даже ласковый голос, мягкий блеск ее глаз обратили на себя внимание женщин. У них ведь какой-то обостренный нюх на всякую томность и негу. Да и от мужиков не укрылась перемена в Гадде-Парассе.

— Ожила баба, якуня-макуня! Хоть сызнова замуж выдавай,— простодушно высказал Гажа-Эль то, что подумалось всем.

Сенька воспринял шутку с горделивым достоинством:

— На чужой каравай рот не разевай! Я пока живой!

Вокруг засмеялись, но сдержанно.

Сеньку это удивило, он, по обыкновению, заморгал, недоумевая, разве чего-то не так сказал?

Все тем бы и кончилось. Но случилось такое, что превратило перемену характера Парасси в подлинную загадку.

Может, без умысла, а может, что-то заподозрив, Сандра поинтересовалась:

— Караванщик-то мой не протянул тут кисы, маясь зубами? Аль ты вылечила его?

«Ну вот, пойдет заваруха»,— насторожились все, ожидая от Парасси ответного выпада. Но она добродушно отмахнулась:

— Больно мне нужно...

«С чего такая смирная?» — подивились и женщины и мужики.

Ильке не терпелось испробовать свою находку, он затеребил мать. Еленя стала выгружать мешки да лукошки. И другие принялись за дело. Парася бойко помогала Сеньке. Ее обычное визгливое покрикивание на мужа и детей разносилось по Вотся-Горту.

Как только пришли домой, Илька поспешил показать свою находку родителям.

— Во, глядите, встань-трава! Правда, правда! Боженька дал. Завари скорей, мама. Я выпью и выздоровею!

Отец пытливо осмотрел помятый пучок, понюхал, но попробовать траву на вкус воздержался. Такую он прежде, кажись, не встречал. А зелень всякая бывает, можно и отравиться.

— Надо хорошенько разузнать. Покажем Караванщику — он все же поболе нас видал,— решил Гриш.

А Мишка будто чуял, что нужен, сам пожаловал. Голова его была по-прежнему обвязана платком. Гриш сразу к нему:

— Ну-ка, Миш, глянь на эту траву-мураву. Что за диковина?

— Эта?.. Эта в сыром бору растет. Как ее... дай бог памяти...

— Встань-трава! — подсказал Илька. И замер.

— Иначе... Не выговорить сразу: па-по-рот-ник, вот как!

— Нет! Это встань-трава! — заревел Илька.

И взрослые, чтобы успокоить парнишку, согласились. Еленя в тот же день высушила пучок травы в блюдце на самоварной конфорке и заварила в чайнике. Получилась мутноватая жидкость без особого вкуса.

— Все же испытаем перво-наперво на живности. На кошке, что ль. Сдохнет, не велика беда. Зато остережемся,— не спешил Гриш.

Ребятам было жаль рисковать котом Васькой, да что

поделаешь. Они посадили кота к щербатому блюдечку, в которое налили остывшего травяного отвару. Васька попробовал и вылакал весь, видно, пить захотел.

— Теперь берегитесь. Если от этого питья-зелья кот начнет расти, то превратится в рысь,— с серьезным видом пошутил Гриш.

Еленя и Марья заохали.

— В пору ружье зарядить, якуня-макуня,— посмеялся Эль.— Не ровен час слопает нас кот. Аль поймать да кокнуть, пока не поздно?

— Не надо, дядя Эль! — взмолился Илька. Уж очень хотелось ему убедиться в волшебной силе травы.

Отец поддержал его:

— Подождем до завтра.

Весь вечер в избе только и разговору было о возможном чуде. Шелушили шишки, выжимали орехи на расстеленные мешковины и малицы. Илька подсоблял как мог, не сводя глаз с кота, который сначала потянулся, потом умылся лапой и преспокойно забрался на недавно сложенную печь.

— Кис, кис! — окликал его Илька время от времени.

Васька шевелил хвостом, поворачивал мордочку, жмурил зеленые глазки, будто говорил: «Пока все в порядке!» Когда в избе ложились спать, кот оставался прежним, небольшим, смиренным. Он залез к Ильке под одеяло и пошел мурлыкать. Поглаживая его, мальчик с грустью думал: «Нет, не подействовал настой на кота».

Прежде чем лечь, Гриш сам попробовал немного отвару. Почмокал, покрякал.

— Ого! Кажись, делаюсь богатырем-великаном.— Он шутливо зашевелил руками и плечами.

Илька радостно оторвался от подушки:

— Правда, папа?!

Гришу стало неловко.

— Нет, детка. Брешу я. Не к месту вообще-то.— И погасил огонь жировника в плошке.— Спать, спать. Утро вечера мудренее.

Долго опять не мог уснуть Илька, думая, как хорошо было бы вылечиться ему.

Утром отец разрешил мальчику выпить оставшийся отвар, заверив жену:

— Обычное растеньице, безвредное. Выпьет — успокоится.

Но Илька тешил себя догадкой: на отца с котом трава

потому не подействовала, что они и так здоровы, а он же калека. Дрожа от волнения, Илька опустошил чашку до дна.

— Теперь-то уж Илька наш будет встанька! — хлопала в ладоши Февра.

— И буду! — Иного Илька себе не представлял.

Весь день Илька жил как во сне. Вот-вот произойдет чудо! Он зашагает по избе, побежит на улицу... Терпеливо сидел мальчик у стола, вертел в руках ваньку-встаньку и потом молил боженьку. Февра с Энькой то и дело подбегали к нему, спрашивали, как он чувствует себя. Даже заставляли его вставать на ноги. Но он гнал их, продолжал ждать и молиться.

Вечером, когда все собрались в избе, Илька разрыдался неудержимо.

— Обманул меня боженька, обману-ул! Это не встань-трава была-а...

Мать в испуге кинулась к нему, зажала рот рукой.

— Ой, нельзя так про боженьку! Грех! Прости, господи, дите несмышленое!

— Не плачь! Бог слезам не верит,— печально произнес отец.

— Бог злой, только наказывает меня. Что я сделал ему худого? — всхлипывал мальчик и в сердцах швырнул к печке упорного ваньку-встаньку.

Глава двенадцатая

ПОХМЕЛЬЕ

1

Был на исходе август.

Уже ночи стали темными. Заметно холодало. Густые туманы, клубились над рекой, заползали на берег, окутывали кусты. Комары начисто сгинули. Без них дышалось легко и свободно.

Но появилась мошкара. Мелкая, как песчинки. Противная, надоедливая и вредная. Тело от нее зудело несносно. Хуже комарья были мошки. Есть на воле стало совсем невмоготу: уха ли, чай ли вмиг покрывались черным слоем, будто их густо наперчили. Хочешь — сдувай, не хочешь —ешь-хлебай прямо с присыпкой.

— Знать, самый что ни на есть мелкий пепел людоедский,— злились вотся-гортцы.

В Мужах такого горя они не испытывали. Пармщики все чаще вспоминали прежнее житье в селе. На работу выходили безотказно, дело делали, но больше молчком. Парассю и ту неслышно стало. Правда, нет-нет да прорвет ее. Но выкричится на детей да Сеньку и опять затихнет: то чему-то усмехается, а то в глазах тревога. Сандра и вовсе молчальницей стала, от всего отрешилась. Похоже, какая-то тяжесть ее давит. Елення с Марьей думали, понесла она,— давай советы сыпать... Но она не откликалась.

Гриш примечал перемены в бабах, да не больно ломал голову. Мужики его тревожили.

Он точно знал, когда все началось. Утром, после ильина дня. Проснулись тогда сами не свои. Хватили лишнего, мутило. А как еще вспомнили, что полсарая рыбы стоила пирушка... Друг дружке в глаза не глядели. Было бы чем похмелиться, может, не так томило бы душу.

Гриш никак не мог простить себе этой слабости. При их-то бедности так пировать! И как на грех — в Илькины именины. Вроде ради этого и устроили пированье и влезли в долг к Ма-Муувему всей пармой.

Об этом пока никто не говорил, но рано или поздно скажут, кто-нибудь затеет скандал.

Оттого и не радовала работа. Вернутся люди с рыбалки, выложат улов, разделают, засолят, а в мыслях один подсчет: не в прибыток добыча, пропитую убыль покрывают. А зима подойдет — и шкурки Ма-Муувему. Вороха шкурок...

Попробуй теперь не отдай! Ма-Муувем такое подстроит через своих людей, что не обрадуешься. И сельсовет подивится: на что они спьяна понадеялись?

Зиму целую на Ма-Муувема батрачить. От пушнины разживы не жди. А рыба есть рыба. Да и путина кончается, а соли в обрез. Куш-Юр ничего не шлет, видать, в мир-лавке пусто.

На ту соль, что Ма-Муувем отвалил, засолили рыбы в аккурат столько, сколько ему же за винку выложили. Как будто усчитал.

Чем сильнее холодало, тем тяжелей становилось на душе. Подходит пора бесполезного труда — на хантыйского старшину...

Горькое похмелье!..

Вслух никто не роптал. Но долго тревога таиться не может. И она прорвалась.

А началось все, как часто бывает, с пустяка...

2

Из-за мошкары есть стали врозь, по избам. Навареппое сообща, как уговорились, делили по едокам. Запечалился Гриш. Плохой, выходит, из него кормчий. А что делать?

Крытой столовой не было. И до нее ли! В пору управиться с тем, без чего не обойтись. Без бани бревенчатой, например. А могла быть и столовая. Не попировали бы в ильин день, и срубили бы — четыре мужика как-никак да Ермилка с Макар-ики.

«Вот так всегда: с ноги собьешься и пойдешь колдыбашиться»,— думал Гриш и гнал от себя мысль, что жить горсткой, вдали от племени своего, от села родного — все равно что в утлой калданке держать курс в открытом море. Бросают волны калданку как хотят, с пути сбивают. «Но нет! — говорил Гриш себе.— Наперед умнее буду править».

Приметил однажды Гриш паука на окне: забился тот в угол рамы и распустил свою сеть.

Поначалу без интереса, от нечего делать, поглядывал он на паука, но, как это часто бывало с Гришем, увлекся наблюдениями и уже подолгу не сводил глаз с насекомого.

— Вы того, не смахните паука-то ненароком. Я еще не все про него узнал,— предупреждал он домашних.

Как-то услышал этот наказ Гажа-Эль и укорил соседа:

— Дуришь все!..

Попрек задел Гриша.

— А много ты про паука знаешь?

— А что про него знать? Зряшнее дело...— Эль отвернулся.

— Нет, мил друг! — раззадорился Гриш.— Не зряшнее. Вникни, до чего хитро все состряпано. Сеть свою до чего искусно сплел — картинка, мать родная! И выставил с умом — поперек угла, как поперек реки-протоки. Закрыл путь комарам, мошкам, рыбкам своим. Сам в свой чум забрался, полеживает. А попадись только какая-нито живность в сеть, вмиг учует, заспешит нярхулом закусить.

Гажа-Эль хмыкнул. Гриш-таки задел его любопытство:

— Нярхулом... Может, и рыбка-то — соринка...

— Не-е... На соринку не кинется, будет дрыхнуть.

А комар ли, муха ли поймается, побежит... в одних подштанниках. Ей-бо! Во, гляди сюда...

Гриш взял со стола крошку сухаря и кинул ее в паутину. Паук никак не отозвался. Гриш торжествующе посмотрел на Гажа-Эля.

— Видал? Нет, брат! Не живая. Вроде камешка для него. Он и дрыхнет, сахарные сны видит...

Гриш был в ударе. Побросали свои дела жены, прекратили возню ребятишки, обступили Варов-Гриша. Всем занятно.

— Ну и Гриш! Брешет, как поп на молебне,— гоготал Эль.

— А сейчас подсунем ему живую рыбку...— Гриш оглянулся.

Остроглазая Февра быстро сообразила:

— Папа, вон позади тебя маленькая муха, о стекло бьется.

Гриш осторожно поймал мушку и бросил в паутину. В тот же миг из белого комочка — паучьего гнезда — выполз пузатый хозяин и бросился к живой добыче.

— Ну, что говорил! Полный угад! — Гриш потирал руки от удовольствия.

— Ой, паук муху ест! — воскликнул Илька.

— Нярхул свежует, будто сырка из мотни,— подхватил Гриш.— Ест и облизывается, аж завидки берут. Не подавится ни одной мушиной косточкой... Вон, управился уж. Без соли-хлеба. Чай, бедствуют, как и мы в сию пору...

Женщины смеялись от души, вытирали передниками глаза и губы. А детишки — те и вовсе держались за животики.

На паутине остались тонюсенькие, как волоски, мушиные остаточки. Паук еще немного поползал, будто выправляя сеть, и не спеша удалился в свое логово.

— Пошел сны досматривать,— подмигнул Гриш.

Гажа-Эль только головой покачал.

— Забавный ты мужик. Верно прозвали тебя — Варов. До всего тебе дело.

А Гриш дальше расписывает:

— Думаешь, как паук узнает в чуме своем про то, что в сеть попало? У него от сетки нитка в гнездо протянута. Лежит он себе, а нитку сторожит правой передней лапкой, может, и левой, если левша. Как мы, когда промышляем важаном. Сидим в лодке, сеть на дне, а от нее — нить на

палец намотана. Палец и чует, когда рыба в сеть зашла. Наберется ее в важане — и улов тянем.

— Смотри, паук у людей научился,— осклабился Эль.

— Не паук у людей, а люди у него. Паук-то в воду не полезет смотреть, как люди промышляют. А человек не час, не год высматривал — да и перенял. И не у одного паука. Ежели глазастым быть, многому подивишься. Вот муравьи, например. Ох и толковые твари! А до чего дружны и работящи! Вот где парма! Встречу муравейник — оторваться не могу. Плохо, не понимаю ихнего языка. Чай, и песни поют. Дерут, может, горло спьяна, а нам не слышно.

Когда он это говорил, в избу вошли Мишка Караванщик и Сенька Германец. С чего разговор начался, они не знали и спрашивать не стали. Подождав, когда Гриш кончит, Мишка заметил:

— Что верно, то верно: не паук по-людски, а люди по-паучьи и не только сети вяжут, а и в сети заманивают.

Хорошее настроение Гриша как ветром сдуло: ясно, на что намекал Мишка. Такое и ему приходило в голову, но он молчал, не желая напрасно будоражить Эля и женщин. Он не ответил Караванщику, как бы мимо ушей слова его пропустил. Но Мишка не унялся. После небольшой паузы снова за свое:

— Про пауков да муравьев — гладко. А с Ма-Муувемом как будем?

— Крепко гульнули,— подал голос Сенька. Можно было подумать, они пришли с целью завести этот разговор.

— Илькины именины справили.— Мишка подмигнул парнишке.

— Боже мой! Что они болтают! — Еленя кинулась к Ильке, словно хотела защитить его от новой беды, взяла на руки.— Сами вы, мужичье, затеяли пьянку, в долг залезли. Ой, беда, беда! — И убежала на кухоньку, готовая расплакаться.

Эль недоуменно развел руками:

— Какие именины?! Все пили, все и в ответе, якунямакуня!

— А вот и не все. Я тверезый был,— горячился Мишка.

Он так же яростно, как раньше настаивал на поездке

к хантыйскому старшине за солью, принялся ругать сделку с Ма-Муувемом, случившуюся, дескать, из-за Илькиных именин.

Гриш слушал Мишку и спрашивал себя: что это — неуживчивость такая в человеке, вздорность натуры или что-то посерьезнее?..

«В чужую душу не влезешь. А надо бы!» — думал Гриш. Он вспомнил, как охотно Мишка вошел в парму. Гриш радовался этому. По его мнению, партизан Мишка иначе и не мог. А теперь Гриш недоумевал:

«Зачем Мишка пристал к нам? Всем-то он недоволен, ничем ему не угодишь... Корысти искал?»

Не в пример прошлым стычкам Гриш решил больше не давать Мишке спуска. Но его опередил Эль.

— Твое дело, что не захмелел. Тебя не обносили,— вскипел он.

— И никаких именин мы специально не справляли. Не позорь себя, Миш,— резко сказал Гриш.— А если тверезый ты был, отчего молчал? Отчего товарищей не остановил?

Вмешались и женщины.

— Мы ли не урезонивали вас? Шибко дорого, мол, платите. На нас же озверились вы спьяну,— напомнила Марья.— А чем разжились-то? Опять последние сухарики. Чаю-сахару давно нет.

Такая жалоба только масла в огонь подлила. Мишка ухватился:

— И курево на исходе. А сколько рыбы отдали? Наперед задолжались! И обратно без хлеба-соли сидим! А все вы, мужичье...

— Какой же ты усчетливый, Миш. Пили да веселились — чего жалеть...— рассуждал Эль.

— Тебе что,— огрызнулся Мишка.— Не имел добрых портков и не заимеешь. А я не для того подался с вами, чтоб поедников да чужие рты кормить.

От этих слов встрепенулся Сенька:

— Одно другого не касаемо!

— Как не касаемо? — повысил голос Мишка, но тут в избу вошла Гаддя-Парасся. Он осекся, достал кисет, стал сворачивать цигарку.

Парасся осталась у входа. Оттуда ей все были видны. Увидела, она, что Марья переглянулась с Еленней, которая будто нарочно вышла из кухни. Парасся насторожилась, приняла решительную позу.

Мишка чертыхнулся на Парассю, на глазастых баб, заметивших внезапную осечку его,— это уж как пить дать. «Что ж, так и так время отчаливать от Парасси,— подумал он.— Побаловал — и хватит. Да она, дура, как липучка присосалась! Вовсе ошалела баба, понятия никакого не имеет. Как бы не затяжелела. Рыжим...»

Неожиданно для всех Мишка вдруг засмеялся. Закуривая, закашлялся дымом и, протянув кисет Сеньке, повторил, но уже с улыбкой:

— Не касаемо, не касаемо...

Мужчины ничего не усмотрели в этой короткой заминке.

«На попятную пошел.— Гриш воспринял такую перемену по-своему. Решил, что тот просто одумался, не встретив ни у кого поддержки.— Так-то лучше...»

Придет время, когда Варов-Гриш пожалеет, что ушел от спора, отступил от своего намерения не давать спуску Мишке: мирнее не всегда дружнее. В ту минуту Гриш этого еще не понимал. Ему очень хотелось мира и согласия между пармщиками. В спорах да ссорах им не перезимовать тут. По-доброму, по-хорошему, раз Мишка тон сбавил, можно про что угодно поговорить. Хоть и про беду, в которую попали. Добрый, хороший разговор никогда помехой не бывает. Он, как свежий ветерок в жару, обдует и успокоит.

— Обдурил нас Ма-Муувем — верно,— вздохнул Гриш.— Теперь мы в кабале у него. Долговая елка-палка вон за образами. Сжечь ее — раз плюнуть, да вторая половина у Ма-Муувема. А ну, как люди пронюхают, что мы вот так, не по чести, слово дали, да не сдержали, что про нас скажут? Думать и про это надо.

— Точно, якуня-макуня! Дурная слава пойдет о нас, снега зимой не выпросишь ни у кого.

— С другой стороны,— Гриш, казалось, взвешивал каждое слово,— потачку кровососам давать — тоже не след. Поедник он. На чужой нужде жируется. Была у меня думка в Мужи съездить, все председателю обсказать. Пусть власть выручает.

— Слышь, ведь это здорово! — гаркнул Мишка и стукнул кулаком по столу так, что посуда подскочила.

От этого его возгласа встрепенулась Парасся.

— Нечего на его толстую образину глядеть, людоед он поганый! Деток наших ест и нами закусывает! —выкрикнула она.

— Не-е,— покачал головой Эль.— Так меж людей не водится...

— Оно, конечно, кабы не за чертову винку...

Эль не дал Гришу закончить:

— Во! Самое.

— Что с того! Нет нынче правов — обдирать трудящих. За что мы воевали, партизанили?! — горячился Мишка.

— Ага! Все тело в шрамах,— забывшись, с горделивой нежностью удостоверила Парасся.

И опять Марья с Еленней переглянулись, толкнули друг дружку локотками. Парасся вспыхнула, поняв, что ляпнула не то, и визгливо крикнула женщинам:

— Что вы все перемигиваетесь, будто девчонки на мыльке!

— А ты нам не заказывай! — сверкнула глазами Марья, не обращая внимания на Еленню, которая теребила ее за рукав.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы в избу не влетел Энька с истошным криком: «Биа-пыж!.. Биа-пыж идет!»

Парасся была ближе всех к порогу и первая выскочила из избы, позабыв и про стычку. Другие от нее не отстали. Гриш успел даже прихватить на руки Ильку.

Время от времени мимо острова Вотся-Горта проходили по Большой Оби пароходы. Однажды проплыл даже караван двухтрубных судов с лихтерами. Но сейчас, спеша во двор, все надеялись, что идет наконец долгожданный катер из Мужей с продуктами, с новостями. Больше месяца, как обещал Куш-Юр.

Сандра раньше других высмотрела — пароход. И печально сообщила: «Не катер».

Все и сами видели.

— Наобещал с три короба...— буркнул Эль. Хоть и не назвал имени, а было ясно — кто.

— Забыл, видно, нас,— вздохнула Марья.— Без крошки хлеба заосенничаем.

Не утерпела Сандра, заступилась:

— Некогда, поди, ему. Председатель все же,— и зарделась.

— Тебя спрашивают? — грубо одернул жену Мишка.— Али ты больше всех про Романа знаешь?

Сандра стояла грустная.

— Заступница... Осень на дворе, не сегодня-завтра

шуга дорогу закроет,— ворчал Мишка.— Ждать станем — не миновать пауку в ножки кланяться. Так что, Гриш, и по одной думке и по другой — ехать надо!

Гриш не ответил Мишке. Позвал всех в избу. Когда вошли и устроились — кто на лавке, кто на полу, поджав ноги,— обратился к Сеньке:

— Ну, как, Сень, думаешь?

— Почему я? — насторожился Сенька.

— Элексей бает — не ехать, Михаил — ехать. Кого слушаться? — ухмыльнулся Гриш.

— А ты как? — спросил Сенька.

— Я — как ты,— продолжал шутить Гриш.

— А я — как ты,— серьезно ответил Сенька.

— Ехать не одному надо, рыбу с собой захватить да и другое кое-что. Только вдруг катер к нам в эту пору пойдет?

— Не будет катера. Поздно. Осень,— заявил Сенька.

Гриш поглядел на него в нерешительности.

— Значит, и ты — чтобы ехать... Едем! — заключил он.

В избе тотчас поднялся шум. Всем вдруг понадобилось в село. Старших девочек время в школу везти, матери заявили, что сами должны их устроить. Заодно и в церкви помолиться. У Мишки был тот довод, что он лучше Сеньки привычен бурлачить бечевой, а из-за обмелевших проток путь будет кружным, длиннее, кое-где придется тянуть лямку. Даже Гажа-Эль загорелся, надеясь разжиться в селе спиртным, но вслух этого, конечно, не высказал.

Гриш был уже и не рад, что согласился на поездку,— неделя уйдет, быстрее не обернуться. Значит, на неделю всякие работы в парме приостановятся. Вот оно, похмелье... Но уж так люди настроились ехать, что ничем не остановишь.

Одна Сандра помалкивала.

— Нечего мне там делать,— грустно сказала она. О, если б вернуть недавнее прошлое! Зачем надела бабаюр! Вперед всех летела бы туда, куда тянется сердце!..

Женщины обрадовались, что Сандра не поедет, давай ее упрашивать, чтоб понянчила малышей.

— Косточки у них мягкие, рук не намозолишь. От груди отучены. Хоть мука, да наперед тебе наука. Ты бойкая, да и в няньках бывала. Выдюжишь с недельку. А то нам их брать с собой — канительно...— наперебой уговаривали они.

Сандра и не отказывалась.

За караульщика оставили еще и Сеньку.

— Только вы с Сенькой-то... одни тут... не того...—лукаво пригрозила Парассья и залилась смехом.

Рассмеялись и другие.

— А вот и того! Тебе назло,— смерила ее ненавидящим взглядом Сандра и стремительно вышла из избы.

За спиной она услышала неожиданный гневный окрик Сеньки, видимо, адресованный жене: «Не брехай!»

Глава тринадцатая

В СЕТЯХ

1

Сплетни, вязкие, как мужевская осенняя грязь, облепили Куш-Юра. И ничего он не мог поделать. Каждое его действие толковалось вкривь и вкось. И непременно связывалось с Эгрунью.

Квартира, которую он снимал, находилась далековато от Совета, и добираться до нее, особенно вечером, по топкой глинистой тине, не просыхавшей за лето и раскисавшей после первых же осенних дождей, стало трудно. Все подмечающий Писарь-Филь присоветовал ему комнатушку в избе пожилой, три года назад овдовевшей Марпы-Абезихи. В отличие от многих мужевских хозяек Абезиха была чистоплотной. В селе она слыла умелой свахой, мастерицей оплакивать невест на свадьбе, этим и кормилась. Одно время она еще шинкарила, ночь-заполночь у нее можно было раздобыть самогону. Несколько раз ее уличали комсомольцы, наказывал Совет. И она бросила это занятие еще и потому, что ее десятилетний сын Евдок, не по летам рассудительный и работящий, противился запрещенной торговле. Евдок рыбачил сетями по-взрослому и приносил нажитка почти как заправский мужик. Концы с концами они сводили. Куш-Юр поколебался немного и переехал, прикинув: коль Абезиха пускает его во вторую комнатушку, значит, напрочь рвет с прошлым.

Но только он сменил квартиру, и поползли по селу разговорчики: «К Эгруньке поближе перебрался», «Сваха — она и сводня, в избе и проосенничают и позимовничают, за рекой-то сейчас не помилуешься». Ходила еще байка, будто это Эгрунька упросила Абезиху заманить к себе Куш-Юра, приворожить председателя.

Писарь-Филь каждое утро выкладывал какую-нибудь нелепицу. При этом он шумно возмущался, а втайне тешился сплетнями, радовался: уж теперь-то председатель у него на крючке. Куш-Юр в конце концов отказался слушать Филины новости. От них у него что-то да накипало и оседало на душе, не давало покоя.

В селе, каким забором ни огораживайся, каждый знает о другом все. Секретов не бывает. Стало известно и про заречную встречу председателя с Эгрунью. Откуда — Куш-Юр ума не мог приложить. У поленниц, кроме их двоих, живой души не видал — птица разве пролетала. Переезжали они реку в ту и другую сторону порознь, в разное время, на берегу никто не встретился. Сама Эгрунь растрезвонила? А зачем ей себя ославлять? Нарочно все подстроено, чтоб его оплести? Если так, артистка она, натуральнее не сыграть. Может, мстила, что не поддался ей? У баб такое бывает...

Эгрунь ли тому причина или другое что — не разберешь. Но неприязнь к председателю в селе росла и из тайной переходила в открытую.

Как-то однажды Куш-Юр шел берегом. Он дивился спаду воды. Ведь к самой горе подступала, а сейчас отошла саженей на пятнадцать, если не больше. Будто место высвободила, куда лодки поставить. Рыбаки возвратились с лова, лодок этих выстроилось столько, что к воде не подойти. Как добрые послушные лошадки стояли они. Испытав на своих просмоленных боках хлесткую ярость обской волны, они теперь покорно ждали, когда их выволокут к самой горе, на зимнее стояние. Кое-кто из разворотливых хозяев уже сделал это. Их лодки лежали опрокинутые вверх дном, подпертые колышками... Речные труженицы устроились спать до весны. Но таких было мало.

Большинство односельчан еще перевозило сено с заречных лугов. Вездесущие мальчишки еще рыбачили с лодок. То и дело парнишки с радостными возгласами выдергивали из воды зеленобоких рыбешек. Щурогаи — молодые щучки — обильно расплодились к этой поре, хорошо ловились на приманку из кусочков рыбы, даже соленой. Юным рыбакам не мешало сено, рассыпанное при выгрузке и плывшее под удилищами. Ручонки у мальчишек иззябли, стали иссиня-красными. Иные стояли и сейчас босоногие, в рваных измокших штанишках, зубами пощелкивали, поеживались, а удили — азарт рыбацкий с малых лет — рыболовы.

Куш-Юр остановился поглядеть на мальцов, прислушался к их разговорам, усмехнулся независимо-самостоятельному тону детей.

— Микулка! Петрук! Что вы знобитесь в этакую пору?! Лета не хватило вам? — окликнула тут двоих парнишек рослая зырянка. Она увязывала в лодке большую охапку сена, собираясь унести ее домой.

— А вам, тетка Малань, хватило? — с бойкой насмешечкой отозвался один из пареньков — белокурый, в вышарканной малице и таких же вышарканных бахилах.

— Сама-то не управилась с сеном,— солидно добавил второй, поменьше ростом, русоголовый. Он деловито насаживал приманку на самодельный, из проволоки, крючок.

Тетка Малань засмеялась, крикнула соседке:

— Смотри-ка! Зубоскалы какие у тебя...

Соседка прикрикнула на мальчишек:

— Ну, бездельники, попросите молочка, припомню, что не помогали матери сено таскать!..

— Мы и на щучках своих проживем,— важно ответил меньшенький.

На это Малань всплеснула руками:

— Ох и мальчишки в Мужах! Завольничали! Им слово, а они тебе — полный туесок.

Куш-Юр и не думал вступать в разговор, но мальчишки до того умилили его, что он громко их похвалил:

— Хорошие ребята! Боевые!

И будто спугнул всех. Мальчишки, пренебрежительно глянув на председателя, отвернулись, давая понять, что в его одобрении не нуждаются. Женщины, подхватив вязанки, заторопились в гору. Куш-Юр неловко потоптался, что-то невразумительное буркнул и побрел дальше,

2

В Совете его ждал Яран-Яшка. Сам, без вызова пришел. Одет парень был в чистую малицу, добротные сапоги, опоясан кожаным ремнем с ножнами. За лето скуластое лицо Яшки совсем почернело.

— Рассказывай, как промышлялось. Да присаживайся поближе! Рыбы-то много сдали? — вертя цигарку, спросил Куш-Юр как можно веселей и радушнее. Он не сомневался, что пришел Яшка к нему из-за сплетен об Эгруни.

— Маленько топыли,— негромко ответил ненец, не глядя председателю в глаза.

— Почему же маленько? У Озыр-Митьки да чтоб улов был плохой! Невод у Митьки лучше, чем у других, да и лишний пай он получал от ватаги. Так ведь?

Яшка наклонил голову. Говорить об этом ему, по-видимому, не хотелось.

— Что ж ты молчишь? Может, курить желаешь? Угощайся.— Куш-Юр пододвинул ненцу свой кисет.

Яшка не прикоснулся к табаку. Писарь-Филь громко скрипел пером и делал вид, будто его нисколько не интересует беседа председателя с ненцем. Потупив глаза, Яшка проговорил со вздохом:

— Тело есть. Прат послал.

— Какой брат? — не понял Куш-Юр.— Озыр-Митька, что ли?

— Ага.

— Ну и брат! Самый настоящий хозяин он, а ты батрак. Ты имеешь право получать с Озыр-Митьки надел за долгое батрачество. И мы поможем тебе по всем законам Советской власти. Понял?

Яшка гневно сверкнул глазами.

— Пошто так говорить! Какой я патрак? Я патрак нет! Моя том тама. Я тама вырос. Никута не уйту.

Филь уже не скрипел пером. Отложив ручку, он ловил каждое слово, сказанное Яшкой и председателем, и глаза его так и бегали с одного на другого.

— Женит тебя Митька на сестре и вовсе заарканит,— продолжал Куш-Юр.— Хочет ведь женить?

— Правта, правта,— в раскосых глазах Яшки сверкнула злоба.— А ты мне торога закрываешь. Ты! — Он ткнул пальцем в Куш-Юра, чтобы не было никакой неясности.

«Этого еще не хватало! — Куш-Юр покосился на Филя.— Ишь, уши развесил».

— Что ты, Яков! Наоборот, стараюсь, сколь могу, помочь и тебе и другим...

— Нет! Нет! Нет! Ты мне мешаешь! Торогу закрываешь! — Яшка вскочил.

Куш-Юр тоже встал, усадил Яшку на лавку, примостясь рядом, дружески обнял парня за плечи.

— Постой, постой, не горячись...

— Митька говорит — ты хутой человек,— не слушая его, продолжал Яшка.

— Для таких, как Озыр-Митька, я худой. А тебе — я друг.

Яшка скривил лицо.

— Какой труг? — Он снова вскочил, замахал руками.— Ты мне сватьба телать мешаешь! Пошто мешаешь? Пошто Эгруньку себе берешь? А?!

Куш-Юр ухватил Яшку за рукав малицы, снова усадил.

— Ты что мелешь, Яков? На что мне Эгрунька? Мы с ней тоже враги.

— Никакие не враги! — Ненец зло оскалил белые зубы.— Вы люповники! Эгрунька говорит. Она тебя люпит, ты ее люпишь... Чушой тевка любишь? Какой ты претсетатель! Тьфу!..

Куш-Юр уж и не знал, как вразумить разволновавшегося Яшку.

— Да успокойся, выслушай меня.— Он хотел взять ладонь парня в свои ладони, но Яшка отдернул руку:

— Нет! Слушать не хочу! Вчерась шум польшой пыл. Митька сватьба телать хочет, меня шенить. Эгрунька не хочет за меня. За тебя хочет. Ты мне торога закрыл. Зачем на чужой торога встал? Северный закон знаешь — нет? Терево на тороге свалилось, как ехать? Упрать надо! Вот так. Моя сказал все. Мась, конец! — выпалил он. Вскочил и выбежал, с силой хлопнув дверью.

3

Несколько дней спустя, в воскресенье, Куш-Юр отправился на лодке порыбачить.

Возвращался поздно вечером, один, греб несильно, думая невеселую думушку. Посреди протоки ему почудился какой-то шорох в прибрежных тальниковых зарослях. «Уж не утка ли?! — Он пожалел, что не захватил ружья. В тот же миг раздался выстрел. Куш-Юра ударило, словно кинули в него горсть мелких камней. Он схватился за ушибленное плечо и оторопело крикнул:

— Эй, по человеку стреляешь! Сдурел, что ли?!

В ответ раздался второй выстрел, и крупной дробью ударило ему в грудь. Куш-Юр пригнулся, лихорадочно ощупал себя: малица не пробита.

Сердце его зашлось, зубы противно лязгали, и весь он покрылся липкой испариной. Не шальные выстрелы, в него метили!

Куш-Юр замер, вжимаясь в лодку: пусть бандит подумает, что он ранен или убит. Знал, гад, где подкараулить — на самой середине протоки. Плыть дальше сейчас все одно что подставлять себя под выстрел, как мишень.

Его передернуло от ощущения полной беззащитности. С ним нет даже охотничьего ножа. А бандит может безбоязненно подойти, думая, что он мертв или ранен, прикончить его. Кажется, всплеснуло возле зарослей... Рывком выпрямившись, Куш-Юр рванул лодку вперед, и тут же о борт ее стукнули дробинки.

«Промахнулся! Пока перезарядит дробовик, дважды загребусь!» — пронеслось у него в мозгу, и он резко оттолкнулся веслами. Успел сделать не два, а четыре гребка, когда грохнул еще один выстрел. Но дробинки не достигли лодки — стрелявший или промахнулся в густевших сумерках, или лодка отплыла уже далеко.

Куш-Юр приободрился, но, пока не выехал из протоки, все пугливо озирался и вслушивался в шорохи.

И в открытой реке, и даже на берегу, в Мужах, его не покидала тревога. Кто знает, может, и за прибрежными амбарами, за стайками да банями таится сообщник стрелявшего?

Давно не был он под пулями и больше года как не испытывал никаких страхов — оттого и оружия не носил. Нервно дрожали руки, от внезапной слабости подкашивались ноги. Хорошо бы посидеть, передохнуть, но пустынный берег неприятен. Хотелось кинуть улов и поспешить домой, за оружием. Но подумалось, что к кривотолкам о нем прибавятся еще и насмешки над его рыбацкой неумелостью и незадачливостью: рыбак улова в лодке не оставляет...

Дома Куш-Юр достал наган, зарядил его. И отправился в Нардом в надежде застать там Вечку или кого-нибудь из комсомольцев, чтоб вместе с ними отправиться ловить стрелявшего.

Комсомольский секретарь был на гулянье.

В последнее время Вечка слегка охладел к Куш-Юру: сколько в селе бедняцких девушек, а председатель польстился на кулацкую дочку... Однако, услышав про выстрелы, загорелся желанием немедленно ловить бандита. Он вызвал еще двух надежных ребят, и вместе с Куш-Юром они стали обдумывать план действий.

Хотели отправиться на место покушения. Но передумали. Не станет бандит ждать их, уйдет на все четыре

стороны. Но скорее всего — в село. Они поспешили на берег — караулить, кто пристанет. Прождали до глубокой ночи — и все напрасно.

Наверное, опередил их.

— Кто бы это мог быть? — гадали парни. И, перебрав всех подозрительных, решили: Озыр-Митька.

— Айда к нему! — предложил Вечка.

«Яшка! Яран-Яшка! — осенило Куш-Юра. Как это он раньше не догадался. Куш-Юру вспомнились слова: «Северный закон знаешь? Терево на тороге свалилось, как ехать? Упрать надо». Ах, Яшка, Яшка, дурень ревнивый!»

— Сам Озыр-Митька не станет,— покачав головой, проговорил Куш-Юр.— Хитер. Не полезет, знает, что на подозрении. Другого кого натравит. Помощничка...

— Яран-Яшку? — в упор спросил Вечка.

Куш-Юр вздрогнул. Подивился сметливости комсомольского секретаря. И снова покачал головой, отвел подозрение.

Если бы кто-нибудь из селян застукал Яшку на месте преступления, может, и поверили бы люди в его виновность. А забери его лишь по подозрению — пойдут по селу разговоры, соперника, мол, убирает. Охотник, да чтоб не уложил человека четырьмя выстрелами,— не поверят...

«Обошлось — и ладно. Черт с ним, с дураком. При случае втолкую ему»,— еще раз подумал Куш-Юр.

Не понимая его колебаний, Вечка предложил:

— Пошли шарить по дворам! Найдем!

— Из-за одного гада село переполошим. Мало меня чернят? — решительно воспротивился Куш-Юр.

— А мы вроде бы самогонку ищем,— настаивал Вечка...

Но Куш-Юр не согласился. Поиски оставили до следующего дня.

Расспросы селян ничего парням не дали. Напасть на след стрелявшего им не удалось.

4

Прошла неделя.

В Мужи прибыл пароход с продуктами. На пароходе ехал инструктор укома партии, старый знакомый Куш-Юра. Когда-то они партизанили в одном отряде, а позднее не раз встречались на конференциях и совещаниях. Инструктор был лет на десять старше Куш-Юра, с густющей шевелюрой. Он любил порассуждать. В прениях выступал

одним из первых. Речи держал обстоятельные, по нескольку раз просил продлить время. Куш-Юр давно не показывался в уезде и обрадовался встрече: все узнает, можно и не ездить в Березово. И не ошибся. Пока выгружали товары для мужевской мир-лавки, инструктор выкладывал Куш-Юру новости.

Новости были сногсшибательные. Шапка Куш-Юра то и дело перемещалась с уха на ухо, со лба на затылок и обратно.

И раньше он слышал про нелады среди уездных и волостных руководителей. Один выше другого себя ставит. Теперь еще и кляузы развели. Березово на Обдорск жалуется, Обдорск на Березово. Грехи друг у дружки выискивают. А дело страдает. Целые стада оленей, отобранные у богачей, в тундре растеряны. Десятки тысяч голов. Коекого за это в тюрьму упекли.

Некоторых из арестованных Куш-Юр хорошо знал. Он высказал сомнение в их виновности: уж самое большое — недоглядели за кем-то, но чтоб умышленно сгубили — такого быть не может. На это инструктор, поправив очки в железной оправе, безапелляционно заметил: «То ли, другое ли — одинаково подрыв Советской власти. Гладить по головке нельзя!»

«Какой, однако! Дойди до его ушей сплетни про меня — тоже не погладит по головке! — подумалось Куш-Юру. Ему стали вдруг неприятны инструкторовы усы, которых тот прежде не носил.— Что за моду выдумал — сам на себя не похож».

А словоохотливый инструктор, подкручивая усики, уже следующую новину обсказывал.

Наконец-то начнется на Обском Севере чистка партии. Откладывали, откладывали, но пришла пора. Создаются комиссии. Известны фамилии некоторых ее членов. «Достанется мне на орехи!» — опять подумалось Куш-Юру.

Но и эта новость была не самой захватывающей. Дальше инструктор рассказал совсем неожиданное — про новую экономическую политику. Незнакомые слова «нэп», «нэпман» — легко вплетались в его речь. Слушая рассказ инструктора о том, что частные магазины и рестораны уже пооткрывались в центре России и даже в губернии, Куш-Юр скреб в затылке. Вот как народу такое объяснить?! Народ не отголодовал, а новоявленные буржуи расшиковались. Задача.

Но инструктор не давал опомниться, сыпал дальше.

Наверное, в последний раз доставляют продукты для распределения по едокам. С нового года, может, и раньше, будут продавать их в магазинах. «Надо учиться торговать»,— сказал Ленин.

Понимая растерянность Куш-Юра, инструктор сказал задумчиво:

— Нэп, брат, всерьез. Сейчас другого выхода нет. От Сибкомнаца директиву ждем...

И еще была новость: всю пушнину теперь будут сдавать государству! Государство свои фактории откроет. Частных лиц за скупку меха — в тюрьму.

— Дело! — одобрил Куш-Юр.— Но охотник меха за спасибо не понесет.

— Товары завезем! С заграницей торговлю начали. Карскую экспедицию снарядили. Пушнину продадим, товаров закупим.

— Ну-у! Это здорово. Если так, охотник сам к нам потянется. Прихлопнем спекулянта!

— Смотри дров не наломай! Торговца от спекулянта отличай,— забеспокоился инструктор.

— Разница велика ли?

— Директива ясная: кто в открытую торгует — не спекулянт...

— Хоть три шкуры дерет?

— На то торговля... Вот кто товары припрятывает, не желает нашей власти помогать — без пощады к ногтю!

Инструктор расстегнул кожанку, достал из накладного кармана потрепанного френча тоненькую брошюрку, показал Куш-Юру.

— Ленина «О продналоге» читал?

— Краем глаза на семинаре видал.

— Э-э, что ж ты! Каждый день заглядывай, как в настольную книгу.

— Рад бы! Да от вас разве дождешься какой книжки,— огрызнулся Куш-Юр, задетый назиданиями.

— Ну-ну! Бери! У меня еще одна с собой.

Куш-Юр спрятал книжечку под малицу.

— Завтра сходка у нас, расскажу.

Вечером, после выгрузки, собрался сельсовет утвердить нормы выдачи. Докладывал Биасин-Гал. Был он, как показалось Куш-Юру, навеселе. Высказанное Куш-Юром предположение, что продукты вскоре уж не придется рас-

пределять по нормам, Гал встретил недоброжелательно, с озлоблением.

«Ну вот и делай из него торгаша!» — подумал с досадой Куш-Юр.

Заканчивая заседание, он счел нужным указать Биасин-Галу:

— Ты что-то часто стал мух давить. В словах невежлив.

Гал ощетинился:

— Кому какое дело? — веко правого глаза его запрыгало в нервном тике.

— Нет уж, извини-подвинься. Место у тебя такое, что чище девяносто шестой пробы ты должен быть. Лишней крошки взять не смеешь. С чего пьешь?

— Сам знаю...

— Коли знаешь, и нам сказать должен.

Гал затрясся:

— Без этого мне — на крюк или ножом! — Он полоснул рукой по горлу.

У Куш-Юра желваки заходили. Он сказал сочувственно, но строго:

— Все так. А позволить не можем... Права не имеем. Вот чистка будет, чикнут тебя,— сказал, не подумав, что слово «чикнут» напомнит Галу его трагедию — убийство жены.

— А с дочкой контры путаться право имеешь? — вышел из себя Биасин-Гал. Губы его затряслись, покрылись пеной.— Солдатскую вдову потопил, а кулацкую потаскуху выволок. Ублажаешься с ней за рекой.

— Что мелешь-то! Пьян, так не ходи на сельсовет! Хуже бабы! — И, обращаясь к членам Совета, проговорил: — Чепуха все! Ну, встретились за Юганом. Не было между нами ничего такого.. И не спасал ее для свиданий...

А Гал, перекрывая Куш-Юра, пузырился дальше:

— Ты попрекаешь меня! Горем моим меня коришь! А я грех свой искупил! Заговор контры раскрыл! А ты?!

Куш-Юр вскочил, содрал с головы шапку, хлопнул ею по столу.

— А я?! А знаешь ты?! — задыхаясь от гнева, он пригнул голую свою голову. Горькая обида душила его, не давала выговорить рвущиеся из груди слова. Прохрипев что-то невнятное, он снова нахлобучил шапку, грохнулся на скамью. Гнев постепенно угасал, на смену ему прихо-

дили неловкость и недоумение. Что это он? Такого с ним еще не бывало. Нельзя так. Помнить себя должен — в партии пораньше Гала и как-никак председатель... «А если председатель, так пусть и плюет каждый?» — снова было загорелась обида. Но он овладел собой, подавил раздражение.

— Не имел я намеков на тебя,— выдавил медленно, тяжело.— Не дело нам промеж себя раздорить. Не дело и поклонов себе ждать. А спрос с каждого из нас будет. На службе мы. Значит, лица государственные.

Биасин-Гал тоже немного отошел. Жалея, что наговорил через край, попрощался и ушел.

Недовольный собой, давешней своей вспышкой, Куш-Юр по дороге домой устало размышлял. Этак и самому недолго биасином прослыть. Нехорошо вышло. Как петухи, схватились при народе. Завтра трезвон пойдет по Мужам. Конечно, если б вздорная баба сболтнула, он и головы не повернул бы, а то свой товарищ... Да, пожалуй, и бабью болтовню пора оборвать...

Куш-Юр шел, прислушиваясь ко всякому шороху. Не мог он отделаться от тревожного беспокойства, возникшего после покушения на него.

Оттого чуть ли не насмерть напугало его что-то мокрое, липкое, заслонившее вход в избу. Невольно вздрогнул и отшатнулся, потом протянул руку и нащупал мокрые сети. Днем их не было. Наверно, Евдок вернулся с рыбалки, важан развесил.

Обогнув вешала, Куш-Юр нашарил руками щеколду-вертушку, которой запирались сенцы. Стараясь не шуметь, ничего не зацепить, вошел в избу и у порога снял грязные сапоги.

— Дядя Роман, там на столе тебе простокваша, суседка принесла,— сказал Евдок. Он уже улегся спать на лавке.

— Спасибо,— шепотом поблагодарил Куш-Юр и, проходя на цыпочках мимо подростка, дотронулся до него рукой.— Каков улов, рыбак?

— Маленько добыл. Завтра уху поедим,— ответил парнишка с достоинством.

— Молодец. Спи. Отдыхай.

Наскоро поужинав при малом свете, Куш-Юр выкрутил фитиль в лампе поболее и раскрыл книжечку, подаренную инструктором. Но столько было за день впечатлений, что он не мог сосредоточиться на чтении и, полистав брошюру,

отложил ее до утра. Потом погасил лампу, лег на узкую деревянную кровать.

За окном шумно хлестал дождь.

«Ну и погода! — вздохнул Куш-Юр.— Ладно, что все вовремя выгрузили да в склад сложили... Так-то Биасин-Гал мужик ничего, надежный, сохранит. Но кладовщик — не более... Да-а... Изведет себя Гал, и не спасешь... Выпала ему судьбинушка... А льет, ну и льет!.. Может, вода малость поднимется. Без этого катер-то в Вотся-Горт как погонишь! Небось ругают меня, натрепал с три короба. Если катер не пройдет, нарочного пошлю, пускай каюк пригоняют — до самого ледостава к ним не подступишься... Зря забрался на остров Гриш. Поди, и сам чувствует, да не признается... Может, еще разок съездить к ним, поглядеть, потолковать. С Сандрой хоть переглянуться... Эх, Сашка, Саша! И самой, чай, не сладко, и мне не жизнь... А та, отрава... Яшка врать не стал бы. Замуж захотела... Вот нечистая сила! Только этого недоставало. Большевик с контрой породнился. Красота!.. За окном ливень припустил— льет пуще прежнего. Прибавит грязи. Сам черт ноги покалечит. Что-то делать надо. Тротуары хоть бы зачинил каждый хозяин. На сходке завтра вопрос поставлю...— Но мысль на этом не задержалась, назад вернулась.— Озыр-Митьке сейчас выйдет полное уважение... Торговец... Мастер он мошну набивать... А может, Эгрунь и вправду любит, к нам тянется? Мало ли что отец... Да нет, пускай вперед докажет себя. От своих пускай уйдет, пользу народу сделает... Тогда уж Яран-Яшка верняком на мушку возьмет, не промахнется... Был бы он чуток ближе — и лежал бы сейчас товарищ председатель под сырым холмом. Зря, однако, не допросил его. Искры из глаз так и сыплет. Шальной. «Северный закон». Пока дерево не уберет — не успокоится. В оба за ним глядеть надо...»

За окном в ночи продолжал шуметь дождь. Порывы ветра швыряли в стекло дождевые струи. И Куш-Юр подумал: «Как из пулемета лупит». Может, из-за этого сравнения ему показалось, будто за окном чвакают чьи-то ноги.

«Уже и блазнит»,— усмехнулся он и улегся поудобнее. Но тут чьи-то пальцы, похоже, заскребли по стене, по наружному подоконнику. Куш-Юр вскочил, прислушался: нет, не блазнит, за окном кто-то есть.

«Яшка!» — Куш-Юр схватил наган и юркнул к простенку рядом с окном.

Снаружи кто-то, по-медвежьи сопя, шоркал по стеклу,

вроде бы лапой. На Яшку это было не похоже. Яшка, пожалуй, крался бы, как рысь. Кого другого подбили?

Куш-Юр взвел курок.

«Давай, гад, сунься! Обратно не уйдешь!»

Неизвестный осторожно постучал в окно. Стук повторился громче, настойчивее.

«Вызывает, выманивает меня поближе».— Куш-Юр стоял не шевелясь. Но когда неизвестный забарабанил по крестовине рамы, не выдержал, рявкнул:

— Кто ломится?

Будто испугавшись, стучавший что-то промычал недовольное и торопливо зачавкал по грязи.

«Не уйдешь!» — Куш-Юр распахнул окно и, в чем был, выпрыгнул в темень и дождь.

Крупная темная фигура маячила впереди.

— Эй, кто ты? Что надо? — нервно окликнул Куш-Юр.

Неизвестный испуганно кинулся к забору, но угадал в висящие сети, с ходу стянул их на себя, запутался и, падая в грязь, с треском сломал вешала.

Разбуженный шумом, на порог выбежал Евдок.

— Дядя Роман, где ты? Что случилось? — крикнул он хрипловато.

— Да вот я! Кто-то в окно к нам лез, в твою сеть запутался, вешала сломал.

Евдок по-взрослому выругался. Вдвоем с Куш-Юром они кинулись к вешалам. Навстречу им из грязи поднялся грузный, плечистый человек.

— В сеть запутался, якуня-макуня!

— Эль? — удивился Куш-Юр. И встревожился: — Откуда ты? Что случилось? — Раз ночью Гажа-Эль пришел, знать, беда...

— Эх, тоже мне... Сети порвал, поди. Пьяный, чай, как всегда! — захныкал Евдок.

Но Куш-Юр перебил его:

— Эль, да говори хоть, что у вас там стряслось-то?!

— Да, ничего,— стряхивая грязь, заговорил наконец Гажа-Эль.— Приехали мы, ну я и поспешил к Марпе... за сугревом, с дороги...

Евдок перебил его сердито:

— Мамка не варит боле! Не знаешь, что ль?

— Ах, ты вот зачем! — повеселел Куш-Юр.— Кто да кто приехал? Гриш?

— И Гриш! И Мишка! И бабы. Да почитай все...

— И Сандра? — вырвалось у Куш-Юра.

— Сандра — не. Сторожить да нянчить с Германцем осталась... Ах, беда! Так нет, значит, не варит? А ты квартируешь у Абезихи? Ну, тогда я пошел отсуль. Вот, якуня-макуня!..

Только сейчас Куш-Юр почувствовал, что до костей промок и босые ноги коченеют. Он вбежал в избу, пряча наган под мокрой исподней рубахой, довольный, что никто не видел при нем оружия. Закрыв окно и стянув с себя белье, он обтерся досуха полотенцем, забрался под одеяло, зябко поеживаясь. Хотелось скорей согреться и уснуть.

5

Не повезло Гажа-Элю и у других прежних своих выручателей. Зря только сон им ломал.

«Вот житуха настала! Хоть ревмя реви,— огорчался он, а желание разговеться с дороги не оставляло.— Не-е, не может того быть, чтоб во всех Мужах никто самогону не имел...»

Под утро он оказался у крайней избы, на северной околице села. Светало. Дождь поредел. Небо очищалось от туч. Вытащив кисет из-под полы промокшей суконной парки, сшитой из его солдатской шинели, Эль свернул козью ножку, а закурить не смог: сколько ни чекал гальками, трут не затлевал — отсырел. Негодование охватило Эля — и тут не везет,— и он разразился долгой смачной бранью. Вдруг в соседней избе засветилось окошко.

«Петрунь-Ярка не спит. Выручит!» — обрадовался Гажа-Эль и постучал в дверь.

Ему долго не открывали, и никто не подавал голоса, хотя в избе слышалась какая-то возня. Наконец раздался испуганный женский голос из сенцев:

— Кто стучит?

— Я, Элексей...

— Господи, откуль взялся?

— Приехал. Прикурить не у кого — дрыхнут все. Ярка дома? Да впусти ты...

— Нету-ка Ярки. С весны внизу. Вернется последним караваном.

— Эксья! Дай огня. Умираю без курева...

— Ой, беда-беда! Последнюю спичу извела на жирник.

— Ну, впусти! Прикурю от жирника и умотаюсь.

— Поди, хмельной, как всегда. Боюсь я пьяных.

— Эх! Кабы выпить-то. Ищу всю ночь — кукиш везде кажут. Муторно аж, якуня-макуня! Дай хоть искорку, согрею душу табачком...

— Ты же в грязи, чай, весь. И не вовремя Элексей, совсем не вовремя.

— Како там! Светает. И ходули оботру. Не съем тебя, крошку.

Эксся была невысокая, щупленькая, как девочка-подросток, и любила, когда Гажа-Эль называл ее ласково «крошкой».

— Что же делать? — забеспокоилась она.— Вынести, что ль, жирник? Поди, погаснет на ветру-то. Вовсе без огня останемся. Заглянь уж сам.— И щелкнула щеколдой, отворила дверь.

Эль старательно вытер в сенцах бродни, низко наклонившись, вошел в избу вслед за хозяйкой.

— Какой ты большой, господи! Потолок-то хоть не вышиби башкой,— попятилась Экся.

Эль осторожно прошел к кривоногому столику. На нем в плошке с рыбьим жиром, густо чадя, трепегал огонек. Эль склонился над ним, прикурил, затянулся глубоко и радостно выдохнул вместе с дымом:

— Ффу-у! Наконец-то!

— Отчаливай давай! — приказала хозяйка.— Заденешь что-нибудь, громадина. Дочку разбудишь.

— Сейчас уйду.— Он выпрямился, касаясь головой потолка. Повернулся, хотел было шагнуть, но, не заметив скамеечки, споткнулся и привалился к печке, задев плечом бочонок, который стоял на лежанке за ситцевым занавесом.— Якуня-макуня! Чуть квашню не опрокинул. Прости, Экся,— повинился Эль.

От шума проснулась девочка, заплакала. Хозяйка всполошилась:

— Ну вот! Так я и чаяла. Уходи скорей!

Занавеска обвисла. Рослый Гажа-Эль поверх нее увидел круглую затычку в крышке бочонка.

— Погоди! Кажись, не квашня это.— Он бесцеремонно отдернул занавеску.— Точно! Бражка миленькая! Бродит-поспевает. Ну, бог сподобил! Подвезло! — расплылся он в счастливой улыбке.

Хозяйка растерялась, засуетилась, заохала:

— Ой, беда! Уходи! Не твое дело.

— Нет, крошка, не уйду, не попробовамши. Что искал,

то и нашел. То-то, думаю, больно осторожничаешь, не впускаешь...

— Вот наказанье-то! — плаксиво протянула побледневшая Экся.— Не моя она, бражка-то. Чужой сур...

— Чужой, а на твоей печке? Плохо хитришь, Эксинька.— Эль надеялся ласковым обхождением сломить упрямство хозяйки.

— Ей-богу, чужой! — Экся перекрестилась.— На кой ляд мне этот сур. Пьяница аль торговка я? Ярки тоже дома нету. Навязался вот на мою голову, подсунул бочонок. К тебе, дескать, не заглянут комсомольцы, не додумаются. Дура я, согласилась. Теперь пропаду, ежели пронюхают. Накажут меня. Комсомолы так и рыщут по избам...

— Чей он, сур? — деловито осведомился Эль.

— Не скажу. Нет-нет! Ни за что! — Экся покачала головой и затопталась возле печи, словно старалась собою заслонить ее.

Из комнаты в кухню в коротенькой рубашонке вышла дочурка Экси, такая же, как и мать, чернявая.

— Не сказем, дядя Гал не велел,— пролепетала она.

— Кыш! — встрепенулась Экся и шлепнула дочку.

Девочка завизжала. А Эль руки потирал.

— Гал? Это который же? Не сосед ли твой, Биасин?

— Нет, нет! Брешет она, глупышка! Не слушай ее,— разволновалась женщина.— Уходи, Элька, ради бога! Не расстраивай меня...

— Э-э, нет! Не уйду, не попробовамши,— упирался Эль. Он потянулся к бочонку.— Поспел, видать. Скоро пробка вылетит, отходит заклейка-то...

— Не трожь! Чужой, говорю! — со слезами крикнула Экся. Но потом махнула рукой беспомощно: — Ладно уж. Спусти на пол проклятый бочонок. Разорвет еще. Сама пробовала снять, да сил не хватило...

Гажа-Эль ухмыльнулся:

— Господь меня к тебе в помощь прислал! — И легко снял бочонок с лежанки, поставил на пол.— Вот и все. Можем пировать. Готов сур, шумит, как тайга в бурю.

Заклейка из теста вокруг затычки высохла, потрескалась, немного отошла от крышки. Экся засуетилась, торопливо поправила ее, заодно попробовала, крепко ли сидит пробка.

— Неделю почти стоял. Сегодня должен забрать. Не

мой, говорю. Ну как дам я тебе распочать чужое? — говорила она, волнуясь.

— Чужое, чужое,— недовольно заворчал Эль.— Подумаешь, тяпну пару ковшиков. Тебе, поди, за услугу положено с этого самого Галки. Уступи мне свою бражку. Заплачу хорошо — икрой ли, варкой ли.

Движением головы Экся отклонила предложение.

— Ну, давай дам тебе глухарей. Мясо, якуня-макуня! — рявкнул в сердцах Эль.

— Глухарей?! — заколебалась Эксяя.— Какой ты липучий! Но спрошу сперва хозяина. И глухарей не вижу,— недоверчиво оглядела она Эля.

— Мигом притащу! А ты быстренько вытребуй себе пай. Может, и Гал продаст мне сколь-нито, а?

— Спрошу. Вот наказанье-то!..

— Ну, я за глухарями.

— Погоди,— остановила его Эксяя.— Бочонок убрать надо бы. Подсоби-ка. Только подполья-то у меня нет.

Эль оглядел избу: кроме кадки для воды, ничего подходщего. Заглянул в кадку — почти пустая.

— Вот сюда! — И одним махом упрятал бочонок.

Хозяйкина дочь перестала хныкать. С любопытством наблюдала она, как снимали бочонок с печи как прятали его в кадке.

— А зачем его туда? — пристала она к матери.

— Он комсомолов боится.— Мать приложила палец к губам.— Молчи, Мотька! А то они и тебя утащат с бочонком.

Эль потрепал черноволосую Мотьку, весело подмигнул матери:

— Я мигом, ты будь готова.

Эксяя поморщилась.

Гажа-Эль вышел из избы довольный. Все ж таки выискал, не зря целую ночь грязь месил. Будет чем душеньку отвести. Про два ковшика, это так, Эксе-дурехе для отвода глаз болтнул. Кукиш Биасин-Галке останется. Другого суру наварит, в мир-лавке небось кое-что припрятано...

Уже рассвело. Взошло солнце. Село просыпалось. Слышались голоса людей. Тявкали собаки. Мычали коровы.

Перемахнув через заборчик, Эль лицом к лицу столкнулся с Вечкой и его дружком, белобрысым крепышом Халей-Ванькой. За большой рот да за громкий голос Ваньку прозвали халеем — чайкой.

— Гляди, Гажа-Эль! — удивился Вечка. — Навеселе, что ли? Во все лицо сияет... Откуль ты?

— Известно, из Вотся-Горта. Приехали навестить Мужи, помесить грязь да лужи,— засмеялся Эль.— Привет комсомолам!

— Привет, привет!

— Куда это вы спозаранку? — поинтересовался Эль.

— Пригнать лодку с Югана,— ответил Вечка.— А ты чего здесь околачиваешься? У Экси был? В такую рань... Ночевал, что ли, по ошибке?

— Да не-ет,— отмахнулся Эль и рассказал про свои ночные злоключения, умолчав, разумеется, о неожиданной находке в Эксиной избе.

— Долго, однако, прикуривал,— недоверчиво подмигнул Халей-Ванька.— Признавайся-ка, дядя, выпил ты?

Что-то недоброе было в любопытстве комсомольцев. Гажа-Эль поспешил поправдивей изобразить на лице угрюмость.

— Какое там выпил! Духу хмельного не сыскать. Хорошо вы поработали. Ну, я пошел.

Этот смешок и похвала, которую меньше всего ребята могли ждать от известного выпивохи, насторожили комсомольцев. Подумали, уж не раздобыл ли Гажа-Эль у Экси адресок какой. Халей-Ванька вызвался проследить, куда пойдет Гажа-Эль, а Вечка отправился к Эксе, может, что выудит у нее.

Хозяйку Вечка застал за растопкой печи. Увидев его, Экся обомлела.

— Ярка не вернулся еще? — спросил Вечка.

— Нет, нет...— Экся немного пришла в себя. Но маленькая Мотька в испуге спрыгнула с лавки, ухватилась за мамкин подол и, таращa глазенки на Вечку, хныкала:

— Я боюсь! Я бою-ю-юсь...

Вечка присел на корточки, поманил девочку пальцем:

— Не бойся! Подь ко мне. Как тебя звать?

Прячась в складках материного сарафана, Мотька продолжала хныкать:

— Я бо-ю-юсь комсомолов. Они бочонки и девчо-онок таскают...

Экся сердито пнула дочку.

— Цыц! Вот окаянная! Болтает всякое...

— Пускай,— снисходительно засмеялся Вечка.— Подрастет — сама станет комсомолкой. Станешь, да, Моть?

— Не-е-е,— девочка пуще прежнего заревела.— Мамка-а-а! Меня вместе с бочонком утащат!

Было женщине отчего потерять голову.

— Замолчи же, гадина! — не помня себя вскричала она и давай отвешивать дочке шлепок за шлепком.

Не спрашивая позволения, Вечка приподнял крышку кадки, догадавшись, что не все чисто у Экси.

— Вон в чем дело-то! Перестань шлепать девчонку! Тебе самой всыпать надо как следует.

Схватившись за голову, Экся завопила:

— Ой, беда-беда! Зачем полез без спросу?!

— Жди, когда скажешь! Богато живешь. Кто мог бы подумать. Эх, Экся, Экся... Ответишь по закону!

Женщина упала на колени, завопила:

— Я не виновата! Я не виновата!..

— А кто же! Мотька, что ль?

— Не мой сур, не мой! Ей-богу!..

— Гажа-Эльки, да?

— Его, его, будь неладен! Принесло его на мою голову... Ой, что я — нет! Не его,— в отчаянии металась Экся.

— А чей же? Почему в твоей кадке?

— Навязали на мою душу... Гал пристал... Я не хотела... Уломал...

— Какой Гал? Их много в селе.

— Да Биасин-Гал! Пропади он пропадом. Сам трусит, а меня подставил,— голосила Экся.

— А не врешь?

Женщина подняла мокрое от слез лицо.

— Нет, миленький, нет! Правду сказала... Что же мне теперь будет?

— Разберемся! Вставай, чего ползаешь по полу,— Вечка помог Эксе подняться, скорчил рожицу все еще плакавшей Мотьке. Сострил: — Удачная получилась операция — попалась кооперация...

Глава четырнадцатая

СЕЛЬСКАЯ СХОДКА

1

Спал Куш-Юр беспокойно. Мучили сновидения: то являлась Сандра, то Яшка, то Гажа-Эль в образе медведя, под конец даже Озыр-Митька приснился. Пробудился

Куш-Юр в плохом настроении, от тупой боли ломило голову. Но, вспомнив о приезде Гриша, он живо вскочил, оделся, решил, что надо с утра встретиться с другом,— днем мало ли что помешает, да и Гриш может куда-нибудь отлучиться.

Гриша он застал во дворе, возле завалинки старого дома, на солнцегреве, в окружении братьев и родственников. Они дымили самокрутками и чему-то весело смеялись. Куш-Юр поморщился: целая сходка, поди, ему уже кости перемыли. Но хозяева встретили Куш-Юра дружелюбными прибаутками:

— О, идет, сельсовет — ни заря ни свет.

— Начальникам и богачам не спится и по ночам.

— Подходи скорее. Мы уже в сборе. Открывай сходку!

Куш-Юр усмехнулся, за словом в карман не полез:

— Сходка будет вечером. И не при вашем доме, а в Нардоме.— А потом уж и поздоровался.— Привет, мужики! А гостю нашему — самое большое «доброе утро!». С приездом! Узнал — появились вотся-гортские, и вот поспешил повидать.

— Спасибонько,— крепко пожимая руку Куш-Юра, Гриш радостно улыбнулся.— Ну и нюх у тебя. Как хоть ты так быстро новости узнаешь?

Куш-Юр поведал о ночном происшествии во дворе Абезихи.

Мужики, слушая его рассказ, гоготали от души. А Гриш встревожился.

— Вот лешак! — ерошил он в беспокойстве волосы на непокрытой голове.— Налижется, запропастится и нас задержит тут. А ведь осень...

Куш-Юр успокоил Гриша:

— Во всем селе не найдет выпивки — навели мы порядок. Так что не горюй... Ну, как летовали?

— Да всяко...— Гриш бросил взгляд на братьев, и Куш-Юр понял: о делах лучше с глазу на глаз, и перевел речь на другое:

— Комары не загрызли?

— Хватало...

— Сгинули небось?

— Пропали. Да мошки налетело. Ужас! Позлее тех поедников...

Гриш отвечал как-то нехотя. Ему хотелось побыть с Куш-Юром вдвоем, обсказать все, что так томит его. Почувствовав натянутость в разговоре, братья и родственни-

ки Гриша догадались, что лишние, и поспешили уйти.

Варов-Гриш отвел Куш-Юра за угол старого дома, на южную сторону двора. Там торчал из земли огромный высохший пень, похожий на врытую в землю кадку. Усаживаясь на него, Гриш сказал:

— Во, какие толстенные деревья-великаны росли когда-то здесь. Нам с тобой вдвоем не обхватить такое дерево.

— Мда-а. Многовечная была лиственница. И не гниет пень-то. Не один десяток лет, поди, стоит.

— Годов сорок, ежели по дому нашему судить. Корнями-то, чай, до самой преисподней дотянулся. По всему двору они расползлись. Живун, как все село наше, да и как мы все.

— Живун, да-а-а,— повторил Куш-Юр. И наступила неловкая пауза.

Трудные, малоприятные объяснения всегда начинаются издалека. Куш-Юр решил, что Гриш заговорил о пне из дипломатии, чтобы помягче перейти к беседе о разных сплетнях про него, председателя, и про Эгрунь, кулацкую дочку. Куш-Юр не любил, когда с ним осторожничали да деликатничали, и даже желал в открытую объясниться, потому что верил — Гриш поймет его.

Но Гриш молчал, будто чего-то выжидая. И Куш-Юр подумал: может, стесняется Гриш, история-то щекотливая... Однако и сам разговора не завел, а то покажется Гришу, ровно он, Куш-Юр, оправдывается... Вот и сидели, молчали.

На самом деле ни о каких сплетнях Гриш ничего не слыхал. Братья поведали ему только семейные новости. И молчание Куш-Юра он расценивал по-своему: «Гажа-Эль, поди, все уже выболтал...»

Гриш ожидал от Куш-Юра упреков, а может, даже разноса... Он не собирался что-то утаивать от председателя, просто не хотел, чтоб Гажа-Эль наболтал лишнего. А без того у Гажа-Эля, видно, не обошлось. Вот какой Куш-Юр мрачный!..

— Ну что ж, казни,— вздохнул Гриш.

— За что? — не понял Куш-Юр.

Неподдельное недоумение председателя ободрило Гриша. Опустив голову, не глядя Куш-Юру в глаза, он повинился во всем. Рассказал и про сделку с Ма-Муувемом, и про спирт-водку...

— Вот черт! — выругался Куш-Юр.— И сородичей

своих, как вас же, спаса-ает, выр-руча-ает! Дерет втридорога. И все ему должники...

— Ну, а власть-то? — мягко спросил Гриш. Он не собирался укорять председателя в том, что Ма-Муувема все еще не взяли за загривок, не потрясли как кулака. Он просто надеялся услышать желанное обещание, что пармщиков выручат...

Но Куш-Юр промолчал. Долго и старательно он свертывал цигарку, не спеша закуривал. А закурив, пускал дым кольцами, наблюдал, как кольца вытягиваются, скручиваются восьмерками и одно за другим тают.

Гриш тоже помалкивал, теряясь в догадках. Поймав его напряженный взгляд, Куш-Юр процедил:

— Власть... Власть... Теперь его не возьмешь...

— Почто так?! — Гриш аж подскочил от удивления.

— Запрет... Не велено трогать.

Куш-Юр молча, с силой ударил каблуком сапога по земле.

Гриш от волнения сжал кулаки.

— Не кипятись,— осадил его Куш-Юр.— Сердце разуму тут не командир. Разум командовать должен сердцем. Дело куда как серьезно. Кормить народ во всей России надо, а хлеб и прочее у кого — у богачей или у мир-лавки? То-то и оно. В мир-лавке пока не богато, а у торгашей кое-что еще припрятано. Пускай торгуют, все людям польза.

— Выходит, Озыр-Макку из могилы поднимать? Зря прихлопнули,— насмешливо процедил Гриш.

Куш-Юр потемнел: сильно задел его Гриш.

— Его не за торговлю. А за то, что против нашей власти пошел. Это и сейчас с рук не сойдет, по загривку получат, да еще как!

— Значит, Ма-Муувему вольготность, дери с честного народа семь шкур...

— Думаешь, нам в удовольствие, в радость? — тяжело выговорил Куш-Юр.— Сам Ленин, Владимир Ильич, сказал — мол, отступаем, братцы, пока хозяйство малость подправим, а как поокрепнем, на ноги встанем — штурманем! Верь, ненадолго это.

Гриш сидел на старом пне огорошенный, потерянный, безвольно опустив руки. «Влипли. Влипли! — стучало ему в висок.— Отдавать придется целиком — сполна! Зря надеялся!»

Ему стало душно, будто сдавило горло.

— Чего приуныл? — словно откуда-то издалека, едва слышно долетел до него участливый голос Куш-Юра.

— Кое-что забросили нам в мир-лавку,— продолжал говорить Куш-Юр.— Хоть не так много, а все-таки. Хорошо, что приехали, получите свой пай. Рыбы-то привезли?

— Привезли,— ответил Гриш. И добавил: — И ягод-орехов. Все излишки.

— С пустыми руками не уедете.

— Зима долгая,— вздохнул Гриш.— А там и весна. Мы зиму на Ма-Муувема пробатрачим. А нам — ого-го сколько всего надо: прорех больше, чем в неводе ячей. Одна надея на мир-лавку.

Куш-Юр секунду поколебался и сказал:

— Так и в мир-лавке... К тому дело идет: по деньгам — товар, продал — купи.

— Мать родная! — Гриш в отчаянии хлопнул кулаками по бродням.— Полная погибель нам...

Вконец расстроился и Куш-Юр. Понимал, могут заголодовать пармщики, если все отдадут старшине. Пайки-то кончаются. Вдруг надеждой блеснуло воспоминание: инструктор из Обдорска... Пушнину отдавать Ма-Муувему не придется, власть не позволит.

Гриша это не утешило.

— Зато рыбу, окаянный, заберет подчистую. Пушниной, может, и лучше, ее ведь не пожуешь, не поешь.

— Ладно, чего-нибудь сообразим. В беде не бросим,— пообещал Куш-Юр, боясь зря обнадеживать.

Гриш не узнавал председателя. Куда девались его решительность и категоричность? И почему он не отдал распоряжения схватить живодера Ма-Муувема?! Не расспросил, как бывало, про каждого пармщика. Непонятная перемена. Впервые, кажется, обоим не нашлось больше о чем говорить.

Сославшись на то, что его ждут, Куш-Юр стал прощаться с Гришем. Не забыл пригласить его и остальных пармщиков в Нардом вечером на сходку. Гриш обрадовался сходке, обещал быть, смущенно добавил, что соскучился по Нардому и людям. Уже у самых ворот Куш-Юр решился спросить, почему Сандра не приехала.

— Сама почему-то вызвалась остаться,— пожал плечами Гриш.

— На чужих детях учится, как своих нянчить? — хотел пошутить Куш-Юр. Но шутки не получилось, а вопрос прозвучал грустно.

— Да нет, вроде не предвидится.

Куш-Юра это порадовало. Но он не подал виду.

— А Михаил где? Отдыхает с дороги?

— Наверное. В Сенькиной избе-развалюхе остановился.

— В Сенькиной?

— Ага. У нас негде, родня приехала. Гажа-Эль бездомный, сам в тесноте у дальних родственников. А у Сеньки — одна старая бабка сторожит.

Хотелось Куш-Юру сказать, что не следовало так делать, пойдут всякие кривотолки, грязь на пармщиков налепят... Вот и сам он понапрасну страдает... Однако удержался, только головой дернул вроде бы недовольно. Гриш будто догадался, о чем помыслилось председателю.

— Ты не думай... Не одичали еще — баб не перепутали.

2

В сельсовете Куш-Юра ожидала большая неприятность.

Посередине комнаты на полу стоял непочатый бочонок с брагой, ревмя ревела Экся, нервно тряс головой Биасин-Гал, возбужденно переговаривались комсомольцы, Писарь-Филь что-то торопливо писал за столом, перед ним сидел понурый Гажа-Эль.

— Опять нашли? У кого? — поморщился Куш-Юр. Он устал от подобных сцен.

— У него! У кооперации! — Вечка торжествующе ткнул пальцем в Биасин-Гала.

Тот сверкнул глазами.

— Не бреши! Не у меня! У Экси. Так и пиши, писарь!

— Да твой же, Галка-а! Почему вре-ешь? — прорыдала женщина.

— Погоди, погоди. Нич-чего не понимаю,— развел руками Куш-Юр.— Элексей-то зачем здесь?

— Все настроение испортили, якуня-макуня! — огорченно крякнул Гажа-Эль.

— Сейчас объясню.— И Вечка доложил председателю, где и как нашли бочонок.

3

Нардом помещался под одной крышей с сельским Советом, во второй, большей половине бывшего поповского дома.

У этой половины имелся отдельный, парадный вход с крыльцом и широкими сенями.

Из двух смежных комнат сделали один длинный вместительный зал со множеством окон. Внутренней створчатой дверью зал соединялся с сельсоветом.

Обстановкой Нардом не блистал: десяток грубо сколоченных скамеек, длинных и коротких. Когда молодежь танцевала, скамейки сдвигали. Невысокий дощатый подмосток с занавесом из чьего-то каюкового паруса, видавшего виды на просторах Оби. На подмостке — небольшой крашеный стол с точеными ножками, два приличных стула и книжный шкаф с застекленными дверцами,— видимо, из поповской обстановки. В простенке между окнами, в глубине сцены, висел маленький портрет Ленина в рамочке, обтянутой кумачом. А над портретом во всю стену лозунг из бумажных букв, наклеенных на материю: «Мы наш, мы новый мир построим!..» Еще несколько лозунгов, написанных чернилами на оберточной бумаге, висело на других стенах, оклеенных выцветшими обоями.

Освещался Нардом двумя керосиновыми лампами: настенной — в зале и настольной — на сцене.

Начинались сходки в Мужах всегда с опозданием.

— Нардом — не церковь, в колокол не звонят, зачем спешить,— обычно посмеивались селяне.

Многие и вовсе чурались сходок, держались в сторонке от разговоров о новой жизни, все еще не верили в долговечность Советской власти, хотя и шел ей пятый год. Иные не ходили, чтобы не слышать, как хулят прежние порядки. Другие боялись греха: комсомольского богохульства, осмеяния служителей церкви.

Однако все зыряне — большие охотники до разных вечеринок, сборищ, увеселений. И просидеть дома весь вечер, зная, что на селе проводят собрание, они не могли. Приходили все же. Но начиналась сходка, как правило, при полупустом зале. И затягивалась до глубокой ночи, потому что с опоздавшими приходилось начинать разговор сначала. Такие отступления мало кого смущали. Пришедшие пораньше терпеливо курили, ожидая, когда опоздавшие, что называется, возьмут ногу...

Сходок в Мужах не было с самой весны, с весенней путины. Может, поэтому, а может, потому, что комсомольцы активно приглашали, народ в этот вечер собрался дружней, чем обычно. Комсомольцы, зазывая селян в Нардом, таинственно обещали:

— Мы покажем вам на сходке «настоящих мирских кровопийцев». Увидите — ахнете.

— Нашенских, мужевских, что ль, кровопийцев-то? — хмыкали селяне.— Мы и так их знаем как облупленных. Озыр-Митьку, Квайтчуня-Эську...

— Нет, не их. Только тоже настоящих. Ох, и кровопийцев же мы поймали! В наших руках они теперь! И вам покажем!

— Биасин-Гала, поди? — слух о найденном суре пошел гулять по селу.

— И не он. Приходите, своими глазами увидите, а то проморгаете.

Не могли селяне такое проморгать. Сходка не началась, а пустых скамей уже не оставалось. Мужчины усаживались на полу в проходах и возле стен. Пришло даже несколько девушек и женщин. Они стыдливо примостились в самом конце, поближе к выходу. Не в пример им Эгрунь, разодетая, как на праздник, вместе с подругой прошла вперед, уселась в первом ряду. И давай они грызть орехи, шептаться, хихикать, оглядывая собравшихся. Место себе Эгрунь выбрала неподалеку от Куш-Юра. Тот о чем-то увлеченно беседовал со стариками, в ее сторону не оборачивался, но краем глаза все видел. Куш-Юр не выказывал беспокойства, однако был начеку: от дерзкой Эгруни можно ожидать любой охальности.

Самая большая группа образовалась вокруг Варов-Гриша и Мишки Караванщика. Гриш едва успевал отвечать на вопросы о житье-бытье в Вотся-Горте. Мишка держался нейтрально, курил, и помалкивал, иногда чему-то загадочно ухмылялся. Гажа-Эль задержался неизвестно где. Не пришел и Биасин-Гал.

Особняком возле нетопленной голландки сидели недавние воротилы села — Озыр-Митька, Квайтчуня-Эська и их сыновья с Яран-Яшкой. Они редко бывали на сходках, но сегодня пришли, прослышав, что «комсомольцы» обещают показать кровопийцев. А еще больше из желания узнать, верны ли слухи, будто власть дала задний ход и торговые люди опять вольны заводить дела.

И над всей этой гомонящей массой людей плавало сизое табачное облако.

— Ну, чего волынитесь? Собрали, так начинайте, а нечего коптить нас табаком! — требовательно выкрикнула Эгрунь, повернувшись прямо к Куш-Юру.

«Вот ведь окаянная! — Куш-Юр со зла прикусил губу

чуть не до крови.— Нарочно так кричит, чтоб люди внимание обратили. Поди, и в самом деле время начинать?.. Но открой сейчас сходку, и пойдут сплетни: под Эгрунькину дудку пляшет, чего пожелает девка, то и исполняет...»

Куш-Юр сделал вид, будто не слышит. Но и другие потребовали того же. Только тогда он поднялся, оглядел зал.

— Ого! — весело удивился.— Народу-то полно.— И направился к сцене. Взойдя на подмостки, ахнул:— Дыму-то, мать честная! Как в курной избе. Давайте, миряне-зыряне, прекратим пока курево. Приоткройте-ка дверь!

— Это можно,— ответили из зала.— Начинай проповедь-то свою.

— Проповедей не читаем,— строго заметил Куш-Юр,— у нас о деле разговор.

— Один черт!..— крикнул кто-то.

Прокатился смешок. Куш-Юр напрягся, вытянул шею, вглядываясь в зал, высматривая, кто зачинщик. Но при тусклом свете «трехлинейки» в сизом табачном дыму все лица туманились. Предчувствуя, что собрание будет неспокойным, он по привычке широко расставил ноги, заложил руки за спину и начал речь.

— Миряне-зыряне! Скоро наступит пятая годовщина нашей Советской власти. Это праздник из праздников. Враги наши, как вороны, каркали, будто трудовой люд не продержится у власти больше месяца. А мы пять лет уже стоим! А вороны те, которые посдыхали, которые в дальние чужбины подались. Туда им и дорога! Тут вот написано,— он обернулся к лозунгу,— «Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем!»

Сидевшие в зале негромко переговаривались, кое-кто продолжал курить, в общем, вели себя по-домашнему.

— Может, не все понятно вам по-русски? — прервал речь Куш-Юр.

Из зала с добродушной ленцой отозвались:

— Валяй, валяй!..

— Мы по-русски маленько понимаем, говорить маленько не могем...

— И я тоже по-зырянски малость понимаю, а говорить затрудняюсь,— как бы извинился Куш-Юр, и только собрался продолжать прерванную речь, из-за голландки выкрикнули:

— Можно спросить?

— Вопросы задавать будете, когда я кончу.

— Боюсь, забуду, память не шибкая,— настаивали из-за голландки.

Куш-Юру послышался в этой настойчивости скрытый вызов. И он принял его:

— Ну спрашивай!

— Кровопийцев-то скоро покажете?

— Каких кровопийцев? — Куш-Юр не знал о затее комсомольцев.— Не про кровопийцев речь, а про власть трудящих...

Но тот же голос его прервал:

— А верно, что новая власть обратно купцу ход дает?

«Вон чего! Вон кто такие! Понятно»,— подумал Куш-Юр.

По своему плану он собирался говорить об этом позднее. Но в зале зашумели: кто протестовал, кто недоумевал. Промолчи сейчас — поднимется сумятица. Шагнув вперед и расправив гимнастерку под ремнем, он бросил задиристо:

— А кабы и так?

Голос его потонул в шуме. Сидящие на задних скамьях не расслышали, вознегодовали, переспрашивали:

— Что сказал Куш-Юр? А-а? Тьфу! Ошалели! Что сказал Куш-Юр?

Куш-Юр поднял руку и, напрягая голос, крикнул:

— Враз будем говорить — не разберемся!

Он дождался тишины и, обернувшись к голландке, четко повторил свой ответ:

— А кабы и так! Что с того?

— А ничего... Хотел знать, правду ли люди бают...

В дерзком ответе Куш-Юру почудилась торжествующая насмешка, мол, выудил что хотел и народ растревожил...

Гомон действительно поднялся небывалый. Куш-Юр выждал, пока схлынет первое возбуждение, и снова поднял руку, стараясь завладеть вниманием. Продолжать речь, как намечал, было нелепо, он на ходу перестроился. Небрежно махнул рукой в сторону Озыр-Митьки и сказал твердо:

— Зря тут некоторые нос задирают! Верно, кто пожелает, может торговлишку заводить. А мир-лавка все одно не закроется. Кооперация была и остается. Потому как не навсегда это...— он замялся, не желая называть — что именно,— а пока оправимся после войны и голода...

— Нам только б начать! — насмешливо продребезжал Озыр-Митька.

— Не обсчитайся! — не выдержал, полуобернулся к голландке Куш-Юр.

Угроза не подействовала на Озыр-Митьку, его словно прорвало:

— Не обойдетесь без нас! — Он не сдерживал больше себя.— Голод уму-разуму учит! Жрать все охочи! Хоть ваш Ленин!..

Сходка притихла. Не было еще такого, чтоб на равных разговаривали сын кулака и председатель, не было! Выходит, и впрямь сила к Озыр-Митьке вертается!

Угадывая настроение сходки, Куш-Юр рубанул:

— Ленина не обсуждать! Он делает, как надо, как лучше сейчас для народу. И за то пострадал от руки контры! Вчера пароход разгружали — кто прислал? Ленин.— Он обернулся к портрету вождя, протянул к нему руку.— Можно сказать, что после раны еще не оправился, а про нас с вами не забыл, позаботился!

В зале одобрительно кивали головами. И Куш-Юр продолжал:

— Жрать, верно, все охочи, особливо ты! Трудящийся человек может и поголодать, он к разносолам не привычен. Ленин всей страной управляет, а паек получает один, как все! А тебе одного пая мало, лишний берешь. С кого? Со своего брата-зырянина, соседа и земляка! Так вот, я тебя предупреждаю: на каравай рот широко не разевай. Пушнину скупать вам не позволим. И рыбу. Наперед знайте все! Пушнину мир-лавке — всю!

— Врешь, нет такого закону! — вскипел Озыр-Митька.

«Осмелел до чего!» — пронеслось в голове Куш-Юра. Хотя и в самом деле такого закона он не знал, слышал только вскользь от инструктора, а ссылаться на этот рассказ было рискованно — он не стал пасовать:

— А вот и есть! Зря трепать не стану! Не рассчитывайте, будто власть такая уж безвластная. Скупку пушнины объявляем спекуляцией. А за спекуляцию знаете что? Кто попадется — не порадуется! Все слыхали? Не пеняйте, что не упредил. Ответит и кто скупит, и кто продаст!

— Грабь, грабь, тебе привычно!..

— Никакого грабления не будет. Мир-лавка купит, мир-лавка товар продаст...

Куш-Юр говорил твердо, без колебаний: перетянул

сходку на свою сторону, верят ему. Но тут Квайтчуня-Эська хихикнул:

— Откуда возьмется товар-то? Крысы натаскают? А возьмется — Биасин-Гал на сур изведет.

По залу прокатился гул. Удар был метким. Куш-Юр на миг растерялся. Но вспомнил слышанную ранее историю обогащения Озыр-Макки. Тот в молодости служил приказчиком у прасола. Самостоятельное дело начал на капитал, который сколотил из того, что прилипало к рукам, а прилипало к бесцеремонному Озыр-Макке немало.

Куш-Юр рукавом смахнул со лба капельки пота и сказал спокойно:

— Нашел чем корить... Плохо Гал сделал, скрывать нечего. А кто поймал? Ты, что ли? Комсомольцы! Верные помощники новой власти! И спросим с Гала построже, чем с селянина или несознательной женщины. И накажем! Это уж можете не сомневаться! Когда бы Гала укрыть хотели, стали бы через все село тащить тот бочонок в сельсовет?.. Бывает, и партийный оступается. Бывает, и служащий новой власти неправильно делает. Но не Советская власть его тому учит. От прежней власти к нему привычка перешла. Гал бочонок браги наварил — весь его грех. А у купцов приказчики не бражкой разживались, сотни да тысячи тянули! Все знаете, как разбогател Озыр-Макка...

— Не имеешь права! — взъярился Озыр-Митька.

— Почему не имею права, если это правда? Я не кричал, что не имеете права Гала обличать! Правду-матку всякий имеет право резать.— Куш-Юр говорил уверенно, чувствуя, что снова взял верх. Ему было видно, мужики одобряли его слова — кто жестом, кто переглядками с соседом, кто кивком головы.

— Правда, правда! — донеслись до него голоса с задних рядов.

Приободренный тем, что опять повел за собой сходку, Куш-Юр заговорил проникновенно про тяжелое наследие, доставшееся новой власти: темноту, невежество, суеверие, болезни, голод. Старый мир сопротивляется, как страшный зверь при издыхании.

Волнение Куш-Юра передалось слушателям, его не перебивали.

— А зачем биа-пыжи зерно по Большой Оби к морю везут, когда у вас нехватка? — неожиданно выкрикнули

опять из-за голландки. Озыр-Митька, видимо, пытался взять реванш.— Такого не бывало!

— И лучше жили! — подпел Квайтчуня-Эська.

Не отвечая на эти выкрики, Куш-Юр рассказал все, что знал про Карскую экспедицию. Потом оглядел зал и обратился к тому самому старику, с которым беседовал перед началом сходки:

— Вот, к примеру, ты, дед Епим! Что делаешь с рыбой?

— Как что? — не понял старик.

— Засаливаешь, обрабатываешь, а потом?

— Известно, часть себе на пропиток, а то продаю — на снасть, порох, табак...

— Вот и государство: часть зерна отложило на пропитание, а часть — иноземцам продает. Немного зерна продаст, рыбы северной, всю пушнину. Снасти купит, пороху, машин, табаку — ну, словом, всего, что надо народу, пока своего нет.

— С головой придумано,— прошамкал Епим.

— Товарищ Ленин придумал! — снова Куш-Юр с гордостью показал на портрет.

Из зала раздались голоса:

— Все киваешь да киваешь на стенку, а отсуль не разобрать карточку-то. Маловата шибко.

— Я отродясь не знаю, каков он, Ленин-то!

— Дозволь, председатель, взглянуть на карточку!

— Э-э, ежели все гурьбой пойдем, амвон не выдюжит. Подай, председатель, карточку сюда! Поглядим и вернем!..

Куш-Юр снял портрет и протянул его к крайнему в первом ряду мужику.

Портрет пошел по рукам. Передавали один другому:

— Гляди-ка, лобастый какой!

— С бородкой, а еще не седой. Годков с полста, поди...

— А бают, не из бедняков он...

— Ленин-то? Да он батрак из батраков! Только теперь заместо царя...

— Не бреши! Какой теперь царь? Он начальник, вроде Куш-Юра. Только самый главный.

— А глаза-то у него как у нас, зырян.

— А может, он и есть зырянин?.. Мало ли теперь зырян и на юге. Война-то, чай, по всему свету людей раскидала.

— Не-не, чистокровный русский. С Волги он. Есть

такая река. Большая, как Обь-матушка,— авторитетно, как читальщик, возразил Петул-Вась.

— А сдается мне, зырянин он! — настаивал его сосед.— Ну точь-в-точь. И глаза и скулы... Смахивает он на Акима...

Аким польщенно крякнул и погладил рукой потную лысину.

— Да говорят вам, русский! — осуждающе поморщился Петул-Вась.

— А вот мы у Куш-Юра спросим,— не унимался сосед.

— Русский, русский! — подтвердил Куш-Юр.— Да не все ли равно — он за народ болеет душой! Нашенский он вождь, Владимир Ильич!..

Нашенский, нашенский! — многоголосо подхватил зал.

Когда портрет вернулся на сцену, Эгрунь вдруг сдернула с головы подруги алую ленту и подала Куш-Юру.

— Это еще зачем? — вспыхнул тот.

— На рамочку. А то там каемочка какая-то от простого кумача,— простодушно пояснила она.

— Нет уж! Наш кумач ему больше подходит,— отрезал председатель.

Эгрунь покраснела, на место вернулась пришибленная.

«Может, надо было взять? Похоже, от души...— заколебался Куш-Юр. Но тут же решил: — Нет, так лучше!»

Сходка затягивалась, было душно, жарко, многие сняли с себя малицы и парки, Куш-Юр почувствовал: настроение меняется. А еще ни одного вопроса не обсудили. Он поспешил вернуться к тому, с чего начал.

— В Москве и Тюмени, в Тобольске и даже в Обдорске в праздник люди выходят на улицы с флагами и плакатами, песни революционные поют. А мы, миряне-зыряне, чем хуже?

В зале опять зашумели. Посыпались реплики, вопросы:

— А чего это — мы хуже-то?

— Вроде крестного хода, что ли?

— А где столько кумачу взять?

— Сарафаны с баб поснимаем!..

— Ха-ха-ха...

— Вот у Озыр-Митьки красная рубаха да еще шелковая. Чай, пожертвует для революции!..

— Заткнись, голь неразумная!..— окрысился Озыр-Митька.

— Мы и песен ссыльных-то не знаем...

— Не ссыльных, а революционных...

— «Во саду ли, в огороде»...

— Го-го-го-го!..

В ожидании, пока мужики выговорятся и угомонятся, Куш-Юр присел: он хорошо знал нрав этих по-детски чистых, порывистых людей. Они не умеют прятать своих чувств, легко возбудимы и отходчивы. Не надо только, как в половодье, лезть в затор, надо дать ему прорваться.

Когда шум схлынул, он встал и коротко объяснил смысл праздничных демонстраций. А кумач для флагов, поди, найдется у селян, возможно, и красная краска сыщется, пожертвуют для большого дела.

— Добро! Поможем! И краску найдем! — отозвались из зала.

Председатель заулыбался, довольный, и велел Писарю-Филю для порядка занести в протокол принятое решение.

— А песни поможем разучить в Нардоме по вечерам,— сказал он.— Назначим день — и милости просим. Вы народ певучий...

— Мы певучи, да хрипучи.. Попа бы заставить новые песни петь.

— Попа? Он же писклявей Озыр-Митьки!

— Ты меня не трожь, халей горластый!..

— Ого!..

— Варов-Гриша надобно сделать запевалой! Чего ему пропадать в Вотся-Горте!

— Я и там пригожусь. Мы тоже сварганим эту саму — монстрацию!

— Вокруг двух-то избушек? Умо-ри-ил!..

Почти сто глоток разом, дружно гаркнули: «Ха-ха-ха!..» Казалось, пол зашатался. Смеялся со всеми и Куш-Юр и вдруг поймал ласковый взгляд Эгруни. Она скинула с головы платок, расстегнула плисовую кофту, обнажила высокую шею и так нежно-зовуще смотрела на него, как тогда, за Юганом... Куш-Юр разом подобрался, сник. Отгоняя наваждение, сосредоточился. Ждал, когда сходка снова войдет в берега.

По плану, который Куш-Юр составил днем, сейчас предстояло рассказать про новую экономическую политику и торговлю. Но речь об этом уже шла, повторяться — людей утомить. И он заговорил про ликвидацию неграмотности взрослого населения. Слова полились легко, душевно. Куш-Юр вспомнил студента-очкарика, научившего его грамоте. Оттого ли, что это была первая деталь его биографии, которая стала известна селянам, или просто

интересный, живой факт среди пламенных призывов, сходка не осталась безучастной.

Но прямого согласия учиться никто не давал, ссылаясь на занятость по хозяйству, на дырявую память, на отсутствие бумаги и карандашей даже для ребятишек. Как всегда, шутили и подтрунивали над собой.

Куш-Юр слушал и довольно потирал руки. Он боялся решительного отказа. А раз по-доброму говорят, да еще шутят, то и согласятся. Понимал — стесняются, будто малые дети, учиться грамоте...

Пошутили, пошутили зыряне и порешили: посещать кружок ликбеза при Нардоме, добавив — по возможности. И еще поправились: пока только одним мужчинам, для пробы, что из этого выйдет...

— Выйдет! Так и запиши, Филипп.— Куш-Юр принимал все оговорки.

— Писарь с дыркой... Каппутый-лизнутый...— поддели из зала.

Все село уже знало про исправление испорченного списка. Сам писарь тогда же по оплошности обронил злополучную бумагу. Кто-то из посетителей сельсовета подобрал ее, дал грамотному прочесть, и поползли слухи про «каппутое-лизнутое».

Филь успел привыкнуть к новому прозвищу и сейчас строчил протокол, не обращая внимания на насмешки.

— А теперь пойдет разговор...— начал было Куш-Юр, но его прервал густой голос из зала:

— Кровопийцев-то когда покажете? Надоело ждать. Возьмем да уйдем!

Ничего не зная о затее комсомольцев, не предупрежденный ими, Куш-Юр подумал, что его снова провоцируют на пререкания с Озыр-Митькой. И он ответил резко:

— Если кому поглядеть охота — можем и показать. Не постесняемся! Не перевелись! Батраков за братьев выдают, породниться чают, думают, нам эти хитрости невдомек. Все видим! И вызволим батраков из тенет! На то поставлены. И власть имеем от рабочих и крестьян!

Тут выскочил на подмостки Вечка, шепнул Куш-Юру про затею комсомольцев. Куш-Юр нахмурился — понял, что излишне погорячился и, пожалуй, промахнулся.

— Тихо, тихо! — поднял руку Вечка.— Все покажем. Кончится сходка, и покажем. Кто уйдет — ой как пожалеет!

4

Вечка не восстановил порядка. Гул в зале нарастал. Из задних рядов выкрикнули:

— Эй, председатель! Молва идет — жениться хочешь на Эгруни. Правда, что ли?

И было не понять — то ли это обыкновенный житейский интерес, то ли хитрая подковырка. Да Куш-Юр и не вникал в тонкости, побледнел так, что это стало видно даже в продымленном и слабо освещенном зале. Сотни две глаз сверлили его, выворачивали наизнанку. Соображая, как поступить, Куш-Юр, сам не зная почему, покосился на Эгрунь и увидел: та радостно прижалась к подруге. Ненависть закипела в нем. Еще не обдумав, то ли он делает, только чувствуя, что молчать нельзя, он чуть слышно выдавил:

— Брех-хня-я! — И еще раз почти крикнул: — Бр-рех-хня-я!

Но этот выкрик не удовлетворил людей. Новые укоряющие возгласы посыпались с мест:

— Ай, председатель!.. За Юган ездили?

— Как не ездили — бабы видели...

— Вперед он, следом она...

— У поленницы свиделись...

— Место подходящее...

И пошло, и пошло... Словно гнойник прорвался. Выплеснулись разом все сплетни, грязные, липкие...

И поползли...

«Скажи, как было. И отстанут все!» — будто кто-то шептал Куш-Юру. Но он сжал губы: хоть и кулацкое отродье, но девка, позорить ее, а себя выгораживать — не мужское дело.

— Ну, хватит трепать! — взорвался Куш-Юр.— Говорю — ничего не было...

— Еще не говорил...— насмешливо выкрикнули из зала.

— Так уж и ничего...— усмехнулся кто-то.

Для Гриша все услышанное было неожиданностью. «Отчего Куш-Юр давеча про это не обмолвился? Али в самом деле дал опутать себя? Упреждал ведь... Поди, оттого такой невеселый был...»

Размышление его оборвал Мишка Караванщик, толкнул в бок и прошептал зло, почти вслух:

— Дела какие делаются... Что попы, что начальники...

Гадко стало Гришу. Куш-Юру он поверил без колебаний и, словно в пику Мишке, гаркнул во весь голос:

— Что вы, как бабы! Дайте сказать!..

— Говорю, ничего не было такого...— Куш-Юр запнулся...

— Вот это уж зря!..

Последний возглас развеселил мужиков, настроил их на нескромные шуточки.

— Такая сдоба, и не распочал! Эх, председатель!

— Я-то уважил бы, выручил бы ее...

— И я... Жаль, рыбалил...

— Го-го-го!.. Ха-ха-ха!..

Озыр-Митька словно взбесился:

— Цы-ыц... Сестра моя не такая! Брешет безволосый!

Гриш снова поспешил на выручку другу:

— Ничего он такого не сбрехнул! Все слышали!

— А что ездила с ним?..— перебил Озыр-Митька.

— Пускай сама скажет! — потребовало сразу несколько голосов.

Эгрунь, всегда бедовая и самонадеянная, сникла, поняв, что от нее требуют всенародно исповедоваться... Все же она поднялась с места, хотела что-то сказать, но, закрыв лицо ладонями, вдруг, как подкошенная, плюхнулась на скамью, уткнулась в плечо подруги.

— Не дело делаете, мужики! Как председатель не позволю! У нас сходка, а не бабьи сплетни, не посиделки!..— гаркнул Куш-Юр.

— Заодно с ней, вот и концы прячешь!..— ответили ему.

Но Куш-Юр уже овладел собой, чувствовал, что способен вести этот нелегкий, но нужный разговор, который может разом оборвать все сплетни. Он парировал реплику:

— А вот, если хочешь знать, человек хороший, не заодно! Разной мы с нею веры!

— Разве же она некрещеная?

— Не про ту веру говорю. Я большевик, из трудящего народу! А она богатейка, дочь врага народной власти. На измену этой власти я не пойду, хоть тыщу раз красивая и сдобная!

И опять на подмосток выскочил Вечка. Не попросив слова, быстрой скороговоркой, возбужденно рассказал о ночном покушении на председателя. Куш-Юр пытался остановить парня. Но народ потребовал дать ему досказать до конца. Для большинства это было новостью.

Стрелять в человека — не шутка! В зале воцарилась тишина. Только возле печки поскрипывала скамья, будто кто-то беспокойно ерзал.

— А кто стрелял-то? — нарушил тишину Гриш.

— Не поймали,— ответил Вечка.— Четырежды пальнул. Даже малицу изрешетил. Хорошо, толстая угадала...

В разных концах зала зацокали языками.

— Кто же палил? — повторил настойчиво Гриш.

— Кто, как не кровопийца! — бросил Вечка.

— Может, Яран-Яшка? По Эгруньке сохнет!..— предположили в конце зала.

Яшка вскочил с места, затряс головой:

— Моя не стрелял! Пошто моя стрелять путет? Моя маленько попугал...

— Ишь, маленько попугал — четырежды пальнул!..— возмутился Гриш.

— Моя стрелял нет. Я тумал, он люпит моя невеста. Сказал про северный закон. Моя только сказал. Но моя стрелял нет...

— А невеста-то кто? Эгрунь, что ль? — Мишка Караванщик притворился, будто не понимает.

Яран-Яшка радостно затряс головой и тут же скис, потупился, по-детски пожалился, что вот брат Митька согласен на свадьбу, а Эгрунь не желает за него выходить.

Мужики дивились:

— Дела-а!.. Озыр-Митька — брат Яшке... Хитер! Вовсе прибирает Яшку к рукам...

— Цы-ыц! Будет бренчать боталами! Не ваше дело соваться, куда не следовает! — ощерился Озыр-Митька.

Но мужики не унимались:

— Кто же стрелял в председателя? А, Митрий?

Озыр-Митька стал краснее волчьей ягоды, подскочил.

— Господи! Что же это такое?! За кого нас считают? Звери, что ли, мы?

Вскочил с места и Квайтчуня-Эська, затряс черной окладистой бородой, завертелся, ища сочувствия.

— Побойтесь бога, мужики! — крестился он.— Мы еще не свихнулись, чтоб руку на власть поднимать! Пускай живет себе на здравие Роман, как его по батюшке... Иваныч, кажись...

Кто-то из зала, будто поверя бывшим сельским воротилам, сказал со скрытым ехидством:

— Ну, Митька да Эська — овечки. Это Эгрунька-заноза стреляла. Другой зазнобе чтоб не достался...

«Ой, беда-беда!» — обомлела Эгрунь, не поняв подковырки. Она сидела ни жива ни мертва: вспомнила вдруг то воскресенье. Яшка после обеда чистил ружье, набивал патроны. Под вечер куда-то пропал. Эськины сыновья приходили звать Яшку в Нардом, и она обегала все комнаты, весь двор — не нашла. Спросила Митьку, тот в ответ сердито рявкнул. Яшка вернулся под утро, весь промокший, притащил пару уток. Она ужаснулась своей догадке: хотели убить Романа!.. Только сейчас впервые поняла. Собралась вскочить, обличить и еще больше ужаснулась — что делает... Еще и брата, как отца... Но Роман? Голова шла кругом. А тут еще ее подозревают...

Медленно поднялась, бледная, испуганная.

— Ой, что вы!..— губы ее задергались.— Да чтоб я стрельнула в Романа?! — Ни она, ни кто другой не заметил, что Эгрунь запросто назвала председателя по имени.— Да я в жись пищаль-то в руки не брала! С какого конца палить — не знаю! Боже ты мой! — Слезы текли по ее щекам.— Да чтоб я в него!.. Ненавидела я Романа поначалу. Ой как ненавидела! А потом, не знаю за что, полюбила... Ей-богу!.. Люблю, и все! — Другое признание рвалось ей на язык, но, поперхнувшись, икнув, она рухнула на скамью, закрыла лицо руками, разрыдалась в голос.

Куш-Юр растерянно махал на нее руками — мол, замолчи, дура, чего мелешь при народе. А Озыр-Митька сорвался с места, трясет кулаками, вопит:

— Срамница! Подлюга! Тьфу! Красного комиссара! Отцова убивцу!..— И вдруг утих, обмяк, заторопился к выходу: — Ну вас всех с этой сходкой!.. Не ходил и ходить не буду!..

— Расстройство одно! — подхватил Квайтчуня-Эська.— Уйдем от греха.

Поднялись и другие, сидевшие с ними рядом возле печи.

Вослед им закричали:

— Ну и проваливайте!

— Знать, на воре шапка горит...

Куш-Юр с удовлетворением отметил — Яран-Яшка не ушел.

«Из-за Эгруни, наверно, остался? А может, понимать начал? Отколется? Вот бы... Славно все вышло... Верно, нет худа без добра...»

Повеселев, кивнул на дверь и сказал вслух:

— К лучшему! Объяснились малость.— И перевел взгляд на Эгрунь. Та все плакала. Куш-Юр поклонился ей и сказал:

— За любовь и признание — спасибо, Эгрунь, от всей души. Но от слов своих не отказываюсь — не сгоряча кидал... Не обессудь. Вот так... Вытирай слезы. Найдешь свое счастье... Верно, миряне-зыряне?

— Верно!

— Сорока орлу не пара.

— Как не найти! Заманчива! Мне б такую, да старуху куда деть?

Огонек в светильниках заплясал, табачное облако заколыхалось от дружного раскатистого смеха, который вызвала эта простецкая и смачная шутка. Даже Эгрунь прыснула сквозь слезы.

Никем не замеченный, ввалился в зал Гажа-Эль. Большой, взлохмаченный, заспанный, заслонил входную дверь.

— Вот где весело-то, якуня-макуня! — прохрипел он то ли со сна, то ли с перепоя.— Суру, что ли, напились?

Редко когда он появлялся так кстати.

— А, Элексей! Проходи! На амвон прямо! — крикнули ему.

— Герой! Про Галкину тайность дознался!

— Комсомолу подсобник.

— Сказывай, как дело было, куда сур-то дели?

Гажа-Эль укоризненно покачал головой:

— М-м, зубоскалы. Никому я не подсоблял. Сорванцы из-под носа утартали целый бочонок. Обидно аж...

— Иди на амвон, говорят тебе. Там бочонок! — подтолкнул Мишка Караванщик.

Гажа-Эль поверил, обрадовался и под веселый гул направился к подмостку, бесцеремонно перешагивая через сидящих на полу. Обшарив сцену, понял, что над ним подшутили, и горестно вздохнул:

— Эх, якуня-макуня! Вздумали изгаляться! Сур-то где? — уставился он на председателя.

— Вылили в реку. Бочонок выполоскали и на склад сдали.

— Ой, якуня-макуня! — Гажа-Эль схватился за голову.— Такое добро в реку! Хоть ковшик оставили б! За подсобление!

— Надо было! Не по-божески поступили! — выкрикнули из зала.

— Тогда и парням, выходит, следовало оставить. Они

ж докопались,— возразил Куш-Юр.— Не-ет, не пить, так всем!

— Тоже верно! Все ноне равны.

— Бабам, поди, к растопке вставать. Показывай мирских кровопийцев! Показывай! — раздался требовательный голос. Все дружно поддержали.

Вечка взглянул на председателя, спрашивая разрешения.

— Валяй, что вы там затеяли...

5

Подмостки вмиг превратились в заправскую сцену. Занавес из старого каюкового паруса задернулся. Вечка объявил, что сейчас начинается представление «Мужик, баба и пономарь», после чего состоится показ мирских кровопийцев, а потом игры и танцы для молодежи.

Гул постепенно смолк. Раздвинулся занавес. Все уставились на сцену.

Она походила сейчас на комнатушку в обычной крестьянской избе. Нехитрая обстановка, в углу светился образок.

По названию спектакля многие догадались, что увидят известную зырянскую сказку про мужика, его жену и пономаря-блудню. И не ошиблись.

Комсомольцы сами инсценировали сказку, сами играли. Правда, роль жены пришлось исполнять парню — ни одну девушку, тем более женщину, не удалось уговорить выступить на сцене. Может, бедовая Эгрунь рискнула бы, но ее не попросили — с дочкой контры комсомольцы связываться не хотели.

Халей-Ванька, которому выпало комсомольское поручение изобразить женщину, загримировался старательно. Надел длинный широкий сарафан с передником, меховые туфли с узорами, нацепил баба-юр с кокошником и даже довольно похоже подделал выпуклости спереди. Зрители потешались, шутливые замечания сыпали без удержу.

Мужик выглядел естественнее: в броднях, в суконной парке, надетой поверх малицы, как перед дальней рыбалкой. Только усы из древесного лишайника уж очень потешно топорщились под носом артиста. Зрители обсмеяли и мужика, хотя меньше, чем бабу.

Смех, подшучивания не смутили исполнителей. Действие началось без запинки.

Спектакли в Мужах были еще вновину. От лицедейства ждали всамделишности. А на сцене жена чересчур трогательно, со слезами, с поцелуями, как не сделает ни одна зырянская женщина, провожала мужа на промысел. Да и муж, прощаясь, нарочито ласкал жену. Все выглядело забавно. Когда же, проводив мужа, баба круто повеселела и даже пошла приплясывать, раздался всеобщий хохот. Смеялись мужчины и друг в друга пальцами тыкали: «Вот что бабы без нас-то выделывают!»

Хохот, мужичьи реплики заглушали не только полушепот суфлера, но и голоса актеров. Но никто не жаловался. И без того все понятно.

Появление пономаря, плутоватого, гривастого, с козлиной бородкой, зал встретил бурей восторгов.

Трижды сотворив крестное знамение, пономарь нараспев возблагодарил бога за счастье побыть наедине с ангелом своей души — хозяйкой. По голосу все узнали Вечку.

Несколько минут сыпались похвалы. Удивлялись, мол, ну и Вечка, сумел же так ловко вырядиться. И похоже до чего! И слова тянет совсем как пономарь, даром что комсомол.

Зрители увлеклись представлением. Кокетство хозяйки, пылкие ухаживания пономаря принимались на веру, смешили и возмущали. Вот ведь какие плутни творят, мужика обманывают!

Неожиданное возвращение мужа за забытыми брезентовыми рукавицами зал встретил вздохом радости.

— В сундуке пономарь! — На сходке так не гаркали, как сейчас, желая помочь обманутому мужу.

Мужик схватил топор и безжалостно застучал им по сундуку. Это вызвало одобрение зала. Но иные и заойкали от испугу.

Из разломанного сундука вывалился полуживой пономарь. Заикаясь, он просил у мужика пощады. Тот от ярости схватил пономаря за «бороденку» и выдрал ее. Все восприняли это, будто так и надо.

— За гриву, за гриву потаскай! — потребовали еще.

Заключительная реплика мужика падала в хорошо подготовленную почву:

— Вот вам и безгрешность церковников! Они сами в бога-то не веруют и творят всякую гадость. Где святость религии! Все это обман, чтобы одурачивать нас! Правду я говорю?!

— Истинно так!..

— Долой религию!

— Бабу еще помяни! Про ее что не сказываешь! — горячился кто-то в зале.

Но это не входило в замысел комсомольцев. Вечка строго всех предупредил, чтоб никакой отсебятины не вносили. Мужик раскланялся и закрыл занавес.

Возбуждение улеглось не сразу. И когда Вечка, сам еще взволнованный успехом представления, пригласил селян пройти через створчатую дверь в сельсовет, поглазеть на кровопийца, люди не сразу сообразили, что к чему. Забыли все о главной-то интриге.

Две девушки первыми очутились у двери. Они храбро перешагнули порог и вошли в сельсовет. Огляделись — ничего особенного, все по-старому. Подошли к столу председателя. Там возле лампы увидели плоскую стеклянную баночку. В нее был вложен кружок из белой бумаги и на нем приклеены большущий клоп и крупная вошь. Перед банкой лежал лист плотной бумаги с призывом: «Боритесь с паразитами!.. Чистота — залог здоровья!»

Девушки расхохотались, но тут же обиделись, что их одурачили. Одна из них не преминула съязвить — не на себе ли Вечка поймал таких жирных «зверей». Девушки кинулись было назад, в Нардом — объявить всем об обмане.

Вечка загородил дорогу «санитарно просветившимся»:

— Стой, не болтать! Проваливайте и никому ни гугу! А то одни окажетесь в дураках.

Девушки сказали новую колкость и, смеясь, убежали.

«Чертовы куклы! — чесал в затылке Вечка.— Еще и просмеют... Своей оглоблей себя и огреем...» — Но приостанавливать показ «кровопийцев» не мог: народ напирал.

Несколько селян, как и девушки, посмеялись. Но ушли разочарованные. Однако пообещали все же молчать.

Один Гажа-Эль не поддался на уговоры комсомольцев — в отместку за отобранный бочонок сура. Удержать в двери его не смогли даже четверо парней. Легко отстранив их, он вернулся в Нардом и огласил тайну комсомольцев.

Кто зашумел, кто посмеялся, а кто посетовал на зря потерянное время — таких «кровопийцев» в каждой избе пруд пруди.

Комсомольцы приуныли, засомневались: пожалуй, зря затеяли.

— Да нет, ребята! Молодцы! — похвалил их Гриш.— И представили хорошо. И придумали тоже неплохо...

Выходили из Нардома пармщики вместе.

Мишка поругивался — мол, знал бы, не ходил: одна ерундовина.

Он и пошел-то на сходку только оттого, что затомился с Гаддей-Парассей: вовсе баба ума лишилась. Все ластится да ластится. Старухи не стесняется, ненасытная... Представление окончательно испортило Мишке настроение: добром плутни не кончаются...

— Чего-нибудь для ума показали б,— вздыхал он.

— Умственного и без того много было... Ну и в сказке — намек-урок,— возразил Гриш.

Мишка поспешил перевести разговор на другое и указал на вызвездившееся небо:

— Осень свое берет. Ишь, как небушко разукрасилось! Грязь пристыла. Не ровен час, и протоки застынут. Не зазимовать бы в селе...

— Я не против,— признался Гажа-Эль.— На людях все ж веселее.

— Про деток забыл, а? Это Мишке все нипочем, а нам — домой торопиться.— В голосе Гриша сквозила озабоченность. Гнал, гнал он от себя тревожную думу. А она все возвращалась, червячком точила душу: по силам ли четверым счастье обуздывать, резон ли в одиночку новую жизнь лепить? После сегодняшней сходки, после представления щемило Гришу сердце. Но он гнал сомнения: «С утра бабы в церкви побывают, в мир-лавке свое заберем и в обед — в обратную путь-дороженьку!»

Глава пятнадцатая

САНДРА

1

Хлопот у Сандры полон рот. Глаз утром водой не сполоснет — уже носится как угорелая. В одну избу, в другую. Печки растопить, коров подоить, детей утихомирить... И за Сенькой еще приглядывать приходится, все ленится. А ведь ему тоже работенки ой-ой-ой: и дров наколоть,

и скотину покормить, и хлев убрать. Но главное — в тайгу сходить, проверить поставленные на глухарей петли да плашки, свежего мяска детишкам принести. Сенька всего лишь раз притащил глухаря, и то истрепанного воронами.

— Ты, чай, и ловушки-то не осматриваешь, дрыхнешь под деревом? — ворчала Сандра.— Этак-то с голоду подохнем, пока кормильцы приедут.

— На молоке проживем,— беспечно отмахивался Сенька.

— Ну и ленив! Жрать — ад, а работать — гад,— дивилась Сандра.

А Сеньке — хоть бы что. Посмеивается:

— Чудные вы, бабы. Думал, одна моя Парасся ворчлива. А и ты не лучше, хоть и моложе.

— Бессовестный,— охала Сандра.— Мне от детишек одних достается, еще тебя погонять!!

Но ей нравилось погонять Сеньку. Нравилось разнимать и мирить ребятишек, вечно чего-то не поделивших. Энька, ужасный дразнила, наполучал от нее даже шлепков. Под руку попалась Нюрка — и ей влетело. Та — выть: и больно и обидно — не из-за чего. Сандра пуще бранится. Но злости в ее голосе не было. Хоть и чужую таскала ношу, а не тяготила она спины и плеч не отдавливала. Чуткий Илька уловил это и с детской прямотой спросил:

— Почему ты, тетя Сана, сердишься, а не зло?

Она подивилась понятливости мальчика. Отшатнулась. Никому на свете не открылась бы она, сколь мило ей сознавать себя хозяйкой дома, матерью большой семьи...

Не чуя ног от усталости, всех накормив, напоив, уложив в постельки, набранившись-наворчавшись, укладывалась и сама рядом с уже посапывавшим голубоглазеньким, как мать, Федюненькой. Прижимая к себе малыша, она молила бога, чтоб Елення и все заодно с ней подольше гостили бы в Мужах. А Гаддя-Парасся чтобы вовсе не возвращалась.

Гаддю-Парассю она люто возненавидела.

В Мужах они почти не знавались. И вот, довел бог, поселились под одной крышей. Сандре Парасся не понравилась. А после того, что приметила она за ней и Мишкой, и видеть мерзкую не могла без отвращения. Но должна была терпеть. Куда деваться — в одной избе... О-о, если бы печаль по Роману, если б горе не придавило, не сковало ее молчанием... Только вот и ожила, когда осталась

за мать и хозяйку. Как хорошо-то: всем нужна!.. А вернется подлая Парасся, может статься, не вытерпит Сандра...

Мишка... Эх, Мишка!..

Выходя замуж, Сандра не думала, как сложится ее жизнь. Одно было желание — загасить любовь к Роману, спасти себя от греха. Ведь к тому все неминуемо шло. Возможно, подожди она, и другой посватался бы. Но было все равно, лишь бы от Романа немедля загородиться. Лишь бы от греха подальше, от безбожника..

Искала спасения, а совершила над собой страшное насилие. Роман нейдет из головы. Мишка ласкает, а ей чудится — Роман это. Зажмурится, и кажется — он с ней. Откроет глаза, увидит Мишку, отвернется, оттолкнет его. Так ей противно и гадко...

«Пройдет, сживусь...» — успокаивала она себя.

Но влечения к Мишке не появилось. «Уж лучше вовек не иметь мужика, чем терпеть такую муку, покоряться мужниным желаниям»,— думала она. И возражала себе: «Но и Роман — мужик. Тогда и он такой!» И отрицала сомнения. С Романом интереснее. Он и расскажет про что-нибудь, и расспросит про всякий пустяк, и ласково назовет и обнимет, а поцелует застенчиво — сердце прямо зайдет от сладости, руки так и тянутся его за шею обнять...

Эх, ребеночка бы Сандре! Стерпела бы все, забыла бы Романа... Она с завистью поглядывала на соседок. Ради счастья иметь ребенка и Мишку терпела. Но по-прежнему оставалась порожней, хабторкой.

Разное приходило Сандре на ум. То казалось, что это кара от бога за любовь к Роману. Целовалась с Романом, надев баба-юр... То терзалась, что порченая она. И порча за материн грех... То ругала себя, что зря казнится, не в ней причина — в Мишке. Так ли, нет — тут она и вовсе ничего не смыслила, а спросить женщин стеснялась. А если и в муже причина — в наказанье он ей такой достался. И нечего роптать. Век теперь жить рядом...

Усмирила, убедила, уломала себя Сандра... И вдруг заметила — Мишка неверен ей!.. И на кого променял!..

Всю подушку в ту ночь слезами вымочила. Лучше б удавил, зарезал, чем вот так испоганить... Как же теперь? Пусть до смерти забьет, а после Парасськи его не примет...

А Парасся и глаз не прятала. Так в обмане и живут. И ничего. И бога не боятся...

Тогда и придавило Сандру горе. День и ночь — одна дума: обман, обман... А если откроются плутни?

В отчаянии она надумала сбежать в Мужи. Себе Сандра говорила — мол, помолюсь, исповедуюсь, испрошу совета у божьего человека. Но в тайне души нянчила мечту повидать Романа. Ведь обещал, если худо ей будет, помочь. Любить и ждать обещал... И сама на себя взъелась: «Опят против бога?!»

Мысли путались: бог! Бог! А за богом-то — с худым... А если против бога — то с хорошим... Но грех! И матушка ее, Сандру, в грехе родила...

И решила Сандра наложить на себя руки... Решила это как-то спокойно. Не было никакого страха. Она приглядела в стайке вожжи. Сходила в рощу, выбрала по себе березку...

В тот день все как раз загорелись в Мужи ехать. У нее сердце екнуло: как хорошо! Останется в Вотся-Горте одна за караульщицу и сотворит задуманное. А ей на руки деток кинули! Отказаться не посмела...

А потом Сандра обрадовалась, что так вышло. Бог в утешенье случай такой послал!

Прижимая Федюньку, она немела от радости. И благодарила всевышнего, что простил ей греховные намерения. В душе Сандры затеплилась надежда, может, и порча с нее снимется. Пускай возвращается Мишка. Пускай хоть рыженький, пускай от него, но своя плоть...

2

Сандра день-деньской покрикивала на Сеньку, но в душе жалела его. В чем-то она чувствовала себя даже виноватой перед ним. А Сенька был мягок с ней, можно сказать, почтителен и уважителен. Знал ли он что, догадывался ли, сочувствовал ли ей?.. Или совсем уж недоумок Сенька, бедолага?..

Два дня лил дождь. Сандра с детьми и Сенька до вечера сидели в одной избе. Только спать Сенька со своими ребятишками уходил в другой дом. Ребята играли да ссорились, Сандра мирила да наставляла их, а Сенька тихохонько посиживал на полу, поджав ноги, посапывал и, казалось, дремал. Но однажды Сандра поймала на себе его пристальный взгляд и ахнула от неожиданности. Сенька, конечно, тут же засоней прикинулся. Но она поняла, следит он за ней и ровно выжидает случая, что-то сказать силится, да не решается. «Одной печалью со мною связан»,— с жалостью подумала она.

Но ошиблась Сандра. Сенька на самом деле не спускал с нее глаз, а думал совсем о другом. Он и не подозревал, что обманут Парассей.

Молодая, статная женщина вдруг пробудила в нем мысли, которых никогда у него не было. Десять лет жил он с Парассей и не задумывался, какая она: лучше ли, хуже ли других. И женился не думавши. Подошли года, появилась в доме сваха, мать сказала, жениться-де пора. Зажил с женой. И без нее уже не мог обходиться...

И вдруг на тебе! Возникло желание сравнивать.

Парасся тоже работящая, быстрая, а у Сандры как-то ловчее выходит. Ровно порхает она туда-сюда, вроде пританцовывает. Парасся будто со злобой все делает, а Сандра, видать, с охотой, мягонько, нежненько. Вон Нюрку отшлепала, так и ему, Сеньке, видно — легкой рукой, даром что не мать. Тоже на него, на Сеньку, пофыркает, а и не как Парасся — вовсе не обидно.

И так какой стороны ни коснется — за Сандрой перевес. Он и греховной стороны не обходил. И тут любо-дорого, аж зажмуривается. И впервые Сеньке пришло в голову, что с женитьбой ему не повезло. Могла ведь и ему попасться Сандра, поди, были такие в его года... А может, одна такая, редкостная? Ну, да все одно, не повезло, пораньше ее родился...

3

По лицу Сеньки не угадать ни мыслей, ни переживаний: малоподвижное, оно почти никогда не меняло своего выражения. И Сандре век бы не догадаться, о чем он думает. Но, приметив, что он наблюдает за ней, она вдруг чего-то испугалась. Почудилось в его взгляде что-то нехорошее. И запало ей: задумал Сенька недоброе, не иначе как решил Мишке через нее отомстить...

На ночь Сандра закрыла дверь на засов да еще слегой подперла.

А утром дождь прекратился, небо поголубело, ветер утихомирился, река заблестела, как вымытое зеркало. И Сандра, вспомнив свои вчерашние страхи, рассмеялась.

— День-то сегодня какой! Тишь и благодать! — умилился и Сенька. И собрался в тайгу поглядеть на петли, авось что и попалось...

Сандра обрадовалась. А тому, что надумал он детишек с собой взять, воспротивилась. Но Сенька стоял на своем,

утверждал, что собственным чадам он сам хозяин. Ей пришлось уступить. Ну, а раз одни дети собрались, то и других не удержишь. Ревут, просятся..

Одела Сандра ребят потеплее. Ильке, и тому разрешила погулять с дядей Сеней. Усадила всех в неводник.

Сенька устроился чинно на корме, Эньке, Анке и Нюрке позволил грести легкими веслами. Сандра посмеялась, когда Сенька скомандовал: «Вперед, сопливая команда!» — и вернулась в избу. Там она уложила спать Галку, младшего Парасськиного сынишку, и разыгралась с Федюнькой. Уж так он ей мил. И волосики ему причешет, и на руках подкинет, и обцелует всего. Мальчишку спать потянуло. Она уложила его и прикорнула рядом.

Немного времени прошло — слышит возбужденные ребячьи голоса. А Сенька упрашивает: «Сандре не сказывайте!» Обмерла: что случилось?

Выскочила на крыльцо. Ребята, завидя ее, испуганно загалдели:

— Медведя повстречали!

— Мы в лес, а он из лесу!

— Ба-альшущий! И ла-ахматый!

— Воздух нюхал!

— Мы в лодку, а он за нами!

Сандра побледнела и схватилась за голову:

— Боже ты мой! Мог ведь задрать! Горе-то какое... Говорила же — не бери детей!..— накинулась она на Сеньку.

Сенька виновато кривил лицо.

— Ружье-то хоть не обсопливел? — донимала Сандра.

Озорно стрельнув глазами в сторону Сеньки, Энька не без удовольствия выпалил:

— А у него и ружья-то не было!

Видимо, об этом Сенька просил не говорить Сандре, потому что он как-то укоризненно посмотрел на мальчика и опустил голову.

А Сандра еще пуще заохала:

— Ой, беда, беда! Теперь неотпугнутый медведь к нам переплывет. Заберется ночью в избу или в стайку — вот будет горе нам!

— Не переплывет,— приосаниваясь, уверил Сенька.— А если пожалует — не твоя печаль, сам задам ему жару.

— Ты?! Срамота на всю губернию! — язвила Сандра, но в душе ей было жаль Сеньку.

До самого ужина Сенька не показывался Сандре на

глаза и к столу явился после того, как она послала за ним Нюрку. Отужинал молча и ушел.

Ночь выдалась тихая, ясная. Ребятишки уснули быстро. А Сандре не спалось — не давала покою мысль о медведе. Как знать, вдруг и в самом деле переберется на этот берег — вода небольшая.

«Поди, чует нашу скотину,— не покидало ее беспокойство, и она прижимала к себе Федюньку.— Пожалует, нападет на коней, задерет, а то искалечит. И к коровам может подступиться, что ему стайка. Сшибет дверь лапой — вся развалится. И в избу вломится...»

От этой мысли у нее мороз по коже пробежал. На Сеньку надежда плохая, а скорее — никакой. Наверное, дрыхнет...

Сандра прислушалась — не бродит ли кто на дворе.

«На грех, и собаки-то нет. Гриш в Мужи забрал, чтоб не скучала без хозяина. Детей вот оставили, черти, прости господи...» Она перекрестилась.

Не спалось и Сеньке. С боку на бок ворочался, мучился незадачей своей. В первый раз переживал так... Хотел перед Сандрой показать себя, полную калданку уток настрелять собрался — табуны их на воде чернеют. И как ружье-то позабыл? Все из-за ребятишек. Лучше бы не брал их... Так опять же ей хотел покою дать немного. Намучилась же с малышней...

Вот ведь невезучий какой!.. Всяко пересмеяла. А вернутся гостеване и вовсе ухохочутся. И не так было обидно, что они над ним посмеются, как то, что от Сандры насмешка пойдет.

Как ему захотелось, чтоб медведь пожаловал! Уж он бы отпугнул мохнатого! Уж показал бы себя перед Сандрой настоящим мужчиной! И Сенька вскочил с постели, сунул босые ноги в старые калоши Мишки Караванщика, накинул на плечи женину кофту с заплатами и, прихватив ружьишко, вышел во двор.

На небе густо и ярко сияли звезды, желтые, крупные, что спелая морошка. Свет от них разжижал осеннюю мглу. Сенька без труда различал темные силуэты деревьев, построек. Даже тропинка между избами и та видна. Правда, чуть-чуть. Вокруг было тихо и таинственно.

Поежившись от холода, Сенька поправил великоватые калоши и, зажав ружье под мышкой, зашлепал по тропинке взад-вперед, как часовой на посту.

Сандра уже засыпала. И вдруг уловила чьи-то неуклю-

жие шаги. «Медведь!» — она в испуге вскочила, метнулась к двери, проверила запоры — и к окну.

«Никак Сенька!.. Он!.. Вконец ополоумел. Чего ночью шастает?.. Никак с ружьем? С ружьем... Медведя, верно, подкарауливает... Смотри-ка...» — и ей стало неловко за свои шутки и насмешки, а того больше — за свои страхи. И уже нисколько не боясь Сеньки, желая немедленно сказать ему что-то доброе, хорошее, она отбросила запоры, выскочила на крыльцо прямо в нижней рубашке.

— Ты чего не спишь? — окликнула она Сеньку.

От неожиданности он вздрогнул, смешался.

— Иди, Сеня, спать. Не перейдет медведь реку-то. Поди, уж позабыл про нас...

— А как перейдет? Пальнул бы давеча, так отпугнул бы,— едва слышно промямлил Сенька, не поднимая на Сандру глаз.

— Ну, с кем не бывает... Иди, Сеня, чего стынуть-то. Придет, так даст знать, небось услышим... Чай, скоро и наши приедут...

— Ага,— сказал Сенька посмелей.— Погода наладилась. Наверное, едут. Может, завтра и будут...

— Может...— печальным эхом отозвалась Сандра и ушла в избу.

Сеньку удивила эта внезапная перемена в голосе Сандры.

Он набил трубочку и еще долго попыхивал, зябко вздрагивал, кутался в кофту. Тронутый участием женщины, Сенька готов был целую вечность охранять тропинку, дом, в котором она спала...

4

Вечером следующего дня остров огласили радостные ребячьи возгласы:

— Мамы приехали!.. Папы приехали!..

Дети кинулись к матерям, матери к детям, словно век не виделись.

Сандра сразу оказалась не нужна. Ее кольнуло, что женщины и слова благодарного не сказали ей. Лаская детей, матери пристально оглядывали своих чад. А ей казалось, будто выискивают они перемены в них, в коих она повинна. Особенно ревновала она Еленню к Федюньке. Полюбила она мальчишку. Такое у нее было чувство, будто родное дитя от нее отбирают.

Хозяйки сразу же захлопотали — каждая на своей половине. А мужики присели прямо на бережку передохнуть, покурить. Притомились: каюк всю дорогу пришлось бурлачить: нагруженный, сидел глубоко. А воды хоть прибавилось после дождей, да ненамного.

И еще бросилось Сандре в глаза: невеселые вернулись люди — что бабы, что мужики. Мишка какой-то взбеленный, смотрит исподлобья, словно насильно его сюда пригнали. Хоть и недолго Сандра жила с мужем, а научилась понимать его безошибочно. Сейчас лучше под руку Мишке не попадаться. Только и ждет, на ком бы душу отвести. Сандра не стала спрашивать людей, отчего они такие.

Но если и спросила бы — немного узнала. За весь обратный путь мужики и десяти фраз не обронили. А добирались до острова больше суток. Бабы, глядя на них, тоже помалкивали. Каждый думал свое. И сейчас не стал бы делиться. Причин тому много.

Начать с Гажа-Эля. Он вздыхал: кругом-то ему не везло. Так и не удалось найти в селе самогону или бражки. Очень был недоволен Гажа-Эль тем, что Гриш заспешил в обратную дорогу, не дал ему продолжать поиски. От досады Эль клял тот час, когда согласился забраться на этот остров, едят его комары! Как медведь в берлоге. Дрыхни да лапу соси. В селе не сегодня, так завтра отведешь душу... Подчистую комсомолы сур не выведут. Мужики тоже не без головы, что-нито придумают. Да и веселее на людях...

Эль старался не встречаться взглядом с Гришем и тем давал ему понять, что он недоволен возвращением на остров. Кабы не долг Ма-Муувему, пока река не стала, махнул бы обратно...

Но делиться сейчас этим своим намерением, Эль понимал, было неразумно. Оттого и помалкивал.

Мишка и подавно не смог открыться.

Гаддя-Парасся перед отъездом так ошарашила его, что он всякого соображения лишился. Забрюхатела! Главное, объявила-то, когда из избы выходить, в обратный путь трогаться. Присели они, по обычаю, перед дорогой, помолились на образа — она и ляпнула. У него речь отнялась. Да и ноги... Шел — спотыкался. Змея, ведьма! Другого времени не выбрала. Всем в глаза кинулось, что он не в себе. Гриш даже спросил — не занемог ли? Какой там занемог! Душа — котел, кипит, а не выкипает. Ай, баба,

тварь подлая! Не может, чтоб чисто да гладко, непременно с подарочком. Хоть бы не рыжий, за Сенькиного сойдет. А как рыжий? Пробовал утешиться, мол, ждал такого. Пробовал хорохориться — на то мужнин глаз не дремли... Но равновесия в душе не было. Голову словно обручем сдавило. Как людям в глаза посмотрит, тому же Сеньке? С Сандрой-то все проще: тумака дать ей — замолкнет. А одного мало — за другим дело не встанет... Да всем рты не закроешь... Последними словами обзывал он Парассю. Кабы раньше сказала, приглядел бы в Мужах себе работенку — не жить ведь больше в парме, не-ет, все! Ни доходу-то в ней, ни покою...

Гриш не знал, о чем думают его товарищи, но что невеселы оба — и от незрячего не ускользнуло бы. Ему и самому тревожно. Как-то для них обернутся перемены? Конечно, им, пармщикам, все одно: сдавать ли мир-лавке рыбу да пушнину в обмен на продукты-товары или за деньги продавать, а потом на деньги продукты покупать... Парме это все одно... В людях бы собственник не взыграл. Деньги — соблазн... Не нарушили бы уговора при дележке...

И еще что-то не давало покоя Гришу. Он и сам не знал что. Хотя, нет, догадывался: опять старое сомнение... Петул-Вась обронил в беседе: «Теперь другой интерес...» Какой же это в селе «другой теперь интерес»?.. Али новое что у них затевается?.. Сами-то селяне, верно, вроде другие стали... Или мы отвыкли от них на острове своем?.. Поди, Эль с Мишем тоже «интерес» какой выискивают?..

Гриш обрывал думы, гнал сомнения, говорил себе твердо: «В Вотся-Горте мы пропитание коллективом добываем. Один у нас интерес — белку ловчее стрелять, капканов побольше ставить...» И тут же жалел: «Мало нас в Вотся-Горте. В Мужах весело... среди людей все-таки, не как в лесу... И с Куш-Юром мало беседовали... и с мужиками душу не отвел».

Когда ехали в Вотся-Горт, надеялся, за ними другие потянутся. Но нет, пока не появилось охотников. На сходке, в мир-лавке, да и на улице встречные закидывали его вопросами... Не охаивали вотся-гортских порядков, но и не хвалили.

«Сам виноват! — ругал себя Гриш.— На сходке бы выйти, рассказать: так, мол, и так, переезжайте к нам... И за мужиками своими как-то не усмотрел. Дело ли Элю по селу рыскать, бражку искать! Порыскал бы лучше, кто собак может на зиму дать. С одним Белькой не напромыш-

ляешь... Миш... Зачем к Парассе поместился? Совсем нехорошо. Елення и то на подозрение взяла. Сера-Марья вроде с ней заодно. Бабам, известно, только бы судачить... Ну, а как верно учуяли? Да нет!.. С понятием, поди, Миш... Не глупый, знать должен, какие ни есть скверности — все с себя скинь, коль в парму вошел...»

...Вот по какой причине не вышел между ними общий разговор.

И на берегу, попыхивая самокрутками, они продолжали молчать — каждый думал свою невеселую думу.

И разгружали каюк, можно сказать, молчком. Сандра и Сенька помогали им и тоже молчали. Разговорились за ужином.

По случаю возвращения в Вотся-Горт Елення и Марья позвали всех к себе в избу. Сели хоть и за два стола, но вроде как одной семьей. Мишка с Сандрой пристроились к столу Гриша, Сенька с Парассей разместились у Эля.

Женщины, видно, осмотрели свои хозяйства, убедились, что все в порядке. И теперь принялись благодарить Сандру. Заодно и поклоны ей передавали, мужевские новости выкладывали: где были, что видели. Вдруг в женскую беседу вклинился Мишка. Громко, растягивая слова, даже с каким-то наслаждением, вдруг заявил:

— Роман-то тоже не промах! С Эгрунькой, слыхали, стакался,— и заржал зло и похотливо.

Гриш взмахнул рукой:

— Пошто булгачишь? Сам слыхал — напраслина!

Миш вызывающе ответил:

— А ты поверил? Святая душа!..

Жалобно дрогнули губы Сандры, лицо ее побледнело. Она тихо опустила на стол чашку, из которой хлебала молоко, поднялась и с воплем: «Подлый! Подлый!» — выбежала из избы.

Мишка нашел ее возле стайки. Уткнувшись лбом в стену и держась руками за висевшие вожжи, она всхлипывала и стонала.

— Пошли в избу,— позвал он.

Она затрясла головой.

Мишка рванул ее за руку, потащил за собой. В избе он толкнул Сандру на кровать. Она повалилась, но тут же вскочила и села на постели, подтянув колени к подбородку и сжавшись в комочек. Слез у нее не было. Она смотрела на Мишку зло и решительно.

— Убиваешься о своем миленке? — ехидно спросил

Мишка. Она молчала.— Я тебе покажу, стерва! — Он замахнулся.— Перед людьми меня позорит!

— Подлый, подлый ты! — прошипела Сандра.— Кобель! Не касайся меня!..

— Что?! — он размахнулся и хрястнул ее по лицу.

Удар пришелся в скулу. Она повалилась, застонала, а он ударил ее в живот. Сандра громко ойкнула и, наверное, потеряв сознание, перестала стонать. Но Мишка, озверев, продолжал бить куда придется.

Когда Сенька с Парассей возвращались с детьми с ужина, они застали Мишку на крыльце. Курил.

— Что спать не лягешь? — заботливо спросила Парасся.

Он не ответил, мрачно сплюнул.

Из избы донеслись стоны. Сенька сразу догадался, в чем дело, забеспокоился.

— Пойди к ней! Может, помочь надо,— взволнованно прошептал он жене.

Но хитрая Гаддя-Парасся воздержалась выражать сочувствие.

В ту ночь Сенька почти не сомкнул глаз, прислушиваясь к тому, что происходит на соседней половине. Не понадобится ли помощь Сандре? Мишка вскоре вернулся в избу и до самого утра храпел с присвистами, словно нарочно, чтобы заглушать Сандрины стоны.

Глава шестнадцатая

ВСТРЕЧА

1

Зима установилась ранняя. Глухое время межсезонья длилось недолго. И хорошо. Всегда и везде оно тягостно. А в Вотся-Горте казалось особенно невыносимым: четыре стены, одни и те же лица... Да еще Мишка вздурил... Не скоро Сандра поправилась от его побоев...

Расстроились дружелюбные отношения в парме. Кроме Парасси, Мишку никто не одобрял. Но и порицать не порицал. Сандре не следовало выставлять свои чувства к Роману. Раз замуж пошла, забыть должна прежнее... Так мужчины растолковали себе ее вопль: «Подлый!..»

То-то все обрадовались однажды утром. Выглянули

в окно — снег. Двор, крыши, деревья в белые меха укутаны. До самого горизонта белым-бело. Ребятишки из изб выскочили, давай барахтаться, лепить снежки, гоняться за сороками, друг за дружкой. Белька прямо ошалел. Пуще ребят резвился, катался по снегу, визжал. Елення и Ильку вынесла на крылечко, одев потеплее. После прокисшего избяного духа на воле казалось — не надышишься.

По первым дням видно было — зима выдастся снежная.

— Помучаемся в поисках зверья-пушнины, потаскаем лыжи,— озабоченно говорил товарищам Гриш и советовал обить лыжи оленьим и коровьим мехом, чтобы легче скользили.

Сам он принялся мастерить черканы — деревянные ловушки, похожие на самострелы с луком. Только вместо стрелы — лопаточка. Она прикрепляется к тетиве и скользит по широкой планке. В планке проделывается отверстие, такое же, как вход в горностаевую норку. Черкан ставят перед норкой зверька, натягивают тетиву, настораживают лопаточку, подперев ее палочкой. Любопытный зверек сунется в отверстие, заденет палочку, лопаточка и защемит его. Хорошие ловушки. Гриш имел их несколько, но еще решил смастерить.

Вскоре, как снегу добавилось, пошли опробовать лыжи и ружьишки с собой прихватили. Вернулись не с пустыми руками. И уже больше в четырех стенах мужиков было не удержать.

Недели две счета охотничьим трофеям не вели. Но и так видно было — Германец меньше всех приносит. Шуму по этому поводу не устраивали.

Мишка, всегдашний насмешник, и то не подтрунивал над Сенькой. Понимал, в его положении это рискованно: а вдруг откроются шашни с Парассей? Сандра, похоже, что-то смекнула, да после выучки язык прикусила. Но ведь в любую минуту может проговориться. Вот разродится Парасся — видно будет. Сойдет все гладко — он и смотается. Пустая затея — парма! Пускай Гриш валандается...

Мишка исправно уходил в лес. Поначалу не очень-то горячо искал он удачу. Бродя по тайге, подумывал: жаль, негде тушки разделывать, шкурки сушить... Только дома...

А то для себя бы расстарался. Деньга опять в цену вошла. Шалаш разве сварганить? Так засечь могут... А все же если...

Сеньке от Парасси доставалось изрядно. Она никогда не скупилась на ругань. Раньше перед другими хоть выгораживала, а теперь сама бежала к женщинам, жаловалась на мужа.

— Мой-то непутевый опять при божьем свете на лыжи встал! Пока чаевал да собирался, Мишки след простыл. Ваших — тоже нет... Часа два с пищалем возился: разберет — не соберет. Того нет, другого нет. А вечером зорька еще не погаснет — дома. Здрасте! Прибыл с чем ушел...

В утешение ей Елення пошутила:

— Знать, к тебе торопится. Любит. Об тебе беспокоится.— Она кивнула на живот Парасси. О ее беременности знали уже все.

Парассю мучили подозрения, не догадались ли хитрые соседки, от кого она забеременела. Может, над ней посмеиваются!..

— Нужна мне его любовь,— строила она кислую мину.— Горе только одно! Понесла — куда теперь денешься... Кабы беспокоился, так и старался бы... Не Мишу, в самом-то деле, ораву мою кормить-поить. Что ему за радость.— Она не понимала, что беспокойство о Мишке только ее выдает.— У вас вон по всем стенам шкурки сушатся, даже горностаи. А мой ни одного не добыл. Чтоб ему сдохнуть, окаянному! Злоба берет из-за него, этакого. Поневоле забрешешь. Неводили ватагой, хотел не хотел, а тянул. Мужики не поглядят, что не так — живо коленкой под зад. А сейчас каждый сам по себе. Кому везет, кому нет. Гриш твой счастливый,— подольстила она Еленне,— а мой Германец невезучий какой-то.

Сенька и сам переживал свое невезение.

Новая беременность жены как-то пришибла его. Прежде каждый новый ребенок был для него желанным, а против этого душа у Сеньки восстала. Он с огорчением думал, что опять пойдут попреки — ртов, мол, много. Гриш, может, ничего не скажет, а Мишка — тот, по обыкновению, все куски усчитает. И, не дожидаясь, когда другие его попрекнут или ради потехи сострят, сам в шутку похвалился перед мужиками:

— На белок нет удачи, так на дитенок везет...

— Откуда в тебе только берется! — заржал Гажа-

Эль. Прохохотавшись, подмигнул мужикам.— Коль ты везучий такой, подмог бы Мишке!

От этой шутки ироническая ухмылочка сбежала с Мишкиного лица. Он фыркнул сердито.

А Сенька остался доволен. Пожалуй, Мишка больше не станет бурчать. Жаль, Сандру ни за что зацепили...

Шутками от попреков, выходит, можно отгородиться. Но счета шкуркам не прибавляется.

А не ленится ведь Сенька. Зря Гаддя-Парасся наговаривала. Исхаживал он свою местность добросовестно, еле ноги до дому дотягивал. А не знал, что дело было вовсе не в невезучести. Он хоть и родился в тайге, но рос сиротой, без отца, ему не у кого было перенимать охотничье умение. Ходил по тайге и не столько белку высматривал, сколько думы думал. Полагал, не мешает это охоте.

Однажды вечером Сенька зашел к Гришу за самодельной бритвой. Бритву Гриш сделал из сапожного ножика, ею пармщики нет-нет да скоблили свои бороды-щетины. Сенька застал Варов-Гриша за разделкой беличьих тушек. Они лежали перед ним на полу рядом с грудой снятых шкурок.

— Опять много добыл. Везет тебе, дьяволу! — позавидовал Сенька.— А мне вот нет... Отчего?

— Оттого, видно, что ты ангел,— осклабился Гриш.— Сень, я любопытен к житью-бытью всякого зверя, вот белки-то и лезут мне в руки. Иду по лесу, а они бегут ко мне со всех сторон, только хвосты мелькают. Но я не стреляю в них. Беру за ушко, по носу щелкну и в мешок. Вот и вся недолга. А ты, видать, без ушей и глаза ко всему. А зверю глазастый охотник интересней, который его, зверя-то, взять может. Зверю тоже пропадать неохота, как девке...

— Просто ты счастливый, а я вот нет,— вздохнул Сенька.

— Так, по-твоему, везенье на роду написано? Одним предназначено, другим нет, так, что ли?

— Наверно,— пожал плечами Сенька.

— Ерундовина! Все от самого человека зависит — удача ли, невезенье ли в промысле...

Эль слушал их беседу, полеживая на кровати, и тут заворочался, проговорил:

— В промысле — верно. В житухе — нет. В жизни коль не повезет, так не повезет... У меня опять заныла

рана проклятущая. Интерес ко всему пропадает, якуня-макуня.

— И в жизни все от себя зависит. Жить — что Обь-матушку переваливать. Испугался валов — пойдешь щукам на корм.— И подмигнул Ильке, ползающему по полу: — Не пасуй, сыночек, как подрастешь. Тебе особливо надо молодцом держаться. Понял?

— Ага,— ответил сын.

Кровать опять заскрипела под Элем.

— Гришу только в партийцы записаться. Красиво бает.

— А что! — гордо выпрямился Гриш.— Неграмотный только я. А то подошел бы. Чай, не из богатого роду-племени, против новой власти не шел и не иду. Жена тоже мне под стать.

— Рискованно...— пролепетал Сенька.

— Это чем же? Башкой? Твоя-то кому нужна! — Гажа-Эль загоготал.

— При чем башка? Придется с богом проститься. Иконы заставят выбросить. Э-э, тогда баба самого выкинет!

— Твоя-то? Баба с возу — кобыле легче... Не выкинет. Где ей одной столько ртов прокормить, без мужа, да еще такого, как ты.— И опять загоготал.

Сенька не уловил подковырки и удивленно заморгал: с чего это Гажа-Эль хохочет?

— Да-а, у тебя одна заботушка: о промысле тужить...

— И так все тужу...

— В самом деле? А почто на лыжи встаешь позже зорюшки-зари? — спросил Гриш.

— Может, ее с ночи караулить? Коль не везет — чего спешить?

— Чудной! Зырянин... В лесу родился... А не знаешь... Белка-то выходит из гнезда на кормежку в какое время? До зари. А ты приходишь, когда она нажируется. Чай, слыхал: «Переднему — зверек, заднему — следок»?

Сенька признался — в первый раз слышит.

— Эх ты, Сеня-Сенечка... А как ищешь белок? Поди, тоже не умеючи?

Сенька замялся, словно школяр, плохо выучивший урок:

— Как ищу? Глазами, ясное дело. Смотрю на деревья. Увижу — стреляю, нет — дальше иду. Опять вверх смотрю. Почти все время вверх смотрю. Аж голову заломит.

У меня собаки-то нет. Тебе ладно — Бельку комары не загрызли.

— Да-а, жаль собак, якуня-макуня.

— Як-куня-мак-куня...— передразнил Гриш.— В Мужах были — сур на уме только и держал, про собак-то и не вспомнил.

— И ты не подсказал,— виновато принял упрек Гажа-Эль.

— Ну, и я... Без собаки охота — не охота. Белька подсобляет мне шибко. Толковый он у меня. Все разумеет, как человек, даже лучше другого мужика. Калякать вот не умеет. Попусту не залает, не-ет. Однако и собака не во всем поможет. Самому надобно быть куда пронырливее. Плохой ты, оказывается, следопыт, Сеня, судя по твоим словам. Разве так ищут белку? Много ли увидишь, вверх глядючи? Горе-белковщик...

— Расскажи, коль умный,— обиделся Сенька.

— Могу и рассказать. Вот пошел, скажу, на охоту. Иду и смотрю вокруг, а не только вверх на деревья. Шарю вовсю глазами по снегу. Ага, вон чешуйки от шишек валяются или комочки снега упали с веток. Стоп! Тут где-то вверху белка-проказница. Гляжу вверх, ищу. Вот она! Беру на мушку... А ежели не видать ее? Тогда что? Так ни с чем и уйти? Не-ет уж, мил друг! Белка, значит, в гнезде. Вынимаю топор из-за пояса и тук-тук по стволу. Белка любопытная — скок из гнезда...

— Все так делают, кто с толком,— повернувшись на кровати, зевнул Эль.

Сенька хмыкнул:

— Вот лешак! Век живи — век учись.

— Дураком помрешь,— со смешком добавил Гриш.— Все ж таки мотай на ус...

— Ладно,— махнул рукой Сенька.— Поправлюсь. Я завсегда плохо начну — хорошо кончу. В рыбалку тоже ведь под конец больше Мишки таскал.

Эль сел на кровати.

— Гриш, ты скажи другое: ежели Сенька даже все в толк возьмет, чем белку-то бить станет? Завоем скоро. Порох-дробь кончаются. Тут и умение не поможет... Пистонов тоже нет. И спички выходят. Заместо огнива опять придется маяться трутом да камешками... Беда...

— Да-а... Все из нужды в нужду,— согласился Гриш.

Весь остаток вечера они судили-рядили про припасы для охоты. Зима недавно началась. Промышлять да про-

мышлять. Ма-Муувем угадал, белки много. И другая пушнина водится — горностаи, лисицы. На них, верно, заряды можно и не тратить, они капканами ловятся. Но и капканов совсем мало. Черканы у одного Гриша. Лишь он умеет их мастерить. Эль тоже малость смыслит в этом, да не по душе ему такое занятие. А вот Сеньке, пожалуй, подошла бы охота черканами. Авось поудачливее будет. И Гриш вызвался обучить его. Сенька загорелся. Но все одно дроби и пороху надо доставать.

И решили еще раз наведаться в Мужи. Под пушнину мир-лавка, чай, наскребет чего. Может, по первопутку ей закинули нового припаса. Издаля не видно. Свой глаз — алмаз. На лошади в оба конца живо обернешься.

Но кому ехать? Гришу не дело, белкует славно, лучше всех. Да и черканы надо мастерить. Сеньке — тоже нельзя, раз вызвался помогать Гришу, у него учиться. Ну и самое главное, чего, правда, никто не высказал вслух,— невезуч Сенька. Поди, ни с чем вернется.

— Съездил бы я, у лекаря унял бы хоть хворь свою. Так ведь ежели подвернется что, загуляю, пропью пушнину-то, якуня-макуня,— честно отказался Гажа-Эль.

Мишку и не вспомнили, ровно его и не было в Вотся-Горте. Зато в один голос назвали Сандру. Она Мужи не навещала, ее черед и ехать. Молода, провориста, старательная.

При этом разговоре Мишки не было. Прежде чем с Сандрой говорить, его согласия решили испросить. Еще заупрямится. Он и заупрямился. Даже не дослушал Гриша до конца.

— Нет — и точка!

Чего вздумали! Чтоб с Куш-Юром стакалась! До чего ж заботливы о председателе. А может, они столковались с председателем, может, наказ дал Роман? Недавно ведь ездили в село... То-то Сандра царевной-недотрогой прикинулась...

В тот день Мишка без пользы прошатался по тайге, намеренно не подстрелив ни одного зверька. Хотел Сандру позлить. Небось радуется, что в Мужи ей ехать... Но Сандра по-прежнему была тиха и угрюма. «Наверно, притворяется»,— решил Мишка.

— В Мужи тебя снаряжают,— известил он.

Она удивилась, видать, не знала. Но равнодушно промолчала.

— Что ж не радуешься?

Хотелось ей сказать: «Если б насовсем от тебя — сто молебнов отслужила б». Но давно решила она не разговаривать с мужем и сейчас не отступила, хотя и ой как поманилась ей поездка в Мужи.

«А вдруг съездит в село и отойдет, помягчеет?» —подумал Мишка. И еще прикинул: его согласие обрадует мужиков, подобреют к нему...

Через несколько дней, выбрав ясную погоду, Сандра отправилась в Мужи. В розвальни, полные душистого сена, запрягли покладистого Карька — коня Гриша. Дали по счету связки беличьих и горностаевых шкурок, перечислили, что просить в мир-лавке кроме охотничьих припасов. Их же велели брать сколько дадут.

Провожать Сандру вышли все. Мужики по этому случаю не ушли спозаранку в тайгу. Напутствий-то сколько было, добрых пожеланий. А поручений! Отвезти девчонкам гостинцы, посылки, узнать, как учатся. Родным и знакомым поклоны передать, про житье-бытье расспросить. Не возвращаться с пустыми руками...

Сандра ожила. Давно глаза ее так не блестели. И не ожидала она такого доверия, уважения, такой любви. Что взрослые, что дети — одинаково с ней ласковы. Даже Гаддя-Парасся приветлива, тоже поручение дала. А Сандра не злилась на нее.

Последний наказ получила Сандра от Мишки. Проверяя, хорошо ли запряжен Карько, он наставлял:

— Отсуль прямо переезжай Большую Обь. Там по берегу протоки езжай до самых юрт хантыйских. Ну, а там, поди, проложили они дорогу в Мужи... Только вертайся побыстрее. Сделай дело, и шабаш.

Впервые за много дней она улыбнулась Мишке.

— Ага, беспокоишься! А вот возьму и не вернусь. Я теперь богатая пушниной. Поеду в Обдорск на ярмарку — только меня и видели.

— Ну-ну, не болтай! — одернул Мишка и передал ей вожжи: — Трогай!

Она стеганула Карька вожжой.

Когда Сандра скрылась за пушистыми от густого куржака тальниками, Гриш вдруг спохватился:

— Черт возьми! Забыли упредить, чтоб к Ма-Муувему не заезжала. Еще отберет у нее пушнину за долги.

Но было поздно...

Карько резво, во весь дух мчал розвальни, весело пофыркивал и оглашал белое безмолвие заливистым ржа-

нием. Конь словно делился с Сандрой своей радостью, что наконец-то вырвался из сарайчика и может размяться. И Сандра понимала коня. Ей и самой было легко, хорошо. Казалось, гнетущая тяжесть свалилась с нее и теперь она несется навстречу чему-то доброму, радостному. Сандра жмурилась от удовольствия, не думая, что может повстречаться с бедой.

2

В тот же день от Мужей, по свежепроложенной дороге, легко, без скрипа, катились длинные сани, очень похожие на невысокие нарты. В них, на ворохе сена, полулежал Куш-Юр. Одетый в оленьи меха, он издали походил на белого медведя. В руках Куш-Юр держал вожжи. Но ему почти не приходилось править. Крупный, статный вороной конь без того шел рысью, весело помахивая подстриженным хвостом.

«Ай да Воронко — бежит, словно не в упряжи! — любовался конем председатель и подымливал самокруткой.— Красавец! Из кавалерийской породы, сказал Петул-Вась. В прошлом году купили в Обдорске у какого-то демобилизованного. Бывал, наверное, в боях-походах, знает небось, как пуля поет. А теперь вот сено да дровишки подвозит. Ну, ничего, к лучшему это... Молодец, новый кооператор, удружил: с таким конем живо всю тайгу объедем...»

Первым же санным путем в Мужи из Обдорска прибыла комиссия. Проводили чистку партии. Комиссия не согласилась с решением сельских коммунистов, которые вынесли Биасин-Галу строгий выговор с предупреждением и оставили в мир-лавке до подбора подходящей замены. Комиссия исключила Биасин-Гала из партии и предложила немедленно отстранить его от работы. Гал протестовал, требовал учесть его заслуги в разоблачении заговора сельских богатеев.

— Если б не было этой твоей заслуги,— сказал председатель комиссии,— тебя давно судили бы за женоубийство. Но ты к тому же пьянствуешь, тайно варишь брагу... Таким не место в партии большевиков.

Гал не согласился с решением комиссии, поехал в Обдорск добиваться послабления. Председателем кооператива общим собранием выбрали Петул-Вася — мужика трезвого, грамотея, хозяйственного, да к тому же почти что фельдшера.

«Жаль, конечно, Гала. Ну, и партию марать нельзя. Переломит себя, переборет — обратно примем. Двери не на запоре»,— раздумывал Куш-Юр, посасывая самокрутку. Он вспомнил, как сам немало поволновался, пока шла чистка. Биасин-Гал пытался «пришить» ему связь с чужачкой. Может, и досталось бы ему, комиссия подгадала строгая, спасло то, что на сходке открыто перед людьми развенчал ложную молву...

И Эгрунь вскоре после этого собрания вышла замуж за Яшку. Свадьбу сыграли всем на зависть. Звенели бубенцы удалых троек. Пировали не один день. И не брагой гостей угощали — вином. Где только добыли! Наверное, не из последнего тайника?.. Село долго помнило эту свадьбу. Долго бабы тешились пересудами: Эгрунь — одна из первых красавиц села, а вышла замуж за Яшку, самого невзрачного из парней, безродного батрака. Яшка — потомок ненцев-кочевников, к тому же некрещеный. Но поп Лаврентий почему-то венчал молодых в церкви. Наверняка батюшку подкупил хитрюга Озыр-Митька, дал немалую мзду. Очень уж он ретиво все обкрутил после сходки, видно, встревожился за сестру...

Болтали в селе и про то, будто Эгрунь в первую ночь изменила Яшке. Доходили эти сплетни и до ушей Куш-Юра. Как придет он домой, Абезиха сразу выкладывает, словно поддразнивает его, мол, упустил, председатель... И Писарь-Филь по-прежнему каждое утро приносил вороха сплетен. Зная цену сельской молве, Куш-Юр не верил. Но, коротая дорожную скуку, он невольно подумывал:

«От Эгруни можно всего ожидать. По правде, не пара они. Эгрунь вроде змеи подколодной, а Яшка как наивный ребенок, помучается с ней...»

На днях остановила Эгрунь его, когда проходил мимо их ворот, заулыбалась:

— Здравствуй, Роман Иванович! Поздравь хоть меня по старой дружбе. Я же теперь с баба-юром. Не слыхал, что ль?

— Как не слыхал. Про твою свадьбу только и разговоров на селе. По-здрав-ляю!

— Спасибонько! — и, понизив голос, проговорила: — Может, теперь не побрезгуешь мной?

— Да ты в уме?

— А что! Сейчас новые порядочки... Да Яшке и объедки от меня — за глаза. Не хочу узкоглазого ребенка.

Баба — как мешок: что положат, то и несет. Вот и хочу я мужика покрасивее. Вроде тебя...

— Тьфу! Змея ты бессовестная!..

И он зашагал прочь от нее.

«Распутница!» — подумал он, помахивая вожжами. И тут же упрекнул себя за грязное словцо. Не имел ведь доказательств. Мало ли что болтают. Язык у нее распущен, верно. Но это еще ничего не значит. Не совсем ведь стыд потеряла.

«А что, если и в самом деле меня любит? А худым словом лишь досаду свою выражает?.. Ведь без охоты шла за Яшку. Митька заставил. Это уж факт. Э-э, да ну ее...»

Но просто так отмахнуться от Эгруни Куш-Юр никогда не мог. И сейчас продолжал о ней думать. В который раз спрашивал себя, верно ли поступал. Она тянулась не только к нему — к новым порядкам. А он берегся, боялся — опутает... «Что ж, и про это не след забывать,— оправдывал он себя.— Неизвестно еще, что бы из нее вышло. Черного кобеля не отмоешь добела!» Куш-Юр стегнул вожжой коня, хотя Воронко и так бежал рысью.

Дорога пошла по заснеженному берегу протоки. Куш-Юр залюбовался тальниковыми зарослями, искрившимися в желтых лучах низкого декабрьского солнца. То и дело из зарослей выпархивали куропатки. На свежей снежной целине, сбоку от дороги, вились петельки следов мышей и горностаев. Попались отпечатки лап зайца и лисы.

«Настигла, поди, плутовка длинноухого... Хитры и нахальны лисы... Как и Эгрунька... Сандра умнее, скромнее.— Куш-Юр чуть привстал, понукнул Воронка.— Непременно побываю в Вотся-Горте. Как им зимуется? Не подвел бы их промысел пушнины. Без заработка не много получишь нынче в лавке. Гриш говорил — на шишки урожай. Выходит, белка должна быть. Налог с северян брать не станут. Что добудут — продадут на деньги. А там — покупай что хочешь. Оживут немного. Зыряне еще перебиваются кое-как, а ханты да ненцы — те вовсе в беде...»

Вдали показалось хантыйское селение — четыре низенькие деревянные юрты под вековыми разлапистыми кедрачами и лабазы-амбарчики на высоких курьих ножках.

Куш-Юр остановил коня и вошел в крайнюю юрту.

Ему приходилось видеть нужду, но такой, как здесь, он, кажется, не встречал. Еще больше, чем убогость жилья, ужаснул его вид обитателей юрты. Кожа да кости. Желтые, изможденные до последней степени, грязные. Дети — словно тени. Двигались еле-еле.

«Вовсе плохи...» — вспомнил он недавние свои размышления. Нет. То, что он увидел, было куда хуже, чем представлял.

В трех других юртах было не лучше.

«Как они только существуют?»

Куш-Юр достал из кармана пакетик сахарина, захваченный в дорогу, и раздал ребятам понемножечку. Больше ему нечем было их угостить. И то сколько радости появилось в ребячьих глазах.

С грехом пополам, то по-русски, то по-зырянски, Куш-Юр выяснил, отчего так бедствуют люди, неужто мало добыли? Оказалось, добыли они достаточно, хватило бы перебиться, да все забрал старшина за долги.

— Совсем маленько оставил...

Оказалось, что и это «маленько» недавно старшина почти подчистую вытребовал в счет ясака.

— Как? Ему же сказано — ясак новая власть не берет! Ленин велел вам все оставлять,— объяснял Куш-Юр.— Вы с ним, со старшиной, не имейте больше дел. Сами везите, сами продавайте мир-лавке.

— Все-таки маленько не дает нам помирать. Добрый старшина.

По хмурым лицам и печальным глазам хантов председатель понял — они не очень-то ему доверяют.

До сумерек пробыл Куш-Юр в юртах и уехал с невеселыми думами.

Куря самокрутку за самокруткой, он подгонял Воронка, торопясь на стойбище Ма-Муувема.

Вспоминал свой разговор с хантами.

«Ни черта они не поняли! Вовек не дождешься, чтоб сами в мир-лавку приехали. Нам надо к ним приезжать. Раз, другой, десятый, пока не привыкнут. А что? Купцы ездили, не чурались. Учиться торговать надо! Ма-Муувем, поди, тоже не сиднем сидит. Под лежачий камень вода не течет. Прямо из Кашвожа пошлю по юртам приемщика, хотя бы одного для начала. А таким бедолагам и в долг, под расписку, можно кое-что дать. Поверили бы, что это для них не кабала... Людей надежных в приемщики подобрать нужно... Эх, жаль, раньше не додумал-

ся, а то б прямо с собой захватил разъездную мир-лавку... А Ма-Муувему хвост накручу. Скоро его юрты...»

Был поздний вечер, когда Куш-Юр подъехал к леситому островку, хантыйскому зимовью из нескольких юрт. Кое-где меж деревьями бледно светились одинокие оконца то ли со льдинами вместо стекол, то ли с налимьей шкурой. Из труб вылетали искорки. Только в одной юрте, самой большой, старшинской, два застекленных окна светились ярче.

Перед этой юртой стояла чья-то запряженная лошадь, а возле саней то ли дрались, то ли крикливо спорили мужчина и женщина.

Он подъехал к ним под неистовый лай собачьей своры, неизменно встречающей и провожающей в хантыйском селении каждого приезжего.

— Не отдам! Не твоя пушнина! Для продажи! —плакала женщина, вцепившись в мешок.

— Долг отдайте, тогда продавайте! Вы много мне должны! — орал Ма-Муувем, вырывая мешок.

Куш-Юр почти на ходу соскочил с саней и подбежал к спорящим.

— Здравствуйте! Что у вас тут?

Старшина резко обернулся, выпустил мешок. Кляня в душе неожиданного гостя, Ма-Муувем как можно приветливее ответил:

— Ну, ну, драстуй, вуся, начальник...

А женщина изумилась, радостно вскрикнула:

— Ой, ты?! — повалилась на мешок и заплакала.

— Саша?! — не меньше удивился и обрадовался Куш-Юр.— Вот так встреча! — Он положил руку ей на плечо.— Не плачь. Что у вас тут стряслось?

Глотая слезы, Сандра сбивчиво рассказала:

— Мужики-то наши летом сдуру-спьяну задолжались ему, Ма-Муувему, а я при чем? Мне велено в Мужи отвезти пушнину, а не ему отдавать за винку...

Старшина испуганно замахал руками.

— Правда не говоришь. Винка моя не давал. Соль давал, табак давал. Мука маленько выручал. Сам не ел...

Женщищна не выдержала, перебила его возмущенно:

— Врешь! Пять бутылок вылакали. И ты хлестал. Можно спросить, наши не дадут соврать.

— Э-э! — сердито погрозил пальцем старшина. Он нервно топтался на снегу. На нем были мягкие оленьи

пимы и длинная малица с широкой, пышной белой оторочкой из собачьего меха на подоле.

На спор выскочили люди из юрт. Выглянули на двор и Туня, молодая жена Ма-Муувема, и хромоногий племянник Пронька. Но старшина не видел зевак, продолжал горячиться, твердить о невозвращенном долге.

— Вот что,— оборвал его Куш-Юр,— ты не самоуправствуй. Не те времена. Все обманываешь, сородичей своих зажал...— Он свел ладонь в кулак.

— Моя обманывай никого нет, в руке держать нет!..— дернулся Ма-Муувем.

— А ясак зачем собирал? Сказано было тебе — не собирать! Почему людей обманул?

— Моя не обманул... Моя ясак не собирал... Они маленько кушали моя рыба, вот и платили...— Увидев вышедших из юрт сородичей, Ма-Муувем зашипел на них: — Мана! Кыш-ш отсюда!

Ханты послушно скрылись в своих юртах.

Куш-Юр мрачно смотрел на Ма-Муувема.

— Вот как ты хозяйничаешь! Смотри! Худо тебе будет, если не перестанешь кабалить людей. Ясак больше не собирай, а что собрал — верни. Через два дня поеду обратно — проверю. И эту женщину не обижай. А будешь самовольничать — арестуем, в тюрьму посадим,— припугнул он Ма-Муувема.

— О-о-о,— простонал тот и попятился, просительно приговаривая: — Тюрьма не надо... тюрьма не надо, не надо...

— Не надо, так не делай, как власть не велит. А с долгами разберемся. Буду в Вотся-Горте, поговорю с пармщиками. Приезжай и ты. Ладно?

— Ладно, ладно,— неопределенно ответил Ма-Муувем и ушел в свою юрту.

Сандра быстро оправилась от испуга. Она стояла в стороне, не сводила глаз с Куш-Юра. Удивлялась, какой он строгий, решительный и нисколько не боится этого Ма-Муувема! Ма-Муувем хвост поджал. На нее — росомахой, а перед ним — зайцем.

Когда старшина скрылся в юрте, Куш-Юр обернулся к Сандре. Она одарила его восхищенной и благодарной улыбкой.

— Чуть не ограбил меня. Хорошо, ты угадал вовремя. Спасибо тебе, Роман Иванович...— И потупила глаза.

— Что ты, тебе спасибо, Сашенька, за такую встречу!

Как в сказке: ехал, тебя вспоминал, а ты тут как тут — по щучьему велению, по моему хотению.

— Складно как у тебя все выходит...— засмеялась она, подняла голову, но не решилась глянуть Куш-Юру в лицо, отвела взгляд в сторону. И увидела. Карько и Воронко стоят вплотную, прильнув мордами друг к другу, и ласкаются, прядают ушами, будто ведут разговор после долгой разлуки.— Гляди-ко, узнались и рады-радешеньки! — воскликнула Сандра.

— Вроде целуются... не так, как мы...— пошутил Куш-Юр.

— Ну, встретились, и прощевай! Ехать надо,— спохватилась Сандра и засуетилась, поправляя сено в розвальнях.

— Может, зайдем к кому-нибудь, согреемся чаем,— предложил Куш-Юр.

Погреться в юрте и попить чаю Сандра согласилась.

Они поехали от юрты к юрте в нерешительности — будить ли хозяев? Но, к счастью, в самой крайней окошко еще светилось.

Привязав коней к рядом стоявшему кедру и задав им сена, они вошли в жилище. Сандра предусмотрительно прихватила с собой мешок с пушниной.

Хозяйка вскипятила чай. Перекусив и согревшись, гости сразу же поднялись. Хозяева стали было удерживать их. Но, не желая обременять гостеприимных людей, мешать их отдыху — в юрте и без того тесно и душно,— Куш-Юр и Сандра простились и вышли.

Луна стояла высоко. Заснеженный молчаливый лес отбрасывал четкие синие тени. Было тихо, даже собаки примолкли.

— Красота какая! — восхищалась Сандра.— При такой погоде и ехать весело.

Куш-Юр рассеянно кивнул.

— Может, поедешь со мной, в Кашвож? — неуверенно спросил он.— Там пушнину сдашь и получишь продукты. Зачем тащиться в Мужи?..

— Ой, что ты! Я в церкви не бывала с весны! Мне в мужевскую мир-лавку велено,— и, испугавшись, что довод ее не очень веский, привела новый, более сильный: — И подумать могут всякое.

— Тогда провожу тебя,— решил он.

— Обратно в Мужи поедешь? — обрадовалась она.

Куш-Юр привязал Воронка с пустой нартой к розвальням, запрыгнул в них, примостился рядом с Сандрой. Она не отодвинулась, шевельнула вожжами. Тронулись в сторону Мужей.

Куш-Юр сидел притихший, покусывал сухую былинку.

— Ну, как живешь? — участливо спросил он.

От его заботливого, нежного вопроса всколыхнулись недавние переживания, и Сандра остро почувствовала, как она несчастна. Качнувшись, она упала на плечо Куш-Юра и разрыдалась.

— Что с тобой, Сашенька? Обижают? Ну скажи, скажи,— прижал он ее к себе.

Она не отвечала и только всхлипывала, доверчиво прижимаясь к нему.

Куш-Юр поднял ее голову, дунул ей на мокрые ресницы.

Сандра открыла глаза, невесело улыбнулась, вытерла слезы.

— Славный ты...— вздохнула она. На повороте розвальни крепко тряхнуло.— Ох, совсем забыла, я ведь кучер,— пошутила Сандра и подобрала оброненные вожжи.

— Ну, какая ты... Ведь со мной твое счастье...— мягко, но уверенно произнес Куш-Юр.

Сандра молчала. Он обнял ее за плечи.

— Ох, грех, грех!..— отстранилась женщина.— Господь накажет меня! Господь накажет! Накажет...

— Горе горееванное! Сама мучаешься и меня извела,— сказал он с досадой.

— Не гневись, Роман. Слабая я. У бога силы попрошу... Кабы за грех не посчитал...

Куш-Юр спрыгнул вдруг с саней. Проваливаясь в снегу, попытался бежать рядом, но задохнулся, отстал.

Сандра, словно в каком-то забытьи, ехала и ехала вперед. И только версты через две оглянулась, встревожилась, остановила сани, побежала назад посмотреть, где Куш-Юр.

Он шел навстречу, тяжело дыша. Она подбежала, виновато и сочувственно глянула ему в лицо.

— Хорошую прогулку ты мне устроила,— сдержанно сказал Куш-Юр. Он подошел к своей лошади, отвязал Воронка от розвальней, развернул сани в другую сторону.

— Ну, вот и свиделись,— горько улыбнулся Куш-

Юр.— Прощай, Саша! Доброго тебе пути...— Он дернул вожжи, и Воронко рванул в галоп.

Глотая слезы и пошатываясь, Сандра подошла к розвальням, повалилась на сено, простонала:

— Ой, Роман, Роман, ой, горе мое!..

Глава семнадцатая

РАЗЛАД

1

— Скоро ли повезет меня папа в гости к бабушке? — спрашивал Илька у матери.— И Февру повидать охота, и Микулку, и Петрука.

— Скоро, скоро,— обнадеживала мать.— На дворе-то, чуешь, какой холод? Меры не знает. Да и отцу сейчас недосуг. День-деньской в тайге. Самое время промышлять. С пустыми руками не резон ездить — пустой поедешь, пустой и вернешься.

И то была правда: как пошли морозы, так и не ослабевали. Дети носа не высовывали за порог. Все в избе да в избе, в тесноте и в духоте, в сумерках. Короткого дневного света не видали: окошки обледенели, и в самое светлое время суток в домах было темновато. Женщины волей-неволей выходили на мороз — коров подоить, дров наколоть, воды натаскать, занести ягод и рыбы из сарая. Мужчины — те исправно охотились от темна до темна, возвращались — носы и щеки белые, прихвачены морозом, усы и ресницы заиндевелые.

В такие холода без крайней нужды и в соседнюю избу не наведаешься. Но у вотся-гортцев охоту общаться отбили не одни морозы. Большой разлад случился в рождество.

Вотся-гортцы не унывали от всевозможных нехваток и праздновать собирались согласно и весело.

Мир-лавка приняла от Сандры пушнину по сходной цене. Продуктов отпустила, правда, не полностью, должок за кооперативом остался, но это не тревожило пармщиков — не пропадет, да и сразу всего не съешь. А вот то, что вместо муки дали зерно, озадачило женщин, сроду не мололи.

Выручил Мишка. Он в прошлом ходил с караванами

русских купцов. В Тобольске и тамошних деревнях видел ручные жернова. Мишка выпилил смахивающие на колеса два круглых обрубка из толстенного кедра, вбил в них осколки старого чугунка — и соорудил простейшую мельницу.

Женщины диву давались. Вертишь и мелешь. С горем пополам, а все-таки мука, есть из чего стряпать шаньги. Значит, попразднуют. А то какое рождество без шанег!

С осени, с той поры как появилась мошкара, еду готовили порознь, но праздничное столованье задумали общее. Однако стряпали хозяйки по отдельности, видно, хотели похвастаться своим умением.

Ребята ждали праздника с еще большим нетерпением, чем взрослые. Гриш сделал сынишке вертящуюся звезду из бумаги, раскрасил ее ягодным соком.

— Кодзув, кодзув [1]! — ликовал Илька, выхваляясь перед Энькой. Тому отец ничего не смастерил, Гажа-Эль не был мастером на такие поделки. И Энька завидовал дружку.

В Мужах мальчишки ходили колядовать, и их одаривали шаньгами и денежками. Энька с Илькой помнили это и надумали заслужить себе подарки.

Оба мальчика по вечерам старательно заучивали со слов матерей коляду. Матери и сами знали славящую песню с пятого на десятое, коверкали русские слова, перемежали их с зырянскими, не очень вдумываясь, какая мешанина получается.

Но на то она и коляда, чтобы быть мудреной.

И когда ребята пропели ее перед отцами, Гриш, ухмыляясь, похвалил:

— Сойдет...

Гажа-Эль с серьезным видом наставил:

— Напоследок не забудьте пропеть: «Деньги — так деньги, шаньги — так шаньги». А то гостинца не дадут.

Пришло рождество, и ребята заслужили свое — и шаньги и деньги. Правда, деньги не настоящие, а керенки, каким-то образом уцелевшие у Сеньки Германца.

Счастливые, довольные, наевшись вкусных праздничных шанег, легли дети спать.

Тогда и взрослые сели пировать.

Собрались в избе у Сеньки и Мишки. На двух столах, выдвинутых по такому случаю на середину избы, тесни-

---

[1] Кодзув — звезда (*коми*).

лись тарелки, туески, чашки с шаньгами, кулебякой, мясными пирожками, соленой рыбой, икрой, варкой. Но самой вкусной и долгожданной была строганина из оленины — Сандра привезла Еленне от ее отца-оленевода целую тушу. Отец Еленни прикочевал на зиму к Мужам и послал дочери такой лакомый подарок.

— Вот уж отведем душу строганинкой! — потирал руки Гажа-Эль.

— Эх, самим бы нам в парме оленей завести-заиметь! — почесал Гриш в затылке.— Тут и мясо тебе, и шкуры на малицы, на кисы...

Однако усаживались за стол немного хмуроватые: ночь, по обычаю, постовали, не спали, но главное — хмельного не было на столе. Сандра глядела на всех с лукавой улыбкой.

— Садись! — позвали ее. Она кивнула и молча вышла из избы. Вернулась, неся большую сулею самогона.

— Откуда? — уставились на нее.

Оказалось, Сандра предусмотрительно купила самогон через крестную, еще раньше. Старательно прятала его и от Мишки и от Сеньки. Гриш один знал. Перед ним она отчиталась в расходах.

Еще не выпив, все словно захмелели.

— Вот молодчина! — рассыпался в похвалах Гажа-Эль.— А я мучаюсь, проклинаю Гриша, пошто заманил в этакую даль. Ну, разговеюсь!

Выпили — развеселились. Песни запели. Мишка в пляс пустился. За ним — Сенька.

Барыня угорела —
Много сахару поела.
Барыня, тук и тук!
Сударыня, бук и бук! —

выделывал он кренделя под общий смех.

— Давай, давай! — подзадоривал захмелевший Гриш. Наигрывая плясовые мелодии, он притопывал в такт, видно было, у самого душа рвется выкинуть этакое невероятное.

«Славно у нас, дружно! Еще лучше заживем!..» — Он радостно зажмурился от этих мыслей.

И тем горше было ему от той ссоры, которая случилась нежданно-негаданно.

Сенька — нарочно сделал или случайно вышло так,— отплясывая, подмигнул Сандре:

— Пошли, суседка, на пару...

Гаддя-Парасся болезненно ревновала Мишку к Сандре, остро переживала Мишкино охлаждение к себе, ненавидела соперницу.

— Мой-то, непутевый! Нет, поглядите, люди! Ой, что-то нечисто тут!..— злобно сказала она, поворотясь к Мишке.— Вдвоем оставались... Поди, того... Ха-ха-ха...

Сандра онемела: наглая! Позеленела от приступа ярости. Все, что она так сдерживала, выплеснулось.

— Чужого не подбираю!..— сверкнула она глазами.— Пляши сама, тебе как раз... с брюхом.

Парасся насмешливо скривила губы.

— Да уж не хабторка!

Этого Сандра вовсе не могла стерпеть.

— Не тебе укорять! Думаешь, не знаю, от кого носишь? От моего дурака!

Мишка взъярился, накинулся на жену:

— Не бреши! Чего выдумала!

Парасся покраснела, заголосила:

— Ой, беда-беда! Что болтает! Тьфу, тьфу!

Разыгрался скандал...

— Да что вы! — стала увещевать Елення.— Пели-плясали — и нате! Хватит вам... И обратилась к мужу: — Давай, Гриш, что-нибудь веселенькое...

Но Сандра не желала примирения.

— Бесстыжая! Все знаю, все вижу. Мало здесь липли, так еще в Мужах... Срам один... Мне все рассказали...

Вконец расстроенная, Парасся готова была зареветь.

Сильным ударом кулака Мишка сшиб Сандру с ног.

— Не смей! — не своим голосом вскричал Сенька и схватил Мишку за руку.

Тот, как тростиночку, отшвырнул его, но Сенька не отвязался, вспрыгнул и снова повис на Мишке.

— Ну, что говорила?! Глядите, непутевый-то! — с ехидным злорадством всплеснула руками Парасся.

Гажа-Эль оттолкнул Сеньку, отвел Мишку в сторону.

Хмурый, недовольный, что ему не дали выместить злость на Сандре и Сеньке, Мишка подошел к столу и залпом опустошил свою чашку, а потом и еще чью-то, стоявшую рядом.

— Зачем выпил мой самогон? — вскипел Сенька.

— Не твой. Наш. Сандра выставила,— огрызнулся Мишка.

— На нашу пушнину покупала! На общую! — не унимался Сенька.

— Твоя-то доля велика ли?

Гриш недовольно поморщился.

— Ну, пошли считаться. Я-то не корю никого. Эль — тоже.

— Завсегда так: кто меньше тешет, тот больше брешет,— сказал Гажа-Эль.— Пошли, Гриш! Неча тут делать...

Гриш хотел идти, его задержал Мишка.

— Ты как хочешь, святая душа, а я тебе заявляю при всех: не желаю быть в парме — и шабаш! Не желаю!.. Или — в пай!.. И все такое...— пьяно выкрикивал он.

Гриш понимал — не спьяну грозится, на уме держит...

— Проспись, Миш. Вытрезвишься, поговорим-потолкуем,— сказал он.

— Зачем — проспись? Сейчас желаю!.. И все такое...

Не ответив ему, Гриш ушел.

Он не успел еще раздеться, как услышал крики на дворе. Выскочил — Мишка с Сенькой схватились в драке. У Сеньки лицо в крови, но он, словно обезумев, лез на рослого, хваткого Мишку и — откуда только сила бралась — мутузил его .

Одному Гришу не разнять было бы их, да подоспел Гажа-Эль. Схватил в охапку Сеньку и унес в избу.

— Вот те и рождество, якуня-макуня,— ворчал он.

Гриш долго не ложился спать. Сидел на лавке, сокрушенно вздыхал. «Разлад... Грызня... Так дело не пойдет... А тверезые дружно жили...»

После рождества Вотся-Горт словно в печаль погрузился. Все ходили понурые, мрачные, словом не обмолвятся. Совсем тягостно было в избе Мишки и Сеньки. Оба глядели друг на друга волками. У Сеньки долго не проходили синяки под глазами, и нос, прежде мало заметный, неделю, если не больше, синел здоровенной картошкой. Мужики вставали рано и расходились — в тайге не повстречаешься. А женщины день-деньской напролет в избе, возле печи толклись.

Сандра осунулась. Парасся менее болезненно переживала разлад. Ей было недосуг. И прежде она не так-то легко управлялась со своей семьищей, а в нынешнем состоянии тем более. И хотя Парасся во всем виновата, первой пойти на примирение с Сандрой не желала.

В другой избе не ссорились, но и тут чувствовалась та же подавленность. Еленя и Марья уже не перемигивались, не перешептывались — в открытую, как о досто-

верном факте, говорили о грехе Парасси. Осуждали ее одну. Сандре сочувствовали.

Мужья в бабьи пересуды не встревали и уже не одергивали жен. Гриш ругал себя за недогадливость. Женщины прозорливее оказались, точно учуяли. Мишка сподличал, значит... Перед товарищем — одно, а еще и перед пармой... Гриш будто ясно увидел: калданка, которую волны кидали, как хотели, которую он, выбиваясь из сил, старался вести выбранным курсом, дала течь...

Нет и не будет жизни в этой избе, знал Гриш. Расселить надо Сеньку с Мишкой. А куда? Один выход — кому-то меняться с Мишкой. Сеньку нельзя трогать с его оравой, да и Парасся тяжелая... Меняться, конечно, ему.

Переговорил с Еленней — та ни в какую. Не захотела идти с Парассей под одну крышу. Так уламывал, этак. Пригрозилась: Карька запряжет, не глядя на стужу, с детьми в Мужи подастся.

Намекнул Марье — та заодно с Еленней.

Поскреб затылок, покряхтел. Был бы лес наготовлен, срубили бы избу. Хоть и не время. Ну, что поделаешь, раз приспичило. Можно и в мороз ставить...

Все-таки не оставляла его надежда: как немного потеплеет — перетащить свои вещички на Мишкину половину, поменяться с ним. Поупрямится Елення и уступит, не без сердца, поймет: не надолго ведь, по весне поставят еще пару изб. Лес надо наготовить...

Наготовить...

Тут Гриш как-то терялся. Решил мужиков спросить. Согласятся — дело в шляпе.

Из хитрости, чтобы не выдать опасений, Гриш сказал однажды, будто впечатлениями делится, высмотрел-де неподалеку перестойный кедровник для сруба.

Мужики догадались, куда он клонит. Отказаться не отказались, но и желания не выразили. Было видно — нет у них охоты силу тратить...

Значит, жить долго в Вотся-Горте не надеются...

Гриш ожесточился против Мишки, придумал устроить над ним суд, выгнать его из пармы, как шелудивого пса. Не знал только, с чего начать. Отмахиваясь от прежних своих сомнений, Гриш винил во всем одного Мишку.

Придет время, и вотся-гортская парма возродится. Люди будут трудится сообща в больших, богатых артелях, в богатых колхозах. Но вынянчат они новую жизнь всем родом, всем племенем...

А пока Гриш искал выхода. Искал объяснений.

— Отчего не ладим? — спросил он Эля, направляясь как-то утром в тайгу.

Эль, не долго думая, ответил — мол, от зависти и жадности. Припомнил, как Сенька набивал утробу яйцами сверх всякой меры, как Парасся хватала сырки себе на нярхул, и подвел итог: «И Мишка позарился на чужую бабу от жадности...»

— Жадность,— заключил он свои рассуждения.— То ли еще будет под весну, когда сусеки-то опустеют, якуня-макуня! — припугнул Эль.— Страшнее волка — человек!

— Уж будто в жадности все дело... Какой человек! — не согласился Гриш.— Ты, чай, не пожадничаешь.

— Почему? На сур пожадничаю,— засмеялся Гажа-Эль.

— И все же я в тебя верю. Последним куском ты поделишься. Да и про себя скажу: нет во мне этой... скверноты... Кабы вот так-то, один к одному подобрались, с одним понятием-разумом...

— Через сито не просеялись? — Эль с сомнением покачал головой.

— Это от того, что со сквернотой приехал Мишка, не скинул ее в Мужах, как вытертую малицу.

— А как скинешь, если она внутрях?..

Как скинуть — Гриш не знал...

Они дошли до места, где расходились их тропы. Налево — Гришу, направо — Элю. Остановились, набили трубки, закурили.

— Скажи, отчего не захотели бревна заготавливать на сруб? — спросил напрямик Гриш.

Эль с грубоватой прямотой ответил:

— Зряшная работа... Кому жить-то в избах?

— Как кому?

Но Эль продолжал:

— Германец, якуня-макуня, ни ружьем, ни капканом. Что учил ты его, что не учил... Вдвоем мы с тобой всех не прокормим. А у него еще прибавка... Его ли, Мишкин ли. а жрать запросит... Ну и я...

— Все! — взмахнул рукой, словно отрезал, Гриш.

Однако разойтись с тяжелым сердцем они не могли. Еще долго молча топтались на месте, пробуя лыжи на раскат, как перед разгоном.

— Опять порох-дробь кончаются,— угрюмо проговорил Эль.

Напоминанием о нуждах вотся-гортцев он хотел показать Гришу, что парма ему не безразлична и он не собирается покидать ее, как дезертир.

— Да, кончаются...

У Гриша зрело решение съездить в Мужи. Встретиться с Куш-Юром.

2

— Скоро поедем в Мужи, сынок,— обрадовал Ильку Гриш.— Малость потеплеет, выберем удачные денечки, тихие, с мягким снежком, и махнем. Нам много и не надо таких деньков — недельки хватит с избытком. Верно?

— Ага. Мне бы только бабушку повидать, да Февру, да Микула с Петруком и остальных. И на Карьке прокатиться.

— Прокатишься... Однако худо: не больно богатыми приедем-то. Пушнины маловато, нечем стрелять. В капканы да черканы горностаи тоже редко попадают. И сулемы-яду нет для лисиц. Куропаток разве повезем сколько-нибудь. А маловато все же. Надобно еще кой-что сообразить...

Илька, довольный, что с ним советуется отец, слушал серьезно.

— А что сообразим? — уточнил он.

Гриш подмигнул сыну и заговорщицки приложил палец к губам. Но секрета из новой затеи он не делал. Велел женщинам жечь больше дров, не жалеть. Но до золы не сжигать, а выгребать уголья и складывать их на дворе.

— На кой ляд? — удивились женщины.

— Увезу в Мужи, загоню кому-нибудь,— серьезно ответил Гриш.— Думаете, не купят? Э-ге-ге, еще как! В Мужах бедно с дровами-то. И не березовые они там. А самовары у всех. Хоть кипятком, а полощут селяне свои кишки с утра до ночи. И кузнецы есть. Уголья обеими руками возьмут, мать родная!

Эль скептически отнесся к задумке Гриша.

— Много ли наживешь на пустяке?

— Какую-нибудь цену дадут. Или променяю на что, потребное нам. Все-таки нажиток промеж делом. Жаль, не додумались ранее. Не один воз могли запасти. Посреди дров живем, лесины сами в печь тянутся... Нехозяйственные мы, без ума-смекалки. Орехов и ягод — и тех не сумели понабрать в излишке. А запросто могли и смолокурню сообразить...

Тут Гриш осекся — для чего говорит... Да и не случись разлад — вчетвером как со всем справиться-то?..

Вспомнились насмешливые слова Петул-Вася про красный скит. Неужто прав, неужто не следовало отделяться? «Читальщик»,— недовольно обругал он брата, не желая признавать его правоту.

3

Наступили подходящие деньки — тихие, безветренные.

Ранним утром Гриш запряг Карька в розвальни. На задке в два ряда уложил мешки с углем. Посередине, как в кошевке, поверх сена расстелили меховое одеяло. Усадили Ильку, одетого в теплые меховые чулки, пимы и малицу, и хорошо укутали.

Илька откинулся на мешки с углем и сказал с восторгом:

— Угли как хрустят!

Стоявший рядом Эль рассмеялся.

— От углей в пути труха останется. Не тот товар, якуня-макуня.

— Выдюжит,— сдержанно молвил Гриш.— Не по горам-ухабам ехать. Верно ведь, сынок? А ну, Карько! Пошли-поехали!..

И сани тронулись.

Лишь тот поймет переживания Ильки, обреченного только сидеть или ползать в тесной избе, кто, как он, истосковался в недвижимости, кто жаждет простора. Езда, езда! До чего ты мила и желанна...

Мамка обвязала Ильке рот и нос платком. Но ему это не мешает пить воздух — густой, холодный, как остуженное молоко. Пьешь — не напьешься!

Строго-настрого наказала мамка не распахивать одеяло, не вертеться. Но разве удержишься, когда такой простор неожиданно открылся, когда вокруг все так быстро меняется. Только что перед глазами был знакомый двор с вытоптанным снегом у крылечка, с побуревшими тропинками между приземистых, темных построек. Были избы с обледенелыми оконцами и пухлыми белыми крышами, из труб валил бурый дым. А вот уже ровная, отлогая, заснеженная поляна заливного луга. И веет от нее свежестью, холодом.

Где-то здесь Большая Обь. Где? Не видно. Не слышно.

Накинул на нее дедушка-мороз ледяную малицу, и угомонилась она..

Сколько таинственного вокруг. Вот тальниковые кустарники. Они словно седые головы стариков-великанов. Великаны притаились у берега, что-то выслеживают, высматривают. Но Илька никого не боится!

А вот из-под снега проглядывают пучки порыжелой травы. Когда полозья задевают пучки, трава шуршит с тонким присвистом: «Тсс! Ти-ш-ше!» — будто о чем-то предупреждает.

А там что за ямочки на снегу? Ой, да это ж чьи-то следы!..

— Кто-то ходил тут, папа! — вскрикнул Илька.

— Заметил? — уточнил довольный отец.— Горностай наследил. За добычей, видать, поскакал. Ходит-бродит не пойманный пока... А ты не вертись, холоду напустишь под одеяло. Не студено?

— Не...

Карько бежал и бежал. Дороги не было: после Сандры и Куш-Юра никто больше тут не проезжал. Розвальни по самые борта утопали в снегу, а местами, когда наезжали на кочки, сильно кренились.

— Не вывалить бы тебя.— Гриш беспокойно оглянулся на сына.— Но на Оби будет тверже и без кочек. А там, дальше, поди, ездят вовсю.

Снег перестал. Развиднелось. Пахнуло речной свежестью, будто рядышком только что выловили рыбу и запах ее пропитал воздух. Илька это чувствовал даже через платок.

«Вырасти бы скорей да вылечиться. Все время бы ездил и ездил: зимой — на лошади, летом — на лодке»,— подумал тут Илька.

— О, куропатки-голубушки! Цельная стая! — Отец показал кнутом вперед: — Во-он! Видишь?

— Где? — всполошился мальчик. Но птиц впереди не видел.

— Белые, что снег, трудно отличить,— пояснил отец.— Вот взлетят сейчас...

И верно. Илька увидел на сером фоне неба стайку птиц.

— Мельтешат крыльями, что курицы. Видишь? Слабоваты в полете,— продолжал отец.

— А почему они белые?

— К зиме-матушке побелели, чтоб неприметными

стать для своих врагов. А летом были серые, что земля. И у зайцев да песцов-горностаев этакая же перемена в шубе. Хитро все в мире устроено. Есть чему дивиться, умей смотреть-примечать! — говорил Гриш, впервые беседуя с сыном по-взрослому.— Ты привыкай любопытствовать. Все мотай на ус. Веселее будет жить и пользительнее.

Илька засмеялся:

— У меня же нет усов, как у тебя.

И отец заулыбался.

— Это присловье такое. Присловья да поговорки тоже запоминай... А ты не озяб? Не проголодался?

— Не-е.

— Ну, прислонись к мешкам и поспи. Выехали на Обь. Тут мало интересу — кругом голый снег.— Гриш поправил на сыне одеяло.

Противоположный берег реки виднелся чуть заметной сероватой полоской, едва отличимой от неба. Конь шел ровно, сани катились плавно и легко.

«До чего хорошо ездить!» — Илька чувствовал какой-то трепет, оттого что вот так несется конь, а вокруг столько интересного... Отец занятно, по-взрослому, рассказывает ему, ему одному. А Энька хоть и может бегать, а ничего такого не видит и не знает.

Следуя совету отца замечать вокруг все, Илька с любопытством глазел по сторонам. Но вид однообразного снежного пространства с небольшими белыми бугорками да мутно-серыми ледяными лысинами вскоре утомил мальчика. И он незаметно для себя уснул под убаюкивающий топот лошадиных копыт и негромкий скрип полозьев.

На Гриша бесконечная и однообразная равнина нагнетала грусть. Что ожидает его в Мужах?

Он попытался представить, как встретятся они с Куш-Юром, о чем поведут разговор. Давно ли бывал у них Роман Иванович, все было мирно-дружно, толковали про долг Ма-Муувему, пообещал председатель припугнуть старшину, чтобы скинул хоть половину долга. И вот тебе... Разлад в парме...

Все от ильина дня пошло. Может, раньше? Не спелись? Или мало их? Или...

Снова вспомнились насмешливые слова брата... Зря не послушался. Но ведь хотел как лучше... Все сначала начать, ровно только родились. Без скверноты... Отчего не получилось?..

Глава восемнадцатая

В ЮРТЕ

Густая темь. Сани стоят. Рядом заливается собака.

— Бабушка, бабушка! — позвал Илька. Почудилось, что приехал в Мужи.

— Хантыйские юрты это,— объяснил отец. Он вытащил сынишку из-под одеяла.— Согреемся в юрте. И Карько передохнет. Поди, озяб?

— Немножко.— Мальчик подрагивал.— Мы к Ма-Муувему приехали? Или к Ермилке?

— Нет. У них не стал останавливаться. К черту этого Ма-Муувема-живодера. Мимо проехали.

Мальчик различил в темноте высокие разлапистые деревья и рядом с ними низенькую, уходящую в землю юрту. Когда отец отворил небольшую дверь, они опустились по ступенькам куда-то вниз, будто в погреб.

Зловонием ударило в нос. Пахло дымом от очага-чувала, чадом от сальника, псиной от ютившихся у входа собак, прелой одеждой, табаком и еще непонятно чем. После уличной свежести в носу неприятно защемило.

— Вуся! — поздоровался отец с хантами, которых было так много, что Илька подивился, как это они помещаются в маленькой юрте.

Ханты ответили на приветствие. Мужчины, сидевшие вдоль всей передней стены на невысоком возвышении, походившем на нары, потеснились, дав место гостям. Гриш поблагодарил, усадил сына на травяную циновку, застилавшую нары, снял с него платок и вышел задать Карьке сена и захватить дорожную провизию.

Илька плохо понимал, что говорят ему хозяева, и не умел ответить им. В ожидании отца он украдкой разглядывал устройство хантыйской юрты, в которую попал впервые.

Все здесь казалось мальчику странным. Не было пола, как в зырянской избе. Лишь кое-где на голой земле лежали дощечки. «Поди, холодно ползать по голой-то земле»,— подумал Илька и поежился.

Стены чернели от копоти. В малюсеньком окошке не было ни рамы, ни стекла. Вместо стекла был вставлен кусок льда, который понемногу таял, и капли стекали по стене.

Одну половину юрты перекрывали лоснящиеся пере-

кладины из жердей, на них висели малицы, обувь — видимо, сушились.

Чувал в углу походил на маленький чум. Внутри горел огонь, над ним на крючке висел большой черный чайник. Его только что повесила еще не старая со впалыми щеками хантыйка в поношенной меховой ягушке-шубке, истоптанных меховых пимах. Из-под темного платка свисали чуть не до пят косы, толстые и тугие, унизанные какими-то брякающими железками.

В другом углу юрты, у входа, мальчик разглядел под вешалами разную посуду: берестяные туески, чайные чашки и ложки деревянные, почти плоские кумли — корытца для вареной рыбы или мяса, небольшой котел и маленький невысокий столик, прислоненный к стене.

Хозяйка взяла котел, поставила его на землю посреди юрты и крикнула собак. Те только того и ждали. Уткнулись мордами в котел и жадно залакали. Илька с интересом наблюдал за собаками, вспомнил Бельку и пожалел, что не взяли его с собой. Тоже, поди, лакал бы из котла. Наверно, собаки здесь, как и хозяева, добрые, уступчивые. Не обидели бы...

Выхлебав, собаки облизали пустой котел. Хозяйка тут же набросала в него из мешка, сшитого из налимьей шкуры, сушеной рыбы, посыпала ее ягодами, залила все рыбьим жиром и повесила котел рядом с чайником над жарким огнем.

Недалеко от Ильки сидел слепой старик с тощими седыми косичками. Было удивительно, как он ловко, на ощупь соскабливал ножом с мерзлого талового полешка белые и мягкие стружки. Илька вспомнил — у Макар-ики и у Ермилки в семье тоже запасали такие стружки. Вотлепом называли их. Настругивают их только зимой из мерзлого тала. Этими хлопьями Макар-ики, и Ермилка с женой, и девчонки их утирались вместо полотенца. И еще Макар-ики клал кусочки вотлепа за губу, когда сосал табак.

У столба, на котором чадил скудный сальник, седая хантыйка, одетая в плохонькую ягушку, что-то плела. По правую руку от нее лежал золотистый камыш, а по левую — темный. Глаза у старухи гноились, казалось, веки ее совсем слиплись, но она безошибочно чередовала камышины, и у нее получалось, как разглядел Илька, циновка очень красивого узора.

Рядом с Илькой на нарах лежал длинный, тощий хан-

ты с рыжими косичками. Еще не старый, но то ли больной, то ли усталый. Он звучно посасывал трубку и время от времени сплевывал на пол.

За мужчиной под меховыми отрепьями спали взлохмаченные ребятишки. Они почесывались и посапывали во сне. И собаки после еды улеглись с ними рядом.

Варов-Гриш возвратился с мешочком дорожной провизии. Он почти доставал головой до черного, закопченного потолка, и Ильке показался великаном Яг-Мортом[1]. Мальчик радостно потянулся к отцу.

— Ну как? Согрелся? — поинтересовался отец, усаживаясь рядом с Илькой.

Между Гришем и хозяевами сразу завязался оживленный разговор. Илька не понимал, о чем беседуют взрослые, но уловил: старика звали Закар-ики, старуху — Пирысь-Анна, тощего рыжего хозяина — Киркур, а хозяйку — Наталь. Когда все посмотрели на него, Илька догадался, что говорят о нем и о его беде. Вскоре Илька услышал имена Ермилки и Ма-Муувема. Ханты при этом то вздыхали, то переходили на шепот и боязливо оглядывались. Отец чему-то удивлялся, огорченно качал головой.

— Вот беда, вот беда! — проговорил он по-зырянски.

И ханты тоже повторили за ним.

— Пета, пета!

Мальчику захотелось узнать, что же случилось с Ермилкой и Ма-Муувемом. Но при посторонних он постеснялся спросить отца, сидел смирно. В животе у него заурчало — с самого дома ничего не ел еще.

Отец сам догадался. Не прерывая беседы, он развязал походный мешок и выложил на подол малицы ломтики хлеба, рыбные лепешки, отварную куропатку и жестяную кружку.

Тут и чай вскипел. Да и похлебка, должно быть, сварилась. Наталь сняла с огня обе посудины и поставила на землю. Пододвинув к гостям низенький столик, шершавый от налипших рыбьих чешуек, поставила на него деревянное корытце-кумли, наполнила его темно-рыжей похлебкой, подала щербатые ложки, пригласила всех есть.

Старики сплюнули на землю табачную жвачку и подсели к столу. Киркур сел на циновку, поджав под себя

[1] Яг-Морт — герой-великан из народной сказки коми.

длинные худые ноги. Наталь примостилась рядом с ним.

— Лэва, лэва,— теперь уж старуха пригласила Гриша и Ильку присоединиться к ним.

Илька за обе щеки уплетал куропатку с хлебом и наотрез отказался пробовать хантыйскую еду, а отец, благодарно улыбнувшись в ответ на приглашение, выложил на стол ломтики хлеба и взялся за ложку.

Наталь, увидев на столе хлеб, разбудила детей. «Нянь, нянь!» — повторяла она радостно. И Илька догадался, что на хантыйском это — тоже хлеб.

Ребятишки, позевывая и почесываясь, вылезли из-под лохмотьев. Их было трое — два мальчика, один постарше Ильки, и девочка лет трех. Спали они не раздеваясь, в стареньких дырявых малицах и пимах. Взглянув на проезжих, ребятишки жадно кинулись к столу, схватили по ломтику хлеба. Как редкое лакомство смаковали они хлеб по крошечке и строили довольные гримасы.

«Какие худющие и грязные! И кашляют! Больные, наверно»,— с жалостью подумал Илька.

— Атым, атым. Нянь антом,— жалуясь, сказал Киркур.

«Наверное,— подумал Илька,— у них, как и у нас, мало хлеба». Его догадка подтвердилась. Взрослые отломили от своих ломтиков по кусочку и протянули детям.

Ложек детям не хватило. Гриш перестал есть и отдал им свою. Да, видно, не очень-то понравилась ему похлебка из рыбы и ягод. Зато сами хозяева и ребятишки с аппетитом доедали варево.

Илька потянулся к своей кружке.

— Сейчас, сынок, нальем тебе чаю, и попьешь, согреешься,— успокоил его отец.

Чашек на всех не было. Илька с отцом поочередно прихлебывали мутную, заваренную цакулой-чагой жидкость, попахивавшую дымком, и закусывали рыбьими лепешками, которые напекла в дорогу Елення.

Лепешек скоро не стало — хозяева подобрали все до крошки. Тогда Наталь достала из мешка немного шомоха — сушеной рыбы.

Шомох Илька любил, шепотом попросил отца дать и ему кусок.

Тут ребятишки разглядели его искалеченные руки и стали перешептываться. Ильке сделалось неловко. Он побыстрее закончил еду и сказал отцу, что теперь согрелся.

«Хорошо, что не знают о моей ноге, вовсе бы просмеяли меня»,— печально вздохнул Илька. Он терпеливо ждал, когда отец кончит беседовать со взрослыми хантами.

Но беседе, казалось, не будет конца. Насколько мог понять мальчик, она велась уже о новой власти: то и дело и отец и хозяева повторяли знакомые слова: «мирлавка», «новая власть», «красный русский»... Все качали головами и вздыхали, точь-в-точь как женщины в Вотся-Горте.

Ильку от горячего чая потянуло ко сну. Боясь задремать у хантов, от теребил отца: пора дальше ехать, хватит, согрелись...

— Сейчас, сейчас,— успокоил Гриш.

Еще немного поговорили. Потом Гриш старательно укутал сына и, распрощавшись с хозяевами, вынес его из юрты.

С упоением, полной грудью Илька вдохнул свежего морозного воздуха. Чуть-чуть закружилась голова.

Темнота, казалось, сгустилась. Ни зги не видать. Лишь слышалось урчание собак, выбежавших из юрты следом за людьми, да поскрипывание снега под отцовыми пимами. Отец взнуздал коня, поправил поклажу на розвальнях, и тронулись в путь. Собаки залились дружным лаем.

Конь бежал резво. Сбоку темнел низенький лес. Илька задремал было, но вдруг вспомнил про беду, случившуюся с Ермилкой и Ма-Муувемом, и спросил о ней у отца.

— У Ермилки? — переспросил Гриш и заворочался на сене.— Несчастье приключилось. Дочерей досмерти застудил. Из-за Ма-Муувема, черт бы его побрал! Ну, ты еще мал, не поймешь.

— Пойму! Расскажи! — потребовал мальчик.

И Гриш, как бы говоря сам с собой, рассказал сыну грустную историю...

Окрестив у попа маленького Егорку, Ермилка надумал свозить в Мужи и повторно окрестить двух дочерей — Марпу и Татью. Решил и на них получить по рубашке.

Возвращался довольный и радостный. Но, на беду, в пути догнал пьяного Ма-Муувема. Старшина уснул, полусидя на нарте. И его упряжка, даром что из четырех оленей, плелась кое-как. Обогнать в дороге старшину для хантов — большой грех. Нельзя и просить его ехать быстрее. Ермилка с дочерьми на своей проворной собачьей упряжке тянулся за оленями чуть не полдня. А мороз сто-

ял трескучий. Девочки, плохо одетые, простыли. Несколько дней провалялись они в бреду и умерли.

— Обе?! — вздрогнул Илька.

— Обе...

— Их похоронили?!

— Известно... Однако не в могилу — земля стылая да и снег глубок. Где-нибудь на ветках деревьев высоко лежат. Так водится у хантов. Весной уж захоронят получше, если зверье да птица не растащат, не расклюют...

— Ой, что ты, папка! Они ведь были хорошие. Особенно Татья. Ой, жалко! — У Ильки навернулись слезы. Он вспомнил, как играл с девочками в Вотся-Горте...

Ехали молча.

— Плохо, не знаю по-ихнему... О чем вы говорили в юрте, так и не разобрал,— снова заговорил Илька.

— Научишься... А про что калякали — тебе это ни к чему.

— Как ни к чему? Сам же говорил — привыкай любопытствовать, мотай на ус,— серьезно сказал мальчик.

Гриш засмеялся. И доверительно, как взрослому, сообщил:

— Звал их в парму! Бедствуют из-за Ма-Муувема. Мы-то перебиваемся, а они хуже нашего живут. Сам видел. Сообща-то и нам бы и им с нами бы лучше. Больше рук — разворотливей работа. Они от труда не бегут. Исполнительные... Но в парму не идут... Как и Ермилка... Не хотят разобщаться... А по-моему, просто трусят, старшины боятся... Не одни девочки помрут... Все сдохнут, если не убрать Ма-Муувема с пути-дороги...

Гриш говорил и говорил, словно спешил выговориться. Но вдруг осекся, спохватился:

— Ну, маловат твой ус! Чтоб этакое-то наматывать... Спи-ка лучше, ездок-путешественник. Горло простудим, разговаривая.

Илька понял одно: отцу грустно. Он повздыхал, не зная, чем помочь, и заснул.

Пробудился он, когда светало. Они въезжали в Мужи.

Глава девятнадцатая

НЕДОЛГОЕ ГОСТЕВАНИЕ

1

Еще и года не прошло, как Илька уехал из Мужей. Что могло измениться за это время? Наверное, почти ничего. Но Ильке казалось, что перемен много: и бабушка-то вроде сильно поседела, и дядюшки и тетушки посолиднели, и Микул с Петруком и сестрами стали больше. Подросли, что ли? Даже Февра, которая совсем недавно уехала из дому, выглядела по-другому. Аккуратной стала Февра, чистюлей, как Окуль, ее подружка. Окуль забежала за Феврой по пути в школу.

— А я сегодня не пойду учиться. Вишь, кто приехал? — сияя, заявила Февра и указала подруге на отца и братишку.— Они и тебе гостинцев привезли! Чуть не целый мешок.

Окуль улыбнулась, но в ее карих глазах мелькнула грусть, видно, оттого, что ее папка не приехал...

— Приедет. Может, и с Энькой,— успокоил девочку Варов-Гриш и стал расспрашивать, хорошо ли учатся они с Феврой.

— Мы уже читаем и пишем. Только плохо понимаем по-русски,— призналась Окуль и вдруг решительно заявила, что и она не пойдет в школу, раз Февра не идет.

Гриш не стал возражать. Передал Окули гостинцы, велел отнести их квартирохозяйке, пусть та кормит девочку экономно...

— Я и сам зайду попозже, посмотрю на твое житье. Узнаю получше про твои ученья-мученья,— пообещал Гриш Окули.

— Охо-хо,— вздохнула при этом мать Гриша, старая Анн.— К чему только это мученье-то девочкам! Вот кому ученье-то пригодится.— Она погладила Ильку по голове.— Внуку моему, коньэру. Жить-то ему надобно будет как-то. Ешь, милый, ешь, коли к бабушке приехал. Соскучилась я, старая, по тебе,— она в который раз гладила Ильку ласковыми руками, угощая его, чем только могла.

Илька тоже был счастлив, что снова у бабушки, слышит ее знакомые вздохи, негромкий голос, видит милое морщинистое лицо, широкое и приветливое, ощущает ласковость и нежность родных рук. Он много поведал ей

уже про Вотся-Горт и еще много хотел рассказать. Бабушка охотно слушала, ей все было интересно: и про то, как напугал их медведь, и как Илька славил в рождество, и про несчастье, которое стряслось у ханты Ермилки из-за Ма-Муувема... Хотелось Ильке рассказать, как купали его в росе, как искал он в лесу встань-траву, излечившую Илью Муромца. Но он воздержался: ничего же из этого не получилось. Бог не помог ему. Илька все еще нисколечко не ходит, а лишь ползает...

Не было конца и разговорам взрослых. Они завтракали в комнате дяди Пранэ и тети Малань и делились новостями.

Гришу не хотелось выкладывать про разлад в парме. Но даже незначительных обмолвок было достаточно, чтоб Петул-Вась понял многое.

— М-да-а,— протянул он. И это прозвучало как: «Я же предвидел, предсказывал...»

— Вот одичаете пуще и вовсе рассоритесь. Надоедите один другому. Вертайся-ка в свой дом. В Мужах людней, веселей. Житуха налаживается. С голоду не помирают... И Ильке скоро в школу. Без матери ему одному тут нельзя. И лечить его тоже надобно...

Пранэ легонько потрепал Илькины волосы и поддакнул старшему брату:

— Правильно, крестник мой во уже какой шляпчик-мальчик. Вырастет карапуз и будет козырный туз. Станет учиться — куплю ему что-нибудь для писулек. Вертайтесь в Мужи — и баста!

Старуха и снохи в один голос затвердили то же самое. Без поездок в Мужи все равно не обойтись — грехов-то сколько незамоленных. Худо ведь, что в церкви подолгу не бывают. В мир-лавке товары завелись, стали продавать кой-чего. Было б на что купить! Гриш работящий, не останется без нажитка.

Братья поддерживали женщин. Петул-Вась нахваливал новую власть. Гриш только диву давался: что за чудо произошло? Прежде Петуль-Вась не стеснялся поругивать нововведения...

— Теперь не то, что год назад. Теперь брюхо у каждого глаже стало,— рассуждал Петул-Вась.— С нас власть налогов никаких не берет... Ходит слух, будто Госрыба какая-то объявилась. С весны снарядит она рыбацкие артели. Не такие, как ваша самодельная парма с гнилыми сетями. Большущие. Рыбакам дадут снасти новые,

лодки крепкие! Промысел пойдет на самых рыбистых угодьях, аж у самой Обской губы, в царстве рыбы! И туда не придется переселяться насовсем с бабьем и детворой. Пароходы завезут рыбаков на путину, назад увезут...

Гриш ловил каждое слово брата, теребя кончики усов. Да, значительные дела затеваются в Мужах...

— Ну, а с уловом как? — спросил он брата.

— Улов рыбаки сдадут — полный расчет получат. Можно и в долг брать, на еду, одежду — под улов... А уловы, если башковито все наладить, хорошие будут. Много рыбы можно засолить, насушить... От маленькой пармы такой пользы не получить. Госрыба — сильная штука...

— Инте-ересно,— растерянно протянул Гриш.

— Очень интересно,— согласился Петул-Вась.— Хотелось мне в эту Госрыбу, да Куш-Юр не пускает. Говорит, заместо Биасин-Гала я хорошо управляюсь. Вот. Учусь торговать...

— Н-да... Мир-лавка, выходит, в аккурат на твой котелок. И новые перемены тебе по душе...— сказал Гриш задумчиво. И тут же спросил со скрытой иронией: — А по дому-хозяйству кто же управляется, ежели ты деньденьской товары продаешь? Кто тебе подсобляет? Пранэ?

Вась не уловил подковырки, ответил со вздохом:

— Сам управляюсь. Трудно, конечно. Вечера и ночи мои. Да воскресные дни. Но скоро Микулка подрастет. Туговат парень на учебу, не быть ему грамотеем. Пусть дома подсобляет...

Гриш с сомнением глядел на брата: вечера да ночи отдавать хозяйству... Много ли нахозяйничаешь?..

— Но ты знаешь, куда мою мысль Куш-Юр однажды увел? — встрепенулся Петул-Вась.

Гриш ревниво навострил уши: Куш-Юр с Петул-Васем беседы ведет? Так вот почему Петул-Вась такой азартный до новых дел. Куш-Юр другом его себе сделал! «Эх, Куш-Юр, Куш-Юр! Эх, Роман Иванович, друг душевный... И тебя как друга потерял я, на остров забравшись»,— вздохнул Гриш. Однако интересно ему стало, какие мечты обсуждал Куш-Юр с Васем...

— Если дать в мир-лавку много-много всякого товару,— говорил увлеченно Вась,— дел в хозяйстве убавится. Зачем самому шубу-обувь шить, зачем бабе самой прясть-ткать, если все в мир-лавке будет?.. А?..

Ну, над этим Гриш еще никогда не думал. Чувствуя

себя гостем, не стал затевать спора с братом. Да и Петул-Васю было недосуг. Пришло время открывать мир-лавку. Вась собрался и ушел.

— Не ради ли себя Васька меня назад в село приманивает? — усмехнулся Гриш.— Хитроват ведь он у нас. Заставит меня хозяйство его вести... Читальщик.

Но Пранэ не поддержал подозрения Гриша. Ему, Пранэ, нет никакой выгоды, вернется ли брат, а ведь тоже советует: не к чему гнездовать на острове. Троим-четверым не поднять того, что сделают всем селом.

— Ну-ну... И ты о том же...— молвил Гриш.— Поброжу-пошатаюсь по Мужам, сам узнаю, каково тут.

— Отдохни с дороги, потом уж,— посоветовал Пранэ.

2

Гриш лег поспать, а Илька с Феврой и братьями завел игру в соседней комнате. Он ползал по знакомым половицам, непокрашенным, как и прежде, толкая впереди себя игрушечного деревянного коня. Этого коня и деревянную ловушку-черкан Илька привез в подарок Микулу и Петруку. Игрушки смастерил отец. Петруку подарки понравились. А Микулка пренебрежительно отдувал губу. Он заметно подрос и высокомерно относился к забавам младших. К нему пришли друзья-подростки, звали его на улицу. Микулка собрался было, но мать заставила его взять сумку и пойти в школу, а то попадет, мол, от отца.

— Февре можно не учиться, а меня гонят,— ворчал Микулка, недовольно размахивая холщовой сумкой. Верно служила ему сумка в драках. Была она вся обтрепанная и в чернилах.

Но мать вытолкнула Микула за дверь вместе с дружками.

— Микулка — лодырь, а я буду хорошо учиться,— хвастливо заявил Петрук.— Год пройдет, и я ученик-мученик!

Петрук был резвый, веселый, озорной и большой выдумщик. Всю печь разрисовал разноцветными карандашами. Всякими птицами, зверями, цветочками. Румяный, большеглазый, темнобровый; говорили, он весь в дедушку по матери.

— Илька, хочешь рисовать? Я научу,— бойко предложил Петрук и опустился возле Ильки на пол с листочками бумаги и огрызками карандаша.

У Ильки загорелись глаза: как занятно!

Улеглись на животы. Послюнявив карандаш, Петрук нарисовал голову лошади с выгнутой шеей.

— Во! Видал? — вскинул Петрук длинные ресницы.

— Здорово как! — удивился Илька.— Кто тебя научил?

— Сам! А ну, малюй, ты!..

Илька пододвинул бумажку себе под нос. Однако сколько ни старался, никак не мог удержать огрызок карандаша в кривых пальцах. Был бы карандаш подлиннее, как ложка, держал бы всей пятерней...

— Эх ты, Илька! Как же ты будешь учиться-то с такими руками? — с детской бессердечной прямотой спросил Петрук и покачал головой.— Пропало твое дело. Останешься навеки неучем.

Илька готов был разрыдаться: новое наказание!

— Не-ет! — с отчаянием крикнул он. Волнуясь, мальчик силился сесть и не мог.

Подбежала бабушка Анн.

— Ох-хо! Что же это вы, детки, обижаете гостя нашего? Ну-ка, возьму его да поношу по избе, как бывало.— И, поднимая Ильку, добавила: — А ты тяжеленький стал.

Она любила нянчиться с внучатами и всячески забавляла их, пела им песни, которые придумывала, должно быть, сама, на ходу — про все, что видела вокруг. Песни ее всегда были разные, редко повторялись. И сейчас, усевшись перед топившейся печкой, она запела:

Топись, топись, печка,
Дым вали колечком
Над избой Акима,
Над амбаром Клима,
Под клюкою бабушки,
Под ухватом матушки...

Дети обступили бабушку Анн. Бабушка в такт песне покачивала Ильку на коленях, а сама не сводила глаз с веселого жаркого огня.

Илька не забыл: Аким и Клим были соседями дядюшек. Аким жил ближе к Оби, а Клим — к Югану. Мальчик представил себе, как дым, вывалившись колечком из трубы дядиной избы, поплывет сперва к дому Акима, затем повернет обратно, наискосок, к амбару Клима и наконец, возвратится сюда, в кухню дядюшек, под клюку и ухват. Забавно!

— Бабуся, откуль у тебя такие песни? — спросил он.

— Плохая, что ль? Иль пондравилась? — улыбнулась бабушка.

— Хорошая. Даже смешная,— заулыбался Илька.— А я песен не умею придумывать.

Бабушка погладила его.

— Не горюй, детка. В твоем роду по бабушке-дедушке и певуны и плясуны бывали. Даже иконы малевал один. Тоже был калека. Аристархом звали. Авось бог пожалеет и тебя, коньэра, одарит умением к чему-нибудь.

Ильке не понравилось, что бабушка без конца повторяет «калека», «коньэр», и, чтобы отвлечь ее, попросил спеть другую песню.

— Про Боба хотите послушать? — живо откликнулась бабушка.

— Хоти-им! — в один голос согласились внучата и прижались к ней плотнее.

Бабушка почмокала губами и весело запела:

Боба, Боба, бороду
Отрастил ты смолоду!
Поменяй-ка на косу,
Я те травки накошу.
Зелень-травки накошу.
Коровенку накормлю.
Коровенку накормлю,
Молочка я надою.
Молочка-то надою,
Ребятишек напою.
Ребятишек напою,
Щепок с ними соберу.
Щепок с ними соберу,
Жарко печку натоплю.
Жарко печку натоплю,
Мягких шанег напеку.
Мягких шанег напеку,
Да в чулан я положу.
Я в чулан-то положу,
Понакрою-позапру.
Понакрою-позапру,
Ступкой крепко сколочу.
Белый пес не отопрет,
Черный пес не отберет.

Детишки эту песню слыхали много раз и знали хорошо, но бабушка пела так весело и задушевно, что им хотелось слушать и повторять за ней песню еще и еще.

Бабушка Анн была очень любопытной. Без очков она видела плохо и, заметив кого-нибудь за окном, торопливо окликала внучат:

— Февра, Марэ, гляньте, кто это там идет? — Узнав

кто, принималась судить и рядить, куда и зачем человек идет.

А то внучата сами часто окликали ее. Вот и сейчас, увидев в окно необычную для зимы картину, они закричали:

— Бабушка, бабушка, скорей! Корова чья-то бредет по улице!

Бабушка, смешно переваливаясь с боку на бок, подошла к заиндевелому окну.

— Какая она, корова-то? Черная аль красная? Я что-то не пойму...

— Пестрая и с рогами. Худющая!

— Ну-у, дак эт-та Клима скотина. Чья ж боле,— вмиг заключила она.— Кто же праведный в этакую стужу скотину-то выпустит? Сена ему своего жаль тратить, вот и выгоняет корову с ползимы на снежную поскотину. А может, скотинка-то, бедная, сама с голоду из стойла убежала. Ей, поди, на чужих навозных кучах сладостней, чем у скаредного хозяина...

Петрук бесцеремонно заметил, как взрослый:

— И все-то наша баба Анн знает! И до всего-то ей дело. Ужас любопытная!

Бабушка не обиделась.

— Только и полюбопытствовать да побегать, пока жива,— миролюбиво отозвалась она.— Молодость прошла — не попрощалась, старость пришла— не поздоровалась. А я еще и поплясать не прочь. Только времечко-то ноне невеселое. И корова Климова бродит не с радости... Охо-хо! — Однако тут же бабушка Анн пустилась в пляс под негромкий свой напев:

Эх вы, ножки-ноженьки!
Были вы хорошеньки!
На вечерках я всегда
Танцевала, молода...

Она притопывала мягкими меховыми туфлями, и рыхлое тело ее колыхалось в такт.

Ребята каждый день видели бабушку веселой, приплясывающей и не так восторгались, как Илька. Он обхватил ее за колени, прижался к ней. Ну что за чудо, бабушка! Говорили, будто Илька очень похож на отца, а еще больше — на бабушку. Ему это нравилось. Одно не мог Илька понять, как он, мальчик, может походить на старуху.

Когда они жили в Мужах, в комнатке висело большое

зеркало с рыжими, словно заплаты, пятнами, веснушчатое от мушиных и тараканьих следов. Перед зеркалом наряжались все женщины, собираясь в церковь.

Однажды, играя на полу, Илька увидел в зеркале мальчугана. Он также сидел на оленьей шкуре, и у него была такая же искалеченная рука. Он смотрел строго и с любопытством. Илька догадался, что это его отражение. Внимательно вглядевшись в свое лицо, мальчик перевел взгляд на бабушку. Та вязала чулок, качая ногой зыбку, подвешенную на конце толстой гибкой палки.

— Бабушка, почему говорят, будто мы с тобой похожи? — спросил он тогда.— Я в зеркале вон какой, а у тебя лицо, как старая шаньга.

У бабушки в глазах заиграли смешинки, а на щеках появились ямочки.

— Погоди, мил дружок. Состаришься — и у тебя тоже лицо-то будет вроде старой шаньги.

— Ну да!

— А то как же? Вечно, что ль, молодым-то хочешь быть?

Бабушка вздохнула и принялась перечислять, что и скулы-то у них с Илькой широкие, и глаза одинаково зеленоватые, немного раскосые, и носы им бог дал лопастые, и еще много-много другого...

— И проворен бы ты стал, поди, как я, ежели б не увезли тебя тогда на несчастную рыбалку... Что ж делать теперь с тобой? Как же быть-то? Неужто в люди не выйдешь из-за напасти этакой! Ой, коньэр ты, коньэр!..

Вспомнив этот разговор и в порыве благодарности за ласку, за песни и пляску, Илька обхватил ноги бабушки и потянулся к ней на руки, шепча:

— Ох, как я тебя люблю!

Старуха подняла его, прижалась к нему морщинистой щекой.

— Охо-хо! Растешь вот, а как жизнь твоя сложится, один бог знает.— Она кивнула на окно.— Будто за стеклом обледенелым сокрыта — не узреть, не угадать...

3

— Вот хорошо, что приехал! — Куш-Юр прервал беседу с сидевшими вокруг мужиками, встал из-за стола навстречу Гришу. Они по-братски обнялись, щека к щеке. И мужики, все до одного знакомые, мужевские,

встали, улыбаясь, закивали головами. Потеснившись на лавке, уступили Гришу место рядом с председателем.

Довольный встречей, Гриш не спешил первым начинать разговор, ожидал, что скажет председатель. Не торопясь, набил трубочку, задымил.

Куш-Юр тоже медлил, Гриш чуял: таит для него председатель какую-то хорошую весть.

— Все дела сделал? — спросил Куш-Юр.

— Не-е, еще не все...

Кто-то из мужиков вставил не то шутливо, не то подковыристо:

— Дома, поди, с Петул-Васем все сторговал.

— Дом — не мир-лавка, дом — для домашнего,— не поддержав шутки, степенно ответил Гриш.— Маловато добычи привез. Пушнина по тайге бегает, рада-радешенька, что порох-дробь кончилась...

— Маловато, говоришь, а розвальни — с верхом? — недоверчиво уточнил один из посетителей.

— Кабы пушнина! Уголь то.— Гриш, прищурив глаз, посмотрел на мужиков: как отнесутся к его товару?

— Уголь? — разом переспросили несколько человек. Не меньше других подивился и Куш-Юр.

— Что за уголь?

— Обыкновенный, черный, каким самовар разжигает баба. Березовый, крепкий!

Кое-кто из мужиков засмеялся:

— Опять с причудами. Как есть — Варов-Гриш...

Гриш не смутился, спросил сидевшего рядом мужика:

— У тебя есть? А-а-а, нет!.. И не продам тебе, если даже попросишь. В кузню завезу, Акиму Ковалю продам — ему на пользу и нам не в убыток. У вас березы нет, у нас — под боком, руби — не вырубишь, жги — не пережжешь. Нам вытопков с одной зимы-то на сто лет. Зачем добру пропадать!

От уверенных запальчивых слов Гриша мужики примолкли. Куш-Юр, напротив, с восторгом заговорил:

— Молодчага, молодчага! Так и надо! С головой! Доход сам в руки не придет. Здесь немного, там кое-что — все прибыль. А как иначе? Дельно, ничего не скажешь. Нам этих углей теперь для кузни много надо. Давай, Гриш, делай свои дела: в кузне, в мир-лавке — и сюда возвращайся. Ждать буду. Очень ты нужен, даже хотел за тобой в Вотся-Горт посылать... А я покуда с людьми перетолкую.

«Зачем я нужен ему?» — терялся в догадках Гриш.

...Управился Гриш только затемно. Он уже не надеялся застать Куш-Юра в сельсовете. Но еще издали увидел свет в окне. «Ждет! — удивился.— Что-то важное должно быть...» — И с беспокойством вошел к Куш-Юру.

— Продал уголь? — поинтересовался Куш-Юр.

— Запросто. Аким купил.

— Сходную цену взял?

— Кто его знает, купец из меня не больно тороватый, да и уголь — не обычный товар...

— Ну-ну! — улыбнулся Куш-Юр, мол, не прибедняйся. И без всякого перехода спросил: — Как там поживаете?

Спросил скороговоркой, несколько рассеянно. Гриш сухо, без лишних деталей, принялся рассказывать про последние события. Он ревниво следил, как председатель слушает. Если без интереса, то и оборвет на полуслове. Но тот не пропускал ни слова. А когда услышал про избиение Сандры, насупился, сжал кулаки. Потом вроде огонек надежды блеснул в его глазах, внимательно дослушал до конца.

— Дела-а,— сказал Куш-Юр нараспев и расстегнул ворот гимнастерки, словно ему стало душно. Зачем-то снял шапку, почесал макушку, снова нахлобучил ушанку и осторожно осведомился: — Обратно в село не надумал? — Однако, не дожидаясь ответа, тут же добавил со значением: — Вид один имеем на тебя...— И другими словами, но почти то же, что и Вась, рассказал про Госрыбу, про те преимущества, которые она даст рыбакам.

Гриш не перебивал, ожидал дополнительных сведений. Но больше того, что говорил брат, Куш-Юр не сообщил.

— Знаю, Петул-Вась уже все обсказал мне,— не стал скрывать Гриш.

— А-а-а...— В голосе Куш-Юра послышалось легкое разочарование: наверное, ему хотелось первому сообщить такую важную весть.— Ну, как?

— Не думал... Товарищей спросить надо,— ответил Гриш. Выждав с минуту, поделился своими опасениями насчет пармы, которые у него возникли после объяснения с Гажа-Элем.

Куш-Юр встал, заходил в волнении по комнате.

— Скажу честно тебе, и я сомневаться стал в вашей парме,— сказал он тихо и как-то виновато глянул на Гриша.— Радовался я за вас, верил, а теперь не знаю... Давно

хотел сказать, да азарт твой удерживал. Ваш почин, ваша постоянная парма на выселке, жизнь сообща, в складчину — это такое новшество! Коллективное ведение хозяйства — просто невиданная штука...

Гриш не дал Куш-Юру досказать, оборвал:

— Так силком ведь не тянули никого. Не неволили. Ума не приложу, пошто не заладилось...

Видно, Куш-Юр еще раньше думал об этом, потому что ответил сразу:

— Оно и не должно было заладиться. Вершки без корней не бывают! С корней все тянется... По едокам делить да поровну — это, брат, вершина. С малого начинать надо было. Люди чтоб привыкли сообща работать. Да!.. Но не сокрушайся! Ваша парма — хорошая проверка людских характеров. Пусть год только она прожила... Каков бы результат ни был — приобретенный опыт только делу на пользу пойдет. Госрыба, по-моему, будет самым что ни на есть правильным зачином...

— А дележ?

— С улова, думаю...

— Это понятно, а по мужикам?

— По старанию.

— В чем и загвоздка. На чей глаз меряно будет старание-то?

— На твой...— Куш-Юр хитровато улыбнулся.

— Это почему же?

— А потому, что тебя думаем за главного в эту Госрыбу.

— Меня?! — растерялся Гриш.

— Больше некого.

— Так я грамоты не знаю... И опять же брат в мирлавке. Что люди подумают?

— Мир-лавка Госрыбы не касается. А люди — не против. Многому ты научился в парме, другие этого не умеют. А что грамоты не знаешь — подучим.

Гриш слушал, покачивая головой. А потом сказал:

— Я со всей душой, Роман Иванович, что другое исполню... А от Госрыбы этой уволь. Мозгов моих маловато.

— Ты что — мерял их? Додумался вытопок накапливать и до всего другого додумаешься.— Куш-Юр положил руку Гришу на плечо.— Поезжай домой, подумай, но не тяни с ответом...

— Не знаю, Роман Иванович,— еще раз вздохнул Гриш.— Надо подумать...

Глава двадцатая

БЕЗРАДОСТНАЯ ВЕСНА

1

Гриш и не заметил, как проехал от Мужей до Вотся-Горта. Илька пробовал в пути заговорить с отцом, но он или отмалчивался, или отвечал нехотя. А мальчика распирало нетерпеливое желание поделиться впечатлениями. Обиженный невниманием отца, он нахохлился, задремал и проспал почти всю дорогу.

А Гриш всю дорогу думал о предложении Куш-Юра, перебирал в памяти их разговор. Роман, похоже, был раздосадован, что не согласился... С тем и отпустил Гриша, что тот подумает и приедет приниматься за новое дело. Расстались сдержанно.

Куш-Юр добра желает, в этом Гриш не сомневался. Энтузиастом его, Гриша, обзывает... Но ведь и сам больно пылок... Нет, очертя голову нечего лезть!.. Шутка в деле — над всеми мужиками за старшего. Всех на промысел снарядить, от всех улов принять. А как не заладится? Сколько ртов некормленых останется? Распроклятым будешь. Да и свое хозяйство, свои рты. Пранэ подряжать или как Вась делает? Нет уж...

А вообще-то что весна покажет... Не истает парма, как снег под солнцем, так и не придется входить в Госрыбу, истает — куда деваться...

Но скребло душу и другое.

Сам ведь тоскует — людей маловато. А тут подберется артелька мужиков на сто, кабы не больше. Сила!.. Это тоня, так тоня... Баржами улов возить, караванами. Мужики неводят, пареньки-подлетыши разделывают, соли — полные амбары, бочонкам — счета нет...

Думалось ему, нет милее дела, как песни заводить, людей забавлять представлениями, игрой на гармошке. Однако и большой промысел куда как интересно ставить. Достаток людям первее всего нужен.

Но Гриш одергивал себя: мало ли что помечтается. Ехал в Вотся-Горт — такие ли дивы дивные придумывались!

Захотят ли люди большими артелями неводить? Попадутся такие баламуты, как Мишка, что делать? Не привычны все сообща, приучать надо, сам Куш-Юр говорил.

А он, Гриш, троих не приучил... сто и подавно не приучить...

Зря, зря Куш-Юр на него надеется...

...О предложении Куш-Юра Гриш никому не сказал, скрыл даже от Еленни. Но не проходило дня, чтобы не примерялся в мыслях к новому делу так и этак... Что потерял бы он, прими предложение, что выиграл бы... Иногда ругал себя за нерешительность, медлительность, корил себя за излишнюю осмотрительность... Возможно, Куш-Юр и не вспоминает его, Гриша, другого кого подыскал: предупреждал ведь — думай недолго...

Время же летело быстрее птицы.

Пришел март. Солнце поднималось уже высоко над тайгой и не торопилось прятаться. В ясные дни снег слепил глаза. Мужики сделали себе маски из бересты с узкими прорезями для глаз... Дымчатых-то очков в ту пору не было. По-дедовски берегли зрение, по старинке...

Но, как всегда в эту пору, ясные дни перемежались с пасмурными, с метелями. Охотникам часто приходилось отсиживаться дома.

Чтобы избежать новых скандалов, которые могли вспыхнуть в любую минуту, в надежде как-то сблизить своих товарищей, примирить, Гриш затеял мастерить кринки и туески из липовых чурбаков.

— У нас липу редко встретишь, а возле Мужей — и вовсе не сыщешь. Мир-лавка за милую душу возьмет... Уголь дал нажиток, а это и подавно.

Только Сенька вызвался помогать Гришу.

Бедняга искал хоть какого-то утешения. Чуял, что недолга жизнь в Вотся-Горте. Слышал, Мишка с Гажа-Элем как-то говорили — до разлива... И опять он, Сенька, со своим выводком в нужду впадет... Да еще один малец добавится. Мишкин ли, его ли — есть-пить запросит, живая душа... За всю жизнь только год и пожил без заботушки о пропитании. Согласились бы мужики не ломать пармы, он изо всех сил старался бы. Так ведь не согласятся... От страха за будущее Сенька жался поближе к Гришу, надеялся, что тот не кинет его на произвол. Сильный, добрый. Ругал в мыслях свою Парассю, ведь из-за нее весь разлад. Поганая!.. Но гневу своему Сенька не давал выхода: брюхо Парасси раздулось, еле носила. И ее жалел, и боялся — младенцу повредит...

Довольно скоро Сенька наловчился. Как и Гриш, он выбивал с помощью деревянной втулки сердцевину из чу-

рок. Затем осторожно снимал дерево слой за слоем. Получались стенки толщиной в палец. Приделывал к кринкам дно, крепил их обручами из таловых прутьев... За работой как-то забывались горести...

Но мартовские метели не долго выли. Не долго длилась и работа.

Еще ярче засияло солнце. Поднималось выше и выше по небосклону. Еще ослепительнее сверкала земля, покрытая иссиня-белым снегом. Мужики снова становились на лыжи, надевали берестяные очки и спешили в тайгу. на промысел.

...Нигде так не ждут весны, как на Севере. Долгая, суровая зима изнуряет. В буранные дни Еленья без конца вздыхала:

— Скорей бы уж весна-то наступила, а то пуржит, аж на душе муторно.

И вот было радости, когда однажды Илька в тихий день, посиживая на крылечке, вдруг увидел летящую ворону.

— Ворона, ворона! — взвизгнул он радостно.

Ребятишки, резвившиеся во дворе, подхватили его крик. Все задрали головы, каждый показывал рукой вверх, перебивая друг дружку:

— Вон она, ворона! Ворона прилетела! Карр! Карр!

Услышав шум, выскочили из изб женщины. Увидели на березе черную птицу. Обрадовались не меньше детишек:

— Вот и дождались весны! Не зря сегодня Ворна-хат [1].

Ворона — первый вестник весны на Севере.

А недели через две, когда кое-где по берегам проток и рек завиднелись проталины, прилетели и снегири-пуночки. Они кружились стайками, рассыпая в весеннем воздухе звонкие трели, и в поисках корма садились на проталины, на выпуклую, как сдобная буханка, дворовую печь, освобожденную от наледей ветром и солнцем. Вот стало радости детям! Ловля снегирей — любимое занятие маленьких северян. Да и не только маленьких. Мужчины порой тоже увлекаются охотой на этих птичек. У них нежное и жирное мясо.

По тающему снегу стало трудно таскать лыжи. Промысел в тайге кончился. Взрослые вместе с ребятишками

---

[1] **Ворна-хат** — вороний день, праздник благовещения, совпадающий обычно с прилетом ворон (хантыйск.).

занялись охотой на снегирей. Один Мишка не принимал участия в ловле. Он упорно уходил по утрам на промысел, хотя возвращался всегда с пустыми руками.

Ловили снегирей небольшими петельками из конского волоса, нанизанными на крепкую нитку. Растягивали нитки с петельками на проталинах, рядом для приманки сыпали крошки хлеба или зерно. Ловились птички хорошо. Особенно в пасмурные со снежком дни, когда все вокруг затянуто белой пеленой и лишь проталинки темнели. К ним-то и манило снегирей...

К пасхе охотники запасли по сотне, а то и больше на семью. До конца поста их хранили в ледничке вместе с остатком мяса забитых ранее телят и быка.

Разговенье ожидалось не скудное. Гажа-Эль с Гришем вздумали даже сготовить самогон и принялись ладить аппарат.

Один Мишка держался особняком. С приходом весны он стал еще сумрачнее, еще крепче полюбил одиночество, почти каждый день уходил в тайгу. От мрачных предчувствий ли, от солнца ли, но потемнел он до черноты. Когда Мишка не ходил в тайгу, он возился в конюшне. Словно знал, что кони его выручат в трудную минуту.

2

Дни стояли уже долгие, ночи — серые, вот-вот вовсе побелеют... Но весна не спешила радовать теплом. Иногда задувал северный ветер, делалось студено. Даже буранило. Вороны и снегири исчезли. Тайга за Хашгорт-Еганом по-зимнему куржавела. Казалось, зима раздумала уходить, решила еще повоеводить на земле.

В один из таких непогожих дней, незадолго до пасхи, к соседкам прибежал встревоженный Сенька.

— Бабы, помогите...— проговорил он торопливо.— Парасся...

Соседки сразу догадались.

— Наконец-то! — сказала Марья.— С таким животом давно пора опростаться.

— Мне, что ли, пойти? — засуетилась Елення и кивнула Сеньке.— Веди Парассю в баню. Тепло еще, поди, там. Вчера топили. Сейчас приду...

Елення не ошиблась: в бане было тепло, и вода в котле над камельком не успела остыть. Она помогла Парассе войти в мыльню и приняла от Сеньки какие-то тряпки да

детскую малицу, приготовленную для новорожденного.

— Не уходи, дожидайся в предбаннике, отнесешь ребенка домой,— предупредила Елення Сеньку и закрыла дверь.

Сенька уселся на лавочку и достал трубку. Руки его тряслись. Немного лихорадило. Он долго набивал трубку табаком, долго не мог высечь огня... Не только руки, но и мысли плохо повиновались ему, путались, куда-то пропадали... Спохватившись, что табачный дым может повредить младенцу, Сенька вышел из предбанника и прислонился к наружной двери, чтобы не прослушать, когда позовет Елення. Ожидать было невыносимо. Но назад он не отважился войти. В нем все напряглось.

Из бани доносились стоны и крики жены. Сенька ежился от них. «Ох сошло бы все!» — мысленно твердил он. «А если на Мишку похож будет?! — подкрадывался к нему страх.— Ух, гады они тогда, сволочи!» — сжимал Сенька кулаки.

Неподалеку от бани беспокойно суетился Гриш.

Не было у них еще такой критической минуты. Вот появится маленький человечек и либо примирит всех, либо рассорит до крови. Последнего больше всего боялся Гриш. Как бы Сенька чего не сделал с ребенком, как бы снова не схватился с Мишкой... На всякий случай Гриш наказал Элю быть наготове, а еще лучше зачем-нибудь зайти к Мишке и там дождаться конца родов.

Эль заглянул к Мишке и не узнал его: до чего трусит — лица на человеке нет. Яснее ясного — совесть нечиста. Кобель! Все засквернил. Перед товарищем, соседом сподличал. Хоть и захочет остаться в парме — не оставим. Сандру жаль... Ревет да костерит мужа, но что такому бабья побранка...

Гриш прислушался к крикам. С одной стороны, из Мишкиной избы, Сандра бранится, не унимается, с другой — Парассины стоны...

Вдруг Гриш и Сенька вздрогнули, раздался звонкий голос младенца.

Сенька суетливо сунул невыколоченную трубку в карман, но, видно, ожегся, вытащил, дрожащими руками застукал трубкой о дверную ручку. У него перехватило дыхание. Вот сейчас все разрешится, все узнается...

— Ты не ушел? — послышался голос Еленни.

— Здесь я, здесь,— отозвался Сенька и, взволнованный, вошел в предбанник.

Еленя вынесла ему младенца, с головой закутанного в малицу.

— Мальчик! — торжественно сообщила она.

Сенька на это никак не отозвался. Принял бережно сверток. Стараясь разглядеть лицо новорожденного, он смешно вытянул шею.

— Потом, потом увидишь,— торопила его Еленя.— Отнеси скорей и бегом возвращайся Малицу верни да прихвати еще тряпки какие-нибудь.

— Зачем? — пролепетал Сенька.

— Значит, надо. Иди-иди! И мигом обратно.— Еленя скрылась за дверью мыльни.

Сенька на негнущихся ногах ковылял домой, осторожно неся младенца в полусогнутых руках. Сенька досадовал, что не видит лицо сына, и думал-гадал, для чего еще нужны тряпки... С Парассей что худое? Так малица детская зачем?..

Дома он положил младенца на кровать, вынул его из малицы, как из мехового мешочка. Новорожденный был запеленат с головой. Опять не удалось увидеть его лица! Распеленывать Сенька побоялся, да и Еленя не велела задерживаться. Порывшись в груде тряпья, он выбрал которое почище, прихватил еще и старенькое платьице младшей дочурки Нюськи и поспешил обратно в баню.

Выходя, наказал дочерям:

— Последите за новым братишкой!

На пороге его настиг истерический выкрик Сандры, адресованный Мишке:

— Иди, иди! Полюбуйся на свое рыжее отродье!

И злобный рык в ответ:

— Молчи, дура! Язык бы твой отсох!

Войдя в предбанник, Сенька с изумлением услышал снова голос младенца. Вот почему оторопила его Еленя! У Сеньки беспомощно повисли руки. Он не мог слова вымолвить.

Но Еленя, по-видимому, услыхала его шаги или скрип входной двери, просунула руку из-за двери мыльни и взяла принесенные вещички. Вскоре она вынесла второго ребенка, упрятанного, как и первый, в малицу.

— Принимай богатство! Тоже мальчик!..

— Теперь все? — в замешательстве вырвалось у Сеньки.

— Мало, что ли? — засмеялась Еленя.— Отнеси...

— А Парасся... ничего?

— Ничего...

Довести роженицу до дому подсобила Марья.

— Вот счастье-то — сразу двух сыновей. Ай да Парасся! — приговаривала она, поддерживая роженицу под руку.

Парасся выругалась в ответ.

— Не убивайся! — старалась успокоить Парассю Еленця, поддерживая ее под вторую руку.— Теперь у тебя ровный счет: три дочки да три сына...

Не доходя до дома, они услышали несусветный гам. В избе все были до крайности возбуждены.

Сенька метался по избе, грозился убить Мишку, исступленно материл его.

Мишка сидел за столом, понурив рыжую голову и зажав ладонями уши.

Сандра, уткнувшись в подушку, выла протяжно, с воплями, как по покойнику.

Девчонки, глядя на взрослых, тоже голосили. Два младенца, распеленатые, голенькие, лежали рядышком на постели. Их крошечные тельца посинели то ли от натужного плача, то ли от холода.

Женщины в нерешительности остановились у порога. Гаддя-Парасся простонала:

— Господи!..

— А-а-а, явилась, с-слюха! — замахнулся на жену Сенька.

Но между ним и Парассей встал Эль. Он схватил Сеньку за ворот и оттащил к противоположной стене.

— Ты что — не видишь? Еле на ногах стоит!

— Давай уж, если хочешь, на меня.— Мишка встал, набычившись. Но Эль с силой усадил его на место.

— Гады! — выдохнул Сенька. И вдруг, уткнувшись в угол, жалостливо, по-бабьи, заголосил.

Эль посоветовал не трогать Сеньку: выплачется — облегчится, и вышел из избы.

Еленця и Марья помогли Парассе дойти до постели, снять малицу. Она села возле двойни и залилась горькими слезами. Были ли то слезы раскаяния или тревоги за судьбу нарожденных — она и сама не знала.

Сенька растолковал слезы жены по-своему, пробормотал из угла:

— Вон, самой стыдно. А мне каково! — И снова плечи его затряслись, теперь в беззвучном плаче.

Еленця и Марья запеленали младенцев. Оба как две

капли воды походили на Мишку: и рыжие, и курносые, и веки пухлые, и подбородочки тупые.

— Вылитые,— не удержавшись, шепнула Марья.

Елення ткнула ее локтем — ладно, мол, не трави рану. И принялась устраивать Парассю, так, чтобы ей было удобнее одновременно кормить обоих младенцев.

— Мы больше не нужны пока? — спросила Елення.

— Нет...— глотая слезы, едва слышно прошептала Парасся.— Корову вот подоить некому.

— Подоим, подоим,— успокоили соседки и ушли.

3

Среди ночи разыгрался буран. К утру намело сугробы до окон. Пуржить не переставало и утром.

Гриш и Эль с трудом открыли дверь своей избы, принялись расчищать крыльцо и дорожку. Немного погодя видят — увязая в сугробах, торопится к ним Мишка. Еще издали он закричал:

— Сандра потерялась!

— Как потерялась?!

— Нигде нет!

Сбивчиво Мишка рассказал, что с вечера Сандра, не переставая, плакала. Он пробовал ее успокоить — не подействовало. Подумал, сама успокоится, и завалился спать. Утром глядит — ее нет.

Подождал немного: может, вышла куда. Нет и нет.

— Везде искал — и в сарае, и в бане, и в стайке, и на вышках...— объяснил Мишка.— Куда запропастилась? Сгинет назло мне, дура. Не зря стращала — поседеешь, мол, подстрою... Вот...— И он выматерился.

Из избы вышли женщины, прислушались к Мишкиному рассказу. Только кончил он — запричитали:

— Ой, беда, беда!

— Что же это выдумала!..

Гриш сердито цыкнул на них. Не ко времени завелись: стряслась беда.

— Во всем один ты виноват, Михаил, заварил кашу, что не расхлебаем,— строго сказал он Мишке.— Запрягать лошадей надо, искать Сандру.— И пошел в избу потеплее одеться.

Гриш решил взять с собой Сеньку, хоть и без него свободно мог обойтись. Боялся, обезумевший Сенька дров

наломать может, мало что смирный... А с Мишкой послал Эля. Мишке на всякий случай нужен охранник, да покрепче...

Эль не отказался. Только сердито проворчал:

— Драть всех кнутом надо, якуня-макуня!

Когда стали запрягать коней, не нашли одних вожжей. Не иначе — Сандра захватила. Уж не вешаться ли в тайгу ушла? Дура баба! Стало еще тягостней.

Спешно разыскали бечеву для вожжей и на двух розвальнях отправились в разные стороны острова — обшарить его из конца в конец.

Искали до полудня. Несмотря на буран, прочесали весь лес, но Сандру не нашли. Ни с чем вернулись домой.

Посидели, молча покурили, думая о том, чтобы хоть труп отыскать. Еще снегом засыплет или того хуже — вороны склюют.

— Не иначе — за Хошгорт-Еган ушла, в тайгу, чтоб не сразу нашли,— высказал предположение Эль.

Мужики согласились и сразу поехали за реку. Если сюда пошла — по целинному снегу далеко уйти не могла. На всякий случай, чтобы побольше местности обозреть, снова разными путями поехали.

Эль и Мишка, вдоволь нааукавшись, все же напали на Сандрин след. Он привел их на лесную опушку. Там после ильина дня собирали грибы и ягоды. Там Сеньку с детьми напугал медведь...

Сандра, полуголая, в нижней рубахе, сидела под невысоким кедром на разостланной на снегу малице. Над нею свисала с ветки петля из вожжи. Ветер раскачивал ее из стороны в сторону. Сандра посинела, дрожала, закрыв глаза, что-то невнятно бормотала.

Мишка первым спрыгнул с саней. Гулким эхом в морозном воздухе отозвалась его бешеная брань. Он схватил жену за плечи, затряс:

— Ах ты, гадина! Что выдумала! Что выдумала, сволочь! — выкрикивал он вперемежку с ругательствами.

Сандра, похоже, не слышала его. Она странно всхлипывала, судорожно подергивалась.

Мишка с такой силой швырнул ее, что она повалилась навзничь и ударилась головой о дерево, но ни звука не издала. Мишка вскарабкался на кедр, принялся отвязывать веревку.

— Вперед одень, совсем замерзнет, что вожжам сделается,— крикнул Эль. Он не одобрял Мишку: жалеть

надо — все-таки жена, хоть и провинилась, доставила всем столько беспокойства...

— А вот сперва погрею, а там и одену,— зло отозвался Мишка.— Ишь вздумала... как мать...

Спрыгнув с дерева, позвал Эля:

— Ну, Элексей, выпори ее хорошенько. Изо всей силушки, как Гнедка своего. А я подержу ее, паршивую.— Эль затряс головой:

— Ты что? Одень, говорю! Околеет, якуня-макуня...

— Ну, как хочешь,— раздраженно крикнул Мишка.

Он пнул Сандру, стегнул вожжами.

— Брось изгаляться, Мишка! — вскочил с розвальней Эль.

Мишка не остановился. Удары продолжали сыпаться на несчастную женщину. Она лишь вздрагивала и уже не стонала, видно, потеряла сознание.

— Хватит дурить! Самого надо выпороть хорошенько! — Эль перехватил вожжи и рванул их так, что Мишка отлетел в сторону.

Эль натянул на Сандру малицу, поставил женщину на ноги. Но она, словно неживая, рухнула на снег. Тогда Эль подхватил Сандру на руки, как малого ребенка, и отнес ее в розвальни.

Мишка подобрал со снега вожжи, уселся рядом, бубня в остервенении:

— Будет знать...

4

Несколько дней Сандра не могла ни сидеть, ни лежать... Тело было в рубцах и кровоподтеках. Она металась в жару, заходилась долгим надрывным кашлем. Простыла — с ночи просидела без малицы на снегу, да еще в буран. На Мишкины вопросы она не отвечала. А Еленне еле слышно прошептала, что хотела повеситься, но не смогла и решила замерзнуть.

— Зря выручил Гажа-Эль... Пускай добил бы меня изверг мой... Нет с ним жизни... Опостылел он мне, ох, как опостылел...

Мишка приносил Сандру в баню прогревать паром от жарко нагретого камелька. Елення помогала ей там, утешала, как могла. Никто не мешал их беседам. В бане Сандра и наревется досыта, и выговорится, как на исповеди. Ничего не скрыла она от Еленни. Рассказала и о сво-

их чувствах к Роману, и про то, как обещал он ждать ее, обещал принять, если худо с Мишкой будет, и про последнюю их встречу в дороге...

— От бога мне наказание...

Еленя лишь охала да ахала. Кое о чем она догадывалась, но и подумать не могла, что Сандра грешна в такой степени. А сказать об этом истерзанной, измученной соседке язык не поворачивался. Вот и убивалась Еленя вместе с ней, и молитвы шептала. Но Сандре не становилось лучше. И Еленя решила, что бог не прощает грешницу. Однако не могла взять в толк: отчего Сандре больше кара, чем Парассе. Сандра лишь в мыслях грешила, а Парасся от чужого мужика родила, да еще двойню — и хоть бы что ей, поправляется. Не иначе, ждут Парассю мучения в будущем, и немалые...

Все население Вотся-Горта, даже Парасся, жалело Сандру. Ребятишки снегиря живого подарили — пусть тете Сандре скучать не дает.

Мужики пробовали гнать самогон, чтобы натирать им больную. Однако ничего у них не получилось — умения ни у кого не было.

Летели дни, недели. Сандре не становилось легче. Гриш созвал мужиков на совет.

— Загубим Сандру... В Мужи везти надо,— сказал он.— Вась — лекарь маломальский. У бабок какая-нито трава-зелье сыщется, быть не может, чтоб не было! Собачий жир или еще что уж верно есть. Думаю — Михаилу ехать... Пускай запрягает Карька...

Его выслушали молча. Все понимали, что это значит. В Мужи удастся проскочить по санному пути, а назад — навряд ли. После памятной пурги солнце пригревало сильнее. На сдувах да на буграх земля обнажилась, появилась первая талая вода. Значит, не на неделю уедет Мишка, а уже до вскрытия рек...

Глаза у Мишки радостно блеснули, но он тут же овладел собой, встал, сорвал с головы шапку и, не глядя на товарищей, сказал:

— Спасибо за Карька. Я не против... Раз уж так получилось... Один выход: подальше от грызни — и шабаш!..

Гриш ответил Мишке сухо и жестко:

— Верно, не по пути тебе стало с нами. Сподличал ты, Михаил, перед Сеней, перед Сандрой да и перед Парассей. И перед всеми нами. Мы тебя в парму брали с открытым сердцем, девушку какую просватали... Ни один

из нас не без скверноты... да каждый держал себя... Ты все подорвал... Лихом поминать не станем, но и добром тоже... Эх, мать родная! Езжай!..— с горечью заключил он.

Элю стало жаль Гриша — не за себя ведь одного убивается. Положил ему руку на плечо, сказал:

— Правильные твои слова. Да чего ты его уму-разуму учишь, не Федюнька он малолетний, не Энька — мужик. И уж коли в малолетстве его чему не научили — в старости не научишь. Пускай едет. Вот только одним конем ему не обойтись. Сандра хворая. Ей одни розвальни. А барахло куда? Забирай, Михаил, и моего Гнедка. А мы приедем по воде. Нам тоже неча дикариться в тайге...— Первый раз, кажется, Эль не произнес своего излюбленного присловья. Слишком значительна была минута и серьезен разговор.

— То-то и жаль, распадается наша парма,— впервые признал вслух Гриш.— Видно, придется согласиться с Куш-Юром...— И рассказал о предложении председателя возглавить Госрыбу, а потом встал и вышел из избы, чтобы не видели его огорчения.

5

До отъезда Мишка еще несколько раз ходил в тайгу, возвращался поздно, когда уже спали. Что он делал в лесу — над этим голову не ломали. Мало ли... может, тоска его гложет, совесть заедает...

Выехал Мишка из Вотся-Горта в пасхальный день — солнечный, тихий, теплый. Сандра лежала в розвальнях, на ворохе сена. Она кашляла, прикрывая рот рукавом малицы. Болезнь никого не красит, а ее особенно скрутила. Сандрины глаза, всегда живые, искристые, теперь запали, потухли, щеки ввалились, нос заострился. И только лихорадочный румянец на скулах оживлял лицо.

Сандра вяло и как-то равнодушно прощалась с провожающими. А провожали ее все от мала до велика, кроме Гадди-Парасси. Та боялась заголосить при расставании с Мишкой. Сандра попросила Еленню поднести к ней Федюньку. Приняв мальчика, она немного оживилась. Нашептала ему ласковых слов, покрыла его личико поцелуями. Но скоро устала, отдала мальчика, откинулась на сено, прикрыла глаза. Слезы упругими горошинками выкатились из-под ресниц, потекли по щекам. Было жутко

глядеть на нее, больную, беззащитную, покорную, готовую ко всему, даже к самому худшему.

Мишку тоже было не узнать: приободрился, повеселел. С усмешкой на губах, ни с кем не разговаривая, он обходил розвальни, вроде деловито осматривал — ладно ли увязано. Можно бы трогаться, но он не спешил. Отчего? Уж, конечно, не оттого, что жаль было расставаться с Вотся-Гортом... В такую минуту и у птенца, рвущегося из-под надоевшей родительской опеки, наверно, все же сжимается сердце. А Мишка ничего такого не испытывал, не огорчался, что уходит от товарищей. Скорее всего медлительность его была похвальбой — вот, мол, какой я: захотел — и еду, а вы тут прозябайте...

Но Елення и Марья рассудили по-своему — не трогается в путь из-за того, что ожидает Парассю...

И действительно, как только она появилась на крыльце, Мишка стянул рукавицу и пошел прощаться с каждым за руку. Все чего-то желали ему на дорогу. Один Сенька не подал руки и отвернулся, не пожелав ни прощаться, ни мириться. Мишка поднял выше курносый нос: как хочешь, была бы честь предложена, с меня не убудет. Попрощавшись со взрослыми, погладил головы ребятишек. Какое-то мгновение еще потоптался в нерешительности, кинув взгляд на крыльцо, где стояла Парасся, вяло махнул ей рукой, сел в розвальни рядом с женой и тронул вожжи.

— Не забудь, Михаил, сказать Куш-Юру, что я согласен быть во главе Госрыбы. Слышишь? — еще раз напомнил Гриш.

— Слышу,— не оборачиваясь, ответил Мишка.

— Погуляй, попей в радоницу за меня,— крикнул вдогонку Гажа-Эль.— Все только не вылакай, к нашему приезду оставь, якуня-макуня.

— Постара-аюсь! — обернувшись, ответил Мишка и лихо сорвался с места.

Со своего крыльца одна только Гаддя-Парасся махала ему вслед рукой, утирая нос и глаза, нисколько не боясь ни новых пересудов, ни Сенькиного гнева.

На нее старались не глядеть. Провожающие сбились в кружок и разговаривали, не желая расходиться.

— Несчастная Сандра,— вздохнула Елення.— Нехороший оказался Мишка. Караванщик и есть.

— Нашей вины больше — сосватали их,— добавил Гриш.— Будь нам нескладно-неладно...

— За Куш-Юром-то, поди, лучше ей было бы,— поддакнул Гажа-Эль.— Да и Парасся оказалась... якуня-макуня,— запнулся он, глянув на Сеньку.

Тот сделал вид, что ничего не слыхал. Но когда все направились к дому, он тоже повернул к соседям.

Глава двадцать первая

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

1

Медленно оживала природа. Неторопливо текли дни в ожидании отъезда.

Раньше середины июня не уехать. Все это знали и все же пристально, с надеждой следили за ходом весны: авось смилуется, поспешит... Ведь за месяц с лишним, пока вскроются реки, изождешься.

Но весна не спешила. Медленно убывали ночи. Еще много раз заходило солнце, пока стаял последний снег. Лишь в глубоких ложбинках да кое-где в тени остались белеть его жалкие лохмотья.

Но однажды, когда солнце зашло лишь совсем ненадолго и ночь почти слилась с днем, все пробудились от страшного грохота и хруста. Слышался он со стороны Большой Оби.

Утром на реке, скрежеща, грохоча, взламываясь, дыбясь, двигались стремительно, сплошной лавиной, как потревоженное стадо оленей, потемневшие льдины.

Не стало снегирей. Улетели дальше, на север, извещать, что весна идет...

Но вотся-гортцы не обманывались: не скоро поездка. Еще Хашгорт-Еган не скинул зимнюю одежду. Лед и здесь посинел, одряб, но вроде река раздумывает, чего-то выжидает: течение здесь слабее, чем на Оби, и пока не очистится Еган — не отплыть.

В томительном безделье проходили дни за днями. Обидно: столько светлого времени, а заняться нечем, да и не хочется.

Несколько дней возились, конопатя да просмаливая каюк и другие лодки. И снова впали в безделье.

И со двора не отлучиться, на лодке не уплывешь — вокруг острова еще лед.

Ничего не оставалось, как сидеть на солнышке да любоваться весной. Коротая время, вспоминали всякие истории да случаи из жизни. За весь год, наверное, не было столько рассказано, сколько в эти дни. «Вторым пленом» называл Гриш эти дни томительного ожидания. Про первый плен Варов-Гриша вотся-гортцы уже знали. Он живописно рассказал всем про свой побег из лагеря военнопленных.

Как обрадовались люди, заслышав в воздухе знакомое, долгожданное: «Клун! Клун!.. Га-га-га!.. Свию! Свию!.. Прилетели! Здравствуйте!» Лебеди, гуси, утки, чайки носились стаями, парами, в одиночку. И воздух звенел от их веселых криков.

Почти одновременно растаяла протока, разлилась. И на Хашгорт-Егане засверкали широкие забереги.

Не выдержали Гриш с Элем, спустили на воду свои калданки и попробовали счастья на первой весенней охоте.

Еленння собралась отметить свое тридцатилетие. Как по заказу, тронулся лед на Хашгорт-Егане — нехотя, с частыми остановками, а все же сдвинулся.

— Ради моих именин,— шутила Еленння,— добрая примета. К завтрему река, чай, очистится. Попразднуем — и можно собираться в путь-дороженьку.

Мужчины с утра отправились на охоту — запасти свежего мяса на дорогу, да и на первую пору жизни в Мужах. Гриш еще надеялся поискать и насбирать для Еленниных именин яйца уток-острохвосток — они рано кладутся.

К полдню вода неожиданно круто вышла из берегов и подступила к избам, залила двор. Ребятишки раскричались от радости, лодочки пускают. Вода прибывала быстро. Миг — и заплескалась у порога.

Дети позвали матерей. Те выглянули и обмерли... Это же беда, из бед, наводнение! Кинулись на двор, вещички да игрушки подобрать, а двора нет — вода и вода кругом словно на просторах Оби. Схватили ребятишек — и в избы.

Бедствие нарастало. Вода сочилась через порог. Вскоре залила пол.

Детей усадили на постели. Но вода полилась и через низкие окна. Перетащили ребятишек на печь — последнее убежище. А как вода еще прибудет?!

Дети выли. Женщины голосили. Они метались по ко-

лено в студеной воде, хватая кто постель, кто одежду, и засовывали к ребятишкам же, на печь.

Вспомнили про запасы съестного, хранившиеся в сарае и погребе. К ним не добраться. Пропадет все, погибнет...

И мужья не едут. Поди, и не застанут семьи в живых...

В слезах и сумятице провели полдня. Наконец подъехали мужчины. Распахнув дверь, Гриш прямо из лодки шагнул в дом.

— Живы?! — тревожно выдохнул он.— А ну, в лодку все! Мигом-махом!

Пока грузились в лодки, вода внезапно пошла на убыль.

— Прорвало, видать, затор,— облегченно вздохнул Гриш.— Чтоб ему не бывать!..

Вода сошла так же быстро, как и подступила. Наводнение хоть и недолгое, причинило много бед: испортились запасы рыбы, дичи, остаток зерна, других продуктов. Подмокли вещи, а что хранилось на дворе — пустые ящики и бочонки из-под рыбы, доски, дрова — разнесло куда попало.

Допоздна возились вотся-гортцы и все равно порядка не навели. Нанервничались, устали... Так встретили Еленнины именины...

Наводнение надолго испортило всем настроение.

2

Как-то утром неожиданно пожаловал в Вотся-Горт на небольшой лодке Ма-Муувем, на сей раз с молодой женой Туней. Вотся-гортцы удивились: подъем рыбы на нерест не начался, да и не скоро начнется, рыбаки по-настоящему еще не промышляли, разжиться старшине пока нечем. Зачем пожаловал?

— Принесла нечистая! Видно, решил все же стребовать долг,— предположил Гриш, завидя в окно нежеланных гостей.

— Не иначе.— Эль тоже огорчился.— Успел захватить нас, дьявол!

Все же встретили Ма-Муувема с Туней по всем правилам гостеприимства, как желанных и давно ожидаемых.

— Вуся, вуся! Проходите! Давно не виделись!

— Давно,— здороваясь с каждым за руку, улыбался

Ма-Муувем. Он был в новой суконной парке ярко-желтого цвета.

Торопливо помолившись на образа, Ма-Муувем сел на сундук.

Туня, румяная, пухлогубая, в суконной ягушке, расшитой узорами, в цветастом платке, примостилась на лавочке у самого входа.

Пошли расспросы о здоровье, о житье-бытье, о новостях.

Гриш пригласил гостей поесть с дороги. На столе шумел самовар, вотся-гортцы только-только отзавтракали. Гости охотно уселись чаевать: макали ломтики ржаного хлеба в рыбью варку и запивали чаем с молоком, которое подливали в чашки деревянными ложками, черпая прямо из крынки.

— А неплохо живете: и хлеб, и чай с сахарином...— похвалил Ма-Муувем.

— Живем потихоньку-полегоньку. В Мужах брали... Жизнь там идет на лад.— Гриш старался выглядеть спокойным.

— Так-так,— повторял старшина и наливал третью чашку.— Значит, хорошо живете, а в прошлом году ой как туго было вам. На моей земле спаслись. Летом тоже Ма-Муувем выручал вас крепко. Винку даже попили в ильин день.

Вотся-гортцы переглянулись: не ошиблись — за долгом явился...

— Винка-винка,— вздохнул Гажа-Эль.— Много ли выпили-то ее? Тьфу! Мараться не стоило.

— Много ли, мало ли, а неплохо попраздновали. Правда? — Ни на кого не глядя, старшина шумно прихлебывал чай.— Соль, мука, табак тоже, поди, пригодились, не так ли.

— Так, конечно,— поддакнул Гриш и подумал: «Начинается. Но тянет шельма, напиться дармового чая хочет и тогда уж возьмет за горло».

А старшина, распарившись, то и дело смахивал со лба пот, продолжал елейным голосом:

— Добро вам сделал большое. Да-а... Может, еще пригожусь.

Сенька Германец примостился, как всегда, на сундуке. Слушал, слушал да вдруг прошепелявил:

— Мы обратно уезжаем, в Мужи...

Эта откровенность была неуместна — ведь оставалось

неясным, зачем пожаловал старшина. Гриш и Эль поморщились — всегда вот так ляпнет невпопад.... Да было поздно. Старшина удивленно вскинул густые, темные брови:

— Обратно в Мужи?! Разве здесь худо жить?

Гриш пожал плечами.

Худо не худо, а тянет к родным-близким. Миш-Караванщик еще санным путем уехал. Жена заболела.

— Слыхал я про то,— кивнул Ма-Муувем.— Вот Туня с Пронькой сказывали — проезжали, мол, двое через наши юрты. Мы с Пеклой Большой день [1] в Мужах праздновали.

— Шибко хворая была Сандра,— вступила в разговор молодая хантыйка.— Кашляла сильно. Даже чаю не попила ни у кого. Только погрелась у Ермилки.

Разговор перекинулся на Мужи: долго ли пробыл в селе старшина, как там живется, не встречали ли Караванщика, не слыхал ли, как Сандра. Не поправилась ли? Любопытство вотся-гортцев старшина мало удовлетворил. О Мишке и Сандре ничего больше не слыхал. В Мужах ему не понравилось — красный начальник людей наускивает не слушаться прежних хозяев, не работать на них, заставляет всех грамоте учиться. Но что в мир-лавке стало товару побольше, отрицать не стал.

— Вот, вот. И мы не будем обижены. В Мужах — все-таки дома,— сказал на это Эль.

Ма-Муувем кончил есть, опрокинул чашку на блюдце, вытер рукавом парки обильный пот с лица, проговорил с укоризной:

— Ай-ай-ай! Пошто торопиться! Комар ест, мошкара? Мужи не в упряжке, с места не тронутся, не убегут. Поживете здесь...

— Надоело. Сейчас комарья нет, а появится зелень — загрызут, особливо детей. И в ледоход чуть не утопли,— убирая посуду со стола, поведала о недавней беде Еления.

Хантов это нисколько не удивило.

— Случается, но редко,— успокоил Ма-Муувем.— Место здесь хорошее, промысловое...

Гриш думал напряженно: «Зачем это вдруг так расхваливает Вотся-Горт? И ни слова-полслова про долг...» Не находя ответа, но чувствуя, что старшина хитрит, и, боясь попасть в новую сеть, Гриш выжидательно промол-

---

[1] Большой день — пасха.

чал. Глядя на него, молчали и его товарищи. Старшину не смутила пауза. Неторопливо достал щепотку табака с вотлепом, заложил его за нижнюю губу, почмокал. Хозяева ждали, что скажет гость.

Ма-Муувем понял: пора открывать цель приезда. Но сделал он это не прямо.

— Караванщик не вернется? С вещами уехал? — спросил он.

— Да,— шевельнул губами Гриш.

И тут обнаружилось — давешнее неподдельное удивление старшины было наигранным.

— Ветер по тайге слух разносит, будто парма ваша развалилась, как ветхий чум.

Гришу не понравилось такое сравнение. Но что поделаешь — коль случилось, не скроешь.

Старшина оживился:

— Разговор есть к вам. Шибко большой, хороший. Пойдемте на свежий воздух. Ну их! — Он махнул на женщин и первым направился к выходу.

Мужики поднялись и пошли следом, толкая друг друга — мол, поосторожней, не попасться бы снова в паучью сеть.

У протоки, на лужайке, разгорелся спор с Ма-Муувемом. Оказалось, старшина приехал за тем, чтобы заманить вотся-гортских зырян в свою ватагу. План у него был хитрый: присоединить к парме несколько хантов, снабдить ее своим неводом и получать за это известный пай из улова, размер которого пока не называл. И еще одно условие: добычу сдавать не в мир-лавку, а ему. Он в обмен даст соль и все другие товары.

— На моей земле промышляете, со мной и должны иметь дело,— подытожил он.

Гриш слушал будто с интересом, расправлял усы, скреб в затылке. А про себя думал: «Хитер старшина. И глуп! Глупее не найдешь. Думает, клюнем на его приманку. Нет уж! Раз обжегшись, в огонь не полезет и Федюнька неразумный. Глуп! И нахал к тому же...— И еще подумал: — Вот приходится отказаться от того, о чем раньше мечтал. Ханты вроде присоединяются к парме, сил в ней прибавится, а... Какая же это парма, если в нее не по доброй воле идут... Вот ведь ерундовина!»

— Нет. Надумали мы вернуться в Мужи... Завтра-послезавтра тронемся,— отклонил Гриш предложение Ма-Муувема.

Тот начал уговаривать.

— Пошто так спешите? Место, однако, хорошее, живете хорошо. Я помог вам, сами поработали. Были юрты — стали избушки. Год всего и пожили. Разве не жалко бросать?

— Что здесь понастроили — оставим пока. У меня в Мужах нет теперь избы, и то не жалко. Проживу какнибудь, якуня-макуня.— Эль оглядел товарищей. Те согласно кивнули.

Ма-Муувем не отступал.

— Добрый невод дам, большой! Людей дам! Хорошо будет промышлять!

— Нам и в Мужах дадут, власть, бают, артели снаряжает на самые рыбистые пески-угодья..

Довод Гриша привел старшину в сильное возбуждение. Он замахал руками, предостерегая:

— Отберут улов! Весь! До последней рыбы!

— Так и ты не оставишь.

— Однако ж не даром. Ма-Муувем платить будет чем хотите, как и своим людям.

— Зна-аем... В вечном долгу они у тебя... В кабале...

Ма-Муувем нахмурился.

— Какая кабала! Пошто такое болтать? Я не обманщик! Никакой кабалы не делаю! Это красные люди выдумали, а вы им верите.— И вдруг перешел на шепот: — Красных скоро не будет, старая власть придет. Да-а. Слыхал я в Мужах в Большой день. Верный человек сказал...— И, помявшись, добавил для убедительности: — Озыр-Митька.

— Вот как! Куда же красные-то сгинут-денутся? — Гриш бросил цигарку, встал, собираясь кончать ненужную болтовню.

— Говорят, новый царь объявился — нэп,— таинственно продолжал старшина.— Шибко умный царь. Велит торговать по-старому, жить по-старому да богатеть. Красные боятся нового царя, слушаются... Скоро обратно все богатым отдадут, сами разбредутся. Ун-ики недавно шаманил — то же самое сказывает.

Гриш раскатисто захохотал и долго не мог остановиться.

Давясь от смеха, он, как мог, растолковал, что обозначает нэп. Сам слышал, Куш-Юр на сходке пояснял в Мужах.

Теперь и Эль и Сенька от души смеялись над старшиной.

Ма-Муувем надулся.

— Мне-то что? Старая ли, новая ли власть — все равно. Мне лишь бы промышлять... Ну как — порыбачим вместе? Вы старательные, мои люди — тоже...

— Да нет уж, как решили-надумали, так и сделаем.

Старшина вышел из себя, вскочил, давай обзывать вотся-гортцев и бесстыжими и неблагодарными.

— Вы обманщики,— рычал он.— Винку вылакали, муку да соль истратили — и не рассчитались. Платите долг!

— Сколько стоил твой товар, мы уплатили,— спокойно возразил Эль.— А ежели обещали втридорога — так это по пьянке. Одурачил ты нас, как маленьких.

— Моя ничего не знает,— горячился старшина.— У меня есть палочка с зарубками! Половина ее у вас. Посмотрите и постыдитесь!

Гриш хмыкнул:

— Я ее давно потерял. Да и что судить-рядить об этом. Вон и избушки с печами, и сарай с погребом, и стайки, и баня — все оставляем тебе. Пользуйся. И мы в расчете.

Ма-Муувем немного успокоился, однако не преминул напомнить, что юрты находились за рекой, в таежной стороне, а не на луговом островке, где ханты не зимуют. На это вотся-гортцы ответили, что по воде перевезти срубы на прежнее место не могут, да и некогда сейчас, а в начале зимы приедут и сделают.

— Зимой-зимой...— проворчал Ма-Муувем.— А где ваш бык? — спросил неожиданно.

— Бык? — удивился Эль.— Мы его осенью забили и за зиму съели.

Ма-Муувем сердито сплюнул и пошел осматривать постройки.

Оглядев все внимательно, дотошно, Ма-Муувем сказал примирительно:

— Пускай здесь стоят. Перевозить не надо. Однако ничего моего не забирайте.

— Оставим все, как есть,— заверил Гриш.

Ма-Муувем просиял от удовольствия. Он добился, чего хотел. Возможно, старшина задерживал зырян, уговаривал их остаться только за тем, чтобы стребовать свое сполна... Получил он много больше, чем причиталось даже по зарубкам на палочке.

— Опять перехитрил нас,— покачал головой Эль, когда лодка старшины отчалила.

— Э-э, где наша не пропадала! Тебя без избы не оставим. Поможем в Мужах поставить новую! — утешил Гриш. Однако и у него было такое ощущение, что хантыйский старшина снова объегорил их.

8

Надо было уезжать — на Малой Оби, возле Мужей, лед, наверно, уже прошел, хотя там и холоднее. Мужи ближе к холодному Камню-горе.

С тяжелым сердцем прощались бывшие пармщики с Вотся-Гортом, будто оставляли там что-то очень-очень дорогое. Четырежды переносил Гриш отъезд, специально отыскивал для этого причины.

Гришу было не только жаль расставаться с Вотся-Гортом, а и обидно возвращаться в Мужи. В селе год назад только и разговоров было — про их отъезд. Сейчас, наверное, тоже рты не закрывают, обсуждают их возвращение. Знают, конечно. Слухом и тайга полнится. Вот и Ма-Муувем говорил: «Ветер по тайге разносит слух...» Узнал? В Мужах слыхал, где еще. А уж в селе сплетни ведут — кто во что горазд. Чай, не только в селе — по всему краю. Одна-едина, поди, такая парма была, да и та не задалась...

Но в день отъезда, уже отчаливая с караваном и стоя на корме каюка, Гриш дрогнувшим голосом сказал:

— Прощай, Вотся-Горт! Не поминай нас лихом! Возвращаемся в Мужи строить новую жизнь не так, дак эдак. Мы не сдадимся, мать родная!..

— Точно, якуня-макуня!..

— Конесно!..— пролепетал Сенька.

А бабы прослезились.

А в это время Мишка Караванщик сидел рядом с Сандрой в четвертом классе «Гусихина» на своих узлах. Четвертый класс был битком набит людьми. Всякая поклажа — мешки, котомки, какие-то тюки — теснились прямо в проходе, о нее запинались, через нее перешагивали. Шум, гам, детишки хнычут, матери ворчат на них. Воздух спертый, будто в юрте.

Мишка, дымя табаком, сидел молча, упершись в колени, а Сандра, закрыв глаза, полулежала на боку, положив под голову узелок с дорожной провизией, и то ли дремала, то ли спала.

«Да-а, пожалуй, нехорошо получится,— размышлял

Мишка, стряхивая пепел с козьей ножки.— В Мужах, поздно ли, рано ли, все равно узнают о моем грехе. И тогда второго прозвища не миновать. Дадут, вроде Караванщик-Кобель. Уехать надо из села сразу же, пока нет вотся-гортских. Но жалко Парассю, а особенно детей-двойняшек. Как я без них? Теперь и то невмоготу — каждую ночь их вижу. Они вылитые в меня. А Сандра даже одного не может родить. Тьфу!..— Мишка сторожко покосился на Сандру.— А ежели все-таки дождаться вотся-гортских здесь, в Мужах? Приедут — быстренько соберемся с Парассей и махнем вниз, за Обдорск, только нас и видели. Она пойдет, я знаю. Голову потеряла из-за меня. Она сейчас как раз в аппетите, кхе-кхе... Не пожалеет своих детей — оставит их отцу... А эта...— он опять посмотрел на Сандру,— ни рыба ни мясо... Сдать ее крестной — пусть долечивается, а там посмотрим... Не ее воля, а моя!..— И, смачно выматерившись, Мишка еще раз оглянулся на Сандру, но та, казалось, крепко спала.— Не-ет, Парасся все же лучше, хоть и старше меня. Двойню подарила — первенцев!.. Как-то они там, рыженькие, курносенькие...» — Он смешно шевельнул прокуренными усами, будто в самом деле щекотал ими своих детей.

А Сандра вовсе и не спала и не дремала, а напряженно думала:

«Ну вот и снова Мужи, скоро причалим... А почему это Мишка твердит, что мы с ним должны расстаться? Видно, хочет меня, больную, оставить в селе, а самому уехать на низ, на лов рыбы. А может быть, насовсем, чтоб не встречаться с этой шлюхой, не позориться перед всем селом? Никто же в Мужах не знает о подлости Мишки. Он ведь за всю весну даже не обмолвился о Гадде-Парассе, а о рыженятах и подавно. Будто их и нет. Вот кобель!.. Теперь помучается с двойниками-то, сука... Сеньку жалко — чужих растит... А мне, значит, придется жить у крестной, где же больше. Долечивайся, мол, выздоравливай!..— Сандра глубоко вздохнула.— А, чай, это к лучшему — уедет и задержится там, а я останусь здесь. Освобожусь от него... Вот хорошо бы было!..— Она на секунду приоткрыла глаза, но тут же снова закрыла.— Надоел ведь он мне, ох как надоел. Чуть в могилу не ушла из-за него.. А мне бы... Романа... Заполонил ты мое сердце, Рома! Денно и нощно думаю о тебе, милый... Если только поправлюсь, если освобожусь от Мишки —

приду к тебе, раз ты звал. Я все передумала, все взвесила и решила. Можно с неверующим жить, коли любишь, а в душе верить в бога. Так ведь?.. Ты поймешь, ты умный... ты...» — И из глаз Сандры выкатились две слезинки. Она зашевелилась и поспешно смахнула их рукавом.

— Что, выспалась? — Мишка встал с места.— Карауль вещи, а я пойду погуляю. Вонища тут...— И он ушел.

Глава двадцать вторая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

Дул ветер с Приполярного Урала. «Каменный» ветер, холодный, пронизывающий. Малая Обь, широко разлившаяся, вздымалась крутыми валами. Не то что каюк с караваном лодок, но и грузо-пассажирский пароход «Гусихин» не мог причалить к Мужам. Ветер не давал судну приблизиться к берегу, относил его к тальниковому острову, что посреди реки, напротив села. «Гусихин» истошно гудел, не переставая, шлепал плицами, натужно сипел паром... Все же капитану пришлось причалить пароход к противоположному берегу, переждать, пока утихомирится непогода.

На мужевской пристани столпилось чуть не все село — ведь этот «биа-пыж» открывал навигацию... Как всегда, многие прихватили с собой товар — меховые изделия для продажи или обмена. Кое-кто пришел с дорожным багажом, собравшись ехать в Обдорск. Толпа нетерпеливо поглядывала на реку, на неподвижно белеющий, как огромный снежный сугроб, пароход.

— Скоро ли утихнет ветер-то? Может, и грузу нет, зря торчим,— потерял терпение Петул-Вась.

Куш-Юр был рядом. Промолчал. Ему самому уж изрядно надоело ждать. Когда, в самом деле, «Гусихин» ошвартуется! Кроме продуктов и товаров Куш-Юр ждал важных новостей — почти два месяца Мужи были отрезаны от уезда и волости. Поди, уже прояснено с Госрыбой. Наверное, и орудия лова посланы, и угодья распределены. Иначе путину можно пропустить. И еще... надеялся он узнать про Сандру, про ее здоровье. С сильнейшим воспалением

легких отправлял ее в сопровождении Мишки на попутной оленьей упряжке, на которой возвращался в Березово все тот же знакомый инструктор укома. Как доехала, вылечилась ли? Будто канула — ни слуху о ней. Никогда не тяготила Куш-Юра северная разобщенность так, как в эту весну. Казалось, давно привык к такому неудобству, ан нет...

Петул-Вась снова ругнул чертову погоду. Куш-Юр неожиданно надумал махнуть на пароход.

— Туда, по ветру, разом доберусь. Если есть груз — помашу или лучше капитана попрошу дать вам сигнал: гуднуть дважды, а нет — значит, молчок. Расходитесь. Понятно?

— Один поедешь? Не случилось бы чего — ветер-то какой...

Куш-Юр оглянулся.

— А вот Вечка со мной. Мы вдвоем — живо.

Комсомольский вожак не заставил просить себя дважды. Он сбегал, отвязал отцовскую базьяновку, пригнал ее к мосткам, где ожидал председатель.

Только уселся Куш-Юр на корму, услышал голос Эгруни за спиной:

— Куда это вы, Роман Иванович?

Куш-Юр беспокойно обернулся — еще с ними увяжется!

Эгрунь стояла невеселая, отяжелевшая, расплывшаяся. Видно, догадалась, чего испугался председатель, залилась тихим смехом, успокоила:

— Не бойтесь. Отпрыгала свое. Тяжелая стала. А то увязалась бы, это уж точно...

Куш-Юр дал Вечке знак рукой, чтоб быстрее отчаливал.

2

Солнце, проглядывая меж гонимых ветром облаков, клонилось к закату. В эту пору вотся-гортцы рассчитывали ночевать в Мужах, в кругу родных и друзей. Но «каменный» ветер вынудил их причалить свой караван к покосу возле заостровной половины Малой Оби. Было обидно — Мужи маячили колокольней по-за островом, рукой подать, а они коротают время у костра да ругают чертову погоду.

— Весь путь проехали хорошо, спокойно, а тут — загвоздка,— вздыхал Гажа-Эль, подкладывая сухие та-

линки в костер.— Не ветер, а ветрище. Недаром «каменный». Аж огонь чуть не гасит, якуня-макуня.

Гриш помалкивал. Час, когда придется встать лицом к людям и признать свою неудачу, приближался неумолимо. Гриш притих, загрустил... Неожиданная задержка в пути пришлась ему по душе. Не под вечер пристанут, а ночью, если ветер чуть спадет. Все же лучше — меньше глаз.

Гриш сидел у костра, прислушивался к потрескиванию огня и шипению сырых веток, заслонялся от дыма, то и дело менявшего направление вместе с порывами ветра. Гриш тщательно продумывал, взвешивал то, о чем следует сказать односельчанам, о чем лучше умолчать.

Он скажет им: возвращаются не потому, будто парма плоха. Нет. Причина — в них самих. Не парма оказалась негодной, а они не достойны ее. Это вперед всего надо признать, пусть зубы не скалят. Жадность разве от того, что в парму сошлись? От них самих... А что по пьянке в долг залезли? От их же собственной скверноты легкомысленной. А Мишкина да Парасськина гадость? Парма тут ни при чем. Он, Гриш, хоть сейчас на Вотся-Горт караван повернет. Милее жизни пармой, работы коллективом не придумаешь. Подобралась бы ватага подходящая. Теперь-то уж он знает, с какого боку коня запрягать.

Гриш уверял себя, что его объяснения покажутся людям убедительными, но успокоение не приходило, горечь на душе не уменьшалась.

Он изредка посматривал в сторону острова — промеж тальников белел пароход. Слышал, как минуту назад прогрохотала цепь — бросили якорь. Выходит, ветер не скоро стихнет. На палубе горланили пассажиры, вроде бы навеселе.

И вдруг Гришу захотелось опрокинуть стаканчик-другой крепенького. Поди, на пароходе найдется. Без того не плавают...

Намекнул Гажа-Элю. Тот подивился желанию Гриша, а еще больше — своей недогадливости. И Сенька увязался за ними. Отказывать не стали, понимали, тошно ему. Ведь как в селе про рыженят узнают — не будет Сеньке житья, впору хоть беги или в петлю лезь.

Женщины воспротивились намерению мужей. Одурели, что ли! Утонут у самого дома, оставят семьи сиротами...

— Нам ли пугаться этих валов? Из-за ребятни да ско-

тины не рискуем, сидим тут. А то бы давно в Мужах землю родную целовали. Уток продадим, в дороге настрелянных. Да и варку-икру...

Мужики выпростали каждый свою калданку и, не слушая жен, поплыли к пароходу.

3

Куш-Юр пристал к «Гусихину» раньше вотся-гортцев. И по трапу, брошенному к зарослям тала, поднялся на пароход, нашел капитана. Груза оказалось много — и продуктов, и мануфактуры, и сетей, и соли. В Мужи везли большой мешок с почтой, но почтарь не согласился вскрывать его на пароходе. Куш-Юр попросил капитана просигналить гудками о грузе, как условились с Петул-Васем, и пошел искать знакомых среди пассажиров.

На палубе Мишка встретил Куш-Юра.

— Мать честная!..— удивились оба и пошли друг друга расспрашивать, как да что.

Мишка сообщил, что Сандра тут же, на «Гусихине», домой едет. Повел Куш-Юра в четвертый класс, дорогой объяснил, что для себя он купил палубное место, а для Сандры классное, чтоб опять не застудилась. Это прозвучало как великая забота о жене, большая жертва с его стороны.

Сандра сидела в дальнем углу. Добраться до нее оказалось непросто.

Куш-Юр нашел ее похорошевшей, поправившейся, но все еще немного покашливающей.

— Ой...— Сандра, увидев Куш-Юра, хотела было встать, но подумав, осталась на месте. Она на миг задержала взгляд на его губах, застывших в смущенной улыбке. Куш-Юр нелепо топтался.

— Что ж ты поспешила, не долечилась? — спросил он.

За нее ответил Мишка:

— Не баре мы. На нас само заживает.— Он выдавил кривую улыбочку, желая прикрыть ею раздражение. Но это ему не удалось.

Куш-Юр понял: Мишка не сейчас такой ответ надумал. Наверное, не раз твердил Сандре, что, мол, само заживет. И Куш-Юр заметил:

— В Березове лекари есть. А если жить тебе не на что — работу бы на время нашел там.

— Ага, так меня и ждали! — Мишка уже не скрывал

раздражения.— Выгодное место не пустует, а без выгоды — интересу нет. Озыр-Митька зовет в караванщики... Обещает подходяще. Ничего разворачивается... На «Гусихине» же едет из Березова домой. Раньше нас, оказывается, прошмыгнул туда по своим делам. За пушнину денег изрядно наскреб. Пронырливый. Попытаю с ним счастья...

— Ты бы погодил. Госрыба караваны будет снаряжать. Вот-вот Гриш приехать должен...

— А кормить нас с Сандрой будут? Мы ведь в парме край как обнищали...

Сандра сидела потупившись: Мишка хитрил... Уж как ему удалось, про то он жене не рассказывал, а сообщил только, что изловчился скрыть от пармщиков значительную часть своих охотничьих трофеев. Сандра смекнула: из-за них, видать, он частенько в одиночку в тайгу хаживал. Но как он исхитрился — любопытствовать не стала... В Березове на меха Мишка выручил денег. Пустить их на лечение жены пожалел. Припрятал.

«Хозяйство заведем. Ни кола ни двора ведь у нас»,— сказал он жене. Сандра осталась безучастна. «Или по конной части извозом займусь»,— предположил Мишка. Она и на это тогда не отозвалась...

...Два протяжных гудка вызвали движение среди пассажиров.

— Ну, стих «каменный» ветер, пристанем! — Мишка обрадовался, что оборвется наконец эта неприятная беседа с Куш-Юром. Но Куш-Юр разочаровал его, объяснив значение этих гудков-сигналов.

— Айда на палубу, чего эту вонищу нюхать,— позвал он Куш-Юра. И, не дожидаясь его согласия, перемахнул через чьи-то тюки и направился к выходу.

Куш-Юр посмотрел на Сандру. Она чуть-чуть подвинулась, и он присел рядом. Мишка на них даже не обернулся.

4

Пароход подал два гудка в тот самый момент, когда к нему меж тальниковых зарослей, затопленных половодьем, пробирались на калданках вотся-гортские мужики.

— Точно вашему благородию. Честь по чести встречают, якуня-макуня,— пошутил Эль.

— Ну да. Отчаливает, поди.— Сенька придержал лодку, уставился на якорную цепь.

— Не снимается. Ядреный-«каменный» пока не слабеет... Э, мать родная! Гляньте, никак базьяновка мужевская! Опередил кто-то нас! — Гриш даже выругался.

Причалив лодки к отмели у конца трапа и зачалив их за ветки раскидистого тала, они поднялись по трапу на пароход. Мишка в это время вышел на нижнюю палубу. Столкнулись нос к носу.

— Якуня-макуня! Как ты сюда попал?! Э-э, так это твоя базьяновка?

— Куш-Юра...

— И Куш-Юр здесь? — оживился Гриш.

— Здесь... А вы откуль взялись?

— Как откуль? Из Вотся-Горта.

— Ну да?!

— А что? Ноне вода большая. «Гусихин» нарочно заглянул к нам. Забрал всю нашу ораву,— пошел дурачить Мишку Эль.

— Бреши, да не завирайся. С самого Березова почти не спал.

— А зачем в Березово-то ездил? — вмешался Гриш.

— Сандру до дохтуров возил...

— Да? Ну и как она? Поправилась?

— Ничего — дюжит. А вы как?..— Мишка хотел спросить про рыженят, про Парассю, но, покосившись на Сеньку, стоящего в сторонке, передумал. Сенька всем своим видом выражал презрение к нему, к Мишке.

— Мы-то как? — Гриш недобро сощурился.— В Мужи едем.

— А я думал, поспешили на пароход, чтоб разжиться чем-нибудь.— Мишка подморгнул Гажа-Элю.

— Не без того! А ты небось не просыхаешь?

— На те гроши, что в парме сколотил, не разгуляешься... Жена вон больная и хозяйства — ни кола ни двора,— смиренно проговорил Мишка.

Мужики переглянулись: то ли хитрит парень, то ли правда в нужду впал, утихомирился?.. Оглядели Мишку — одет во все поношенное... С виду — жалкий.

— А мы ничего — поохотились, порыбачили,— намеренно прихвастнул Гриш. Но не выдержал задиристого тона, добавил чуть дрогнувшим голосом: — Место-то уловистое...

Мишка втянул голову в плечи, промолчал.

— Айда, разживемся, помянем вотся-гортскую житуху.— Эль дернул Гриша за руку.

— Расхотелось... Куш-Юра бы повидать.

— Ну вот, с тобой не споешься,— недовольно пробурчал Эль.— Пошли, Сень, на пару.

Сенька в беседе не участвовал, но разговор товарищей слушал внимательно. И он неожиданно расстроился не менее Гриша и составить компанию отказался.

— Что ж, так и будем таскать это с собой? — показал Эль на лукошки с икрой да утками, прихваченными для обмена на выпивку.

— Руки не отвалятся. Повидаем Куш-Юра, тогда уж,— сказал Гриш.

— Это другой разговор,— успокоился Эль.

5

— Так ты правду говоришь, что если Михаил на тебя, как говорится, наплюет и будет на севере жить, то ты придешь ко мне? — Куш-Юр наклонился к Сандре, чтобы никто их не слышал, и ласково смотрел на нее.

Сандра кивнула головой и, взглянув на него, чуть улыбнулась.

— Хорошо,— прошептал Куш-Юр и поцеловал ее в щеку.

Сандра не отстранилась, а, наоборот, еще теснее прижалась к нему. Но тут Куш-Юр встрепенулся, и она испуганно подняла голову.

В четвертом классе стало еще теснее и шумней от говорливой мужской компании, которая ввалилась разом. И Куш-Юр и Сандра оба вскочили, обрадовались нежданному-негаданному появлению вотся-гортцев. Сандра вмиг оживилась:

— Еще бы Елення, да Марья, да ребятишки и — словно дома.— Она умильно сложила руки на груди.

— А чего мы тут теснимся в духоте? Айда на корму,— позвал Эль. Кто подхватил Мишкины кошели-пожитки, кто Сандру под руку — и всей компанией вывалили на волю.

Выбрали место возле припасенных для пароходных котлов поленниц дров, плотно уложенных под дугообразными железными стойками. Здесь не дуло, никто не мешал откровенным разговорам.

Эль пошептался с Гришем, забрал свое и его лукошки

и исчез. Вскоре он вернулся с бутылкой первача. Сандра достала кружку. И Гажа-Эль поднес всем по очереди, начав с Куш-Юра. Со стороны могло показаться, будто они не виделись по меньшей мере век. Говорили шумно, все враз, вспоминали Вотся-Горт.

Чаянно или нечаянно с ними рядом оказался Озыр-Митька. Он по-бабьи взвизгнул и пропел:

— А вы и тут сходку устроили! Про парму свою дурацкую небось? Распалась, слыхал. Домой вертаетесь? Ну-ну, я ж говорил...— Он довольно захихикал.

Гриш взглянул на него искоса, сказал сдержанно:

— Уйди, Митрий, подале от беды-греха...

Озыр-Митька потер большим пальцем подбородок, будто раздумывал, как поступить, потом заложил важно руки за спину и отошел.

Хотя Озыр-Митька и покинул их, беседа больше не налаживалась, словно развеяло дух сердечности.

— Срамота! Теперь о нас всякого напоют,— вздохнул Гриш сокрушенно.

— Умный не скажет, а дурака не слушай,— Куш-Юр положил ему руку на плечо,— Озыр-Митьку и вовсе. Пусть бы все у вас ладно было, все равно чего-нибудь бы да набрехал. Или забыл ты, какого он племени?

— Может, и так, а все одно опозорились мы. Ума не хватило! Моя во всем вина,— казнился Гриш.— Только и прощение мне, что лучшего хотел всем и себе.

— Зря это ты, зря! — горячо возразил Куш-Юр.— Хоть ты и охотник, а тоже, поди, бывает — промах даешь! Небось немало на веку популял в небо? Умному без шишек не обойтись. Наша с тобой промашка в чем? То, что годами делается, мы враз захотели сделать.

— А я так скажу: и никогда не сделается,— вставил Мишка.— Каждому свое гнездо дороже.

Куш-Юр решительно запротестовал:

— В этом ты ошибаешься, друг милый. Каждый сам по себе из бедности не вырвется. А коль кто и вырвется — значит, еще один Озыр-Митька на свете прибавится. Нет, мужики, жить нам, беднякам, надо дружно, работать только артельно. Этак не вышло, по-иному попробуем...

Сенька сидел на полешке, за все время он не проронил ни слова. Но тут вскочил, заморгал.

— Что, Семен Мартыныч, сказать хочешь? — обернулся к нему Куш-Юр.

— Спросить хочу: когда пробовать станешь, скоро?

— Может, даже очень скоро. Вот Гриш знает.— И тронул Гриша за руку.— Ну как, надумал, значит?

— Надумал-решил.— Гриш нисколько не удивился, что тот держит его в памяти.— Парма распалась — беда, конечно. Но не совсем. Не-ет! Мы в Вотся-Горте слово давали — не сдаваться, от задумки своей и в Мужах не отказываться! Как ты Михаилу говорил, попробуем по-другому сварганить эту новую жизнь. Не коммуну-парму, так артель, вроде мир-лавки, мать родная!..

— Мать родная!..— дружным эхом непривычно для себя отозвались Эль и Сенька.

А Куш-Юр засиял:

— Точно так! Никогда не отступим на полпути! Пусть не радуется Озыр-Митька, что парма распалась. Нет, не распалась. Сообща трудиться не только вы, но и другие хотят. Многие в артель войдут. Я это знаю. И ты, Гриш, возглавишь ее, эту артель.— Он горячо похлопал Гриша по плечу.

Гриш улыбался. Улыбались и Эль с Сенькой. Мишка-Караванщик стоял спиной ко всем остальным, облокотившись на поленницу, и, глядя промеж затопленных тальников, думал про Парассю и рыженят. А Сандра, сидя на большом узле, поглядывала тайком на Куш-Юра, будто говорила: «Правильно, правильно вы делаете! Непременно буду среди вас, непременно!..»

— Нас ведь бабы, поди, искляли там,— вспомнил вдруг Гриш.— Пошли-поехали! И ветер вроде задыхаться начал. Чай, и пароход скоро отчалит в Мужи. До скорой встречи!

Но тут появился Вечка, сияющий, счастливый. Увидев компанию, удивился:

— Ба-а! Кого я вижу!

— Где это ты пропадал? — уставился на него Куш-Юр.— Чуть не забыл про тебя.

— А я про тебя. Девку встретил, пассажирку. Едет к нам, в Мужи. Во деваха! И комсомолка. Заболтался с ней, а... погодите, вы вроде того... во хмелю... Штрафовать вас надо!

— Скорей тебя! Забыл про все на свете из-за девки.— Куш-Юр весело засмеялся.

Засмеялись и остальные.

6

Женщины встревожились не на шутку. Уехали мужья — и сгинули.

— Попадут с пароходом в Мужи без нас,— тужила Сера-Марья.

Елення помалкивала, помалкивала, да тоже не утерпела:

— Ей-богу, что-то стряслось с ними!

Ветер заметно слабел. Послышались отвальные короткие гудки парохода. Женщины засуетились — ждать нечего, самим придется переваливать реку. Перетаскали в каюк да в неводник все, что мужья выгрузили из калданок. Но тут показались из-за тальников юркие лодчонки. Мужики вразнобой горланили: «Из-за острова на стрежень...» А потом затянули зырянскую «Воам, воам, колэдчам» («Мы прибудем-приплывем»).

Женщины так обрадовались мужьям, что и пожурить забыли. Да и мужья-то были не так уж пьяны, рассказали новости. Поохали бабы, жалеючи Сандру, проехались по Мишке — крыли его, не стесняясь ни Гадди-Парасси, ни Сеньки. Елення и Марья пожалели, что не пришлось им вместе со всеми помянуть добрым словом Вотся-Горт. Что там ни было, а прожили лето, зиму, пили-ели не голодно и домой кое-чего везут.

Небо очистилось, поголубело, река стихла, назеркалилась. В тальниковых зарослях зачирикали, загомонили птицы.

Караван отчалил от последней стоянки. Перевалили половину Малой Оби, обогнули тальниковый остров, и перед глазами предстало родное село, залитое розовым светом зари. Зажмурились, глазам своим не веря. Милое, дорогое! И избы, и белостенная, златокрестная церковь! Какими оставляли, такими и нашли. Нет, было и новое на сей раз: пароход, белеющий у пристани и отражающийся в зеркале реки. Разгрузка шла вовсю. Подгадали к привозу! Это к добру, непременно к добру!

Правил караваном Гриш. Он решил провести его возле самого «Гусихина», пускай ребята еще и вблизи поглядят на «биа-пыж».

Ребятишки пришли в восторг:

— Ух, какой большой!

— Колесо-то какое громадное!

— А окон-то сколько! Внизу круглые!

— Вот бы поехать на нем да погудеть!

Миновали пароход и направились к тому же взвозу, от которого отчаливали в прошлом году. Только никто не встречал их. Петул-Васю, может, Куш-Юр и сказал, что, мол, брат возвращается, да Вась товар принимает, некогда ему. А другие, поди, и не знают.

Причалили к неширокому галечному берегу. Убрали весла. Гажа-Эль бросил якорь в воду с носа каюка. Остальные лодки развернуло течением, и они вытянулись вереницей.

— Ну, прибыли! Здравствуйте, Мужи! — широко вскинул руки Гажа-Эль.— Живун, якуня-макуня! Будем живы, не умрем!

И все дружно подхватили:

— Здравствуйте, Мужи! Здравствуйте, Мужи!

— Долго ехали, быстро приехали! — Гриш напустил на себя шутливость, пряча под ней охватившее его волнение.— Теперь перво-наперво поклониться — поцеловать родную землю!

Взрослые сошли на берег и, припав на колени, трижды приложились губами к гладким и холодным галькам. У женщин на глазах слезы выступили.

Потом снесли на берег детей и им велели целовать землю.

Илька поинтересовался у отца:

— А зачем, папа?

— Чтоб земля-матушка не обижалась на нас за то, что покидали ее, чтоб приняла нас обратно, как своих детей. Родная земля — встань-трава! Завсегда поднимет-поддержит, даст ума-здоровья!

— И мне?!

— Как будешь ласков с ней.

— Тогда я еще раз поцелую землю-матушку.— И Илька снова припал губами к галькам.

— Молодец.— Гриш взял сына на руки и поднял над собой.— Расти большой вопреки всем невзгодам! Будь и ты живуном-ходуном!

Мальчик звонко смеялся.

Преодоление

Любой человек — оригинал, не имеющий копии. У каждого — свой строй мыслей, своя галактика чувств, своя палитра восприятия и отражения действительности. У каждого — своя, неповторимая судьба, достойная стать основой драмы или повести, поэмы или романа.

И все-таки есть люди-маяки, люди-светильники. Есть человеческие судьбы, вобравшие в себя судьбы целых народов.

За подтверждением этого не надо лезть в энциклопедии, во всемирную или русскую историю, не надо трясти и перетряхивать общеизвестные, бесконечно поминаемые имена.

Великолепным, я бы сказал, классическим примером слияния судьбы личности с народной судьбой является автор этой книги, писатель Иван Григорьевич Истомин.

Случайно это совпадение, или судьба распорядилась так с каким-то тайным умыслом — кто знает. Как бы там ни было, но Иван Григорьевич родился в один год с Октябрем. Родился Истомин в безвестной таежной глуши, в далеком приобском селении Мужи, что под заполярным Салехардом. В семье потомственного рыбака.

Лес да река формировали характеры и судьбы жителей Мужей. Лес да река — это охота и рыбалка. Но больше и важней — рыбалка. Рыбалка — не для забавы, развлечения или приятного времяпровождения, а рыбалка — промысел, решающий, главный источник средств существования, рыбалка — ремесло, приемы и навыки которого вырабатывались веками, передаваясь от поколения к поколению.

Рыбаки — народ неприхотливый, ядреный, надежный. Какую бы войну с испокон веку не вела Россия, в числе ее воинов непременно были крепыши из Мужей.

Село стоит на Оби. Великая река поила, кормила, перевозила северян, учила их ловкости и мастерству, мужеству и выносливости. В знойные, душные дни река дарила людям желанную прохладу.

Сам воздух Севера напоен неподдельной, не книжной, живой, яркой романтикой. Ее присутствие особенно чувствительно в летние белые ночи, когда закат с восходом ручкаются.

Пленительно тихи, хрупки северные белые ночи, пропитанные пряным щекотным ароматом костровых дымов, прилипчивым запахом реки, смолы, свежей рыбы. Все это в единении образует дурманящий дух вольной волюшки. Оттого и люди на Севере вольнолюбивы и веселы, могучи духом и крепки телом. Эти качества будущий писатель вобрал в себя с молоком матери и не растерял их за долгую трудную жизнь, которую с полным на то основанием можно назвать подвигом.

Маленький Ваня не бегал — летал по земле, которая словно бы отталкивала мальчишку от себя, и тот без малейших усилий скакал, кувыркался и подпрыгивал, как мячик. «Он у меня шустряк»,— любовно говорил отец, лаская кроху сына.

Мальчик не осилил и десятка первых слов, а отец уже увез его на пески, на рыбный промысел. Ребенок тянулся к реке, к взрослым. Он визжал, и подпрыгивал, и бил в ладоши, когда отец бросал к его ногам сверкающую чешуей большую трепещущую рыбину. «Добрый рыбак растет»,— радовался отец.

Но отцовскому пророчеству не суждено было сбыться. Когда Ване исполнилось три года, грянула черная страшная беда, грянула не с той стороны, откуда ее ждали. Полиомиелит скрутил, искалечил, изуродовал тело ребенка, и тот стал передвигаться ползком на четвереньках.

В еще не распустившуюся, неокрепшую душу мальчика вонзились и остались там на всю жизнь безответные и горькие «почему?», «за что?».

Почему сверстники бегают, скачут, прыгают, купаются, лазают по деревьям, борются и пинают мяч, а он не может оторваться от земли, не в силах встать, не в состоянии сделать и единого шага?..

Кто и за что обрек его на одиночество, на муки, на бесконечную, иссушающую душу зависть и неистребимую жажду движения?..

Вопросы были непосильны малышу, и он подсовывал их старшим. Те прятали глаза, что-то сюсюкали, фальшиво утешали, обещая непременное и скорое исцеление. Зато сверстники не лукавили, не утешали, но и не обижали, таскали за собой, придумывая такие игры, в которых и он мог участвовать. Когда ему исполнилось девять лет, воротился в село где-то долго пропадавший дядя. Подхватил Ваню на руки, прижал к себе: «Не горюй, Ванятка, излажу тебе деревянные ноги, крепче и прытче настоящих будут». Сделал мальчику костыли, и начал тот отмахивать

на четырех ногах: две — свои, две — деревянные. Деревянные не подгибались, не волочились, больным ногам помогали, и покалеченные руки заставили трудиться. Скоро Ваня окреп, поднабрал силенку, друзья-мальчишки поспешили приклеить ему необидное прозвище «Ванька-встанька». «А я что?..— много лет спустя, говорил Иван Григорьевич.— Я и вправду как ванька-встанька. Стою и не качаюся. Качаюсь и не падаю. Ну, а упал — встаю...»

Не знаю, у каждого ли «глаза — зеркало души», у Ивана Истомина это действительно так. Его большие серые глаза, всегда влажно поблескивающие и улыбающиеся, были прозрачны и непорочны, как горный родник. Они взирали на мир с неистребимым любопытством и восторгом художника.

Художник проснулся в нем прежде, чем проснулся мужчина. Сперва он рисовал углем на дощечке. Обыкновенным углем, вынутым из очага, на обыкновенной, своими руками обструганной дощечке. Он рисовал реку, по которой плыли лодки и пароходы. Рыбаки вытаскивали сети. Кружились чайки. Лайка сидела на берегу, ожидая свежую рыбину... Потом вместо угля появился в руках карандаш. Потом краски. В Салехардском музее висят картины Истомина «Ленин на Ямале» и «Арест Ваули Пиеттомена». Не могу спокойно разглядывать эти полотна. Стоит остановиться перед ними, как память тут же воскресит руки художника — изуродованные, измученные недугом. Уму непостижимо, как они справлялись с мольбертом и кистью? Как-то спросил об этом Ивана Григорьевича. Тот рассмеялся и ответил: «Человек все может, главное, шибко захотеть».

Человек все может — вот на какой оси держится характер Истомина. Ни поблажек, ни уступок, ни скидок на свою неполноценность физическую никогда не просил, не вымаливал, не требовал он ни у судьбы, ни у людей. Только на равных. Только со всеми вместе. В ногу, в едином строю.

Едва научившись писать, он стал сочинять стихи. Такие же бесхитростные и простые, как и его детские рисунки. Любопытно, что он сочинял и на русском, и на ненецком, и на коми языках. Он был прямо-таки переполнен жаждой творческой деятельности. В школе колхозной молодежи (семилетка) он был редактором стенной ученической газеты. В Салехардском педучилище организовал регулярный рукописный литературный журнал «Искры Ямала».

С тридцать шестого года стихи Истомина стали регулярно печататься сперва в газетах, потом в альманахах, позже в литературных журналах. А в 1953 году в Ленинграде вышел его первый поэтический сборник «Наш Север».

Однажды, на читательской конференции, его спросили: «Ког-

да в вашу жизнь вошла книга? Не как средство убиения свободного времени, а как мудрый, всезнающий, честный друг, собеседник и наставник?» Иван Григорьевич долго думал, потом, улыбаясь, ответил так: «Похоже, что я с книгой родился. Сколько помню себя, всегда она была рядом».

Сперва он читал запоем все, что попадется под руку. В пору его детства, отрочества и юности книг было нетерпимо, недопустимо, невероятно мало. Деревенские школьники тридцатых годов и слыхом не слыхали, что есть такие писатели, как Жюль Верн, Майн Рид, Конан Дойль, Джек Лондон, Фенимор Купер, Марк Твен и многие другие, чьи произведения составляют сокровищницу всемирной литературы для школьников. У разоренной войнами, голодом и мятежами молодой Республики Советов не было тогда ни сил, ни средств для издания этих книг, еле-еле хватало возможностей, чтоб обеспечить школы учебниками и тетрадями.

Незабываемым, поворотным событием в жизни первоклассника Шурышкарской ШКМ (школы колхозной молодежи) Вани Истомина явилась его встреча с Пушкиным. Таинственное волшебство пушкинских стихов сразу околдовало мальчишку, покорило его, завладело его воображением. Он не зубрил пушкинские стихотворения, они сами запоминались, запоминались надолго, на всю жизнь. Они открыли мальчику волшебный, волнующий и тревожащий душу мир подлинной поэзии. Они властно повлекли его за собой в настоящую большую литературу, созданную гением Достоевского и Толстого, Гоголя и Грибоедова, Некрасова и Белинского... К списку прочитанных, полюбившихся писателей добавлялись все новые и новые имена. Рядом с русскими именами встали Шекспир и Шиллер, Флобер и Золя, Стендаль и Гюго.

Пока он сочинял наивные детские стихи, поэзия казалась делом увлекательным, забавным и легким. Разубедил его в этом все тот же Пушкин. Задумал Иван перевести пушкинские строки на один из хорошо известных северных языков: ненецкий, коми или хантыйский. Поначалу это занятие показалось простым и легким. Но потом... Пушкинские стихи, особенно его сказки, дивно прозрачны, легки и крылаты, но стоило прикоснуться к ним, перевести на другой язык, и они теряли мелодичность и стройность, ломались и рушились, начисто утрачивая волшебную колдовскую силу притяжения и обаяния. Так Пушкин преподал Истомину первый, на всю жизнь запомнившийся урок поэзии. С тех первых пушкинских уроков и вошло в сознание будущего писателя убеждение: литературное дело — суть единство таланта, труда и мастерства. Позже к этим составным добавилось понимание необходимости для писателя высокого уровня культуры

и образованности. Вот таким «аршином» мерил он себя и товарищей по литературному цеху. И эта мерка особенно пригодилась ему в работе с молодыми, начинающими литераторами.

Будучи заместителем редактора окружной газеты, потом заместителем главного редактора областного издательства, первым руководителем первого областного литературного объединения, Иван Григорьевич постоянно встречался с молодыми поэтами, прозаиками, драматургами, помогая им овладевать литературным мастерством. Все профессиональные писатели нашего Севера испытали на себе влияние Ивана Григорьевича, все вошли в большую литературу при его поддержке. Он любил и пестовал молодых, но никогда не лицемерил, не заигрывал с ними, подходя к оценке их произведений все с той же высокой меркой.

У него есть привычка по нескольку раз возвращаться к уже прочитанной книге и перечитывать ее, перечитывать вдумчиво, неспешно, постигая не только замысел автора, но и творческие приемы, особенности стиля и языка... Как-то, когда Истомин был еще школьником, в руки ему попала страничка, вырванная из «Донских рассказов» Шолохова. Скупо и кратко, но потрясающе ярко и прямо-таки оглушительно была описана на этой вырванной страничке сцена зверского убийства какого-то Ефима. Мальчик читал и перечитывал обжигающие душу строки, в конце концов выучил всю страничку наизусть и не забывал ее до тех пор, пока не узнал автора, не нашел рассказ, из которого была вырвана страница.

Так в его жизнь, в его творчество вошел великий Шолохов. В тех 22 книгах Истомина, что вышли в разных издательствах страны, всюду видно влияние Шолохова. «Не смею назвать себя его учеником — говорит Истомин.— Но учился и учусь у него...»

За год до войны он окончил Салехардское педучилище и стал преподавателем. А в 1941 году судьба свела его с Аней Сачко, которая вскоре стала Анной Владимировной Истоминой. Тихая скромница, улыбчивая и добрая, все понимающая и все умеющая Анна Владимировна стала и женой, и матерью, и другом, и сподвижником писателя. Родила и вырастила трех сыновей и дочь, с первого шага семейной жизни добровольно приняв на свои неширокие плечи все заботы и тяготы о семье, о детях, о доме.

Когда началась Великая Отечественная, молодого коммуниста Ивана Истомина избрали парторгом оленеводческого совхоза. На стремительных оленьих упряжках мотался он по тундре, от стойбища к стойбищу, от выпаса к выпасу. Однажды угодил под буран. Зарылись в снег, пережидая непогоду. Отморозил ногу и ее ампутировали. И до этой беды от него немного было помощи по дому, а после этого несчастья и подавно...

Я видел Анну Владимировну, когда Иван Григорьевич на костылях еще отваживался выходить на улицу, приезжал на писательские собрания, редко, но бывал на различных литературных встречах и вечерах. В 1969 году у него произошел инсульт. После этого писатель уже не покидает квартиры, и рядом с ним, взяв на себя все заботы о тяжелобольном, практически недвижимом, находится Анна Владимировна. Эта трагическая перемена в их жизни не озлобила, не согнула женщину. Бывая у них после, видел все ту же мягкую улыбку, слышал все тот же добрый тихий голос.

Последние годы здоровье писателя резко ухудшается. Анне Владимировне пришлось взять на себя и обязанности сиделки (дети с ними не живут). Жизнь подбрасывает и подбрасывает ей все новые и новые испытания. Ее здоровье приметно сдает. На руках тяжелобольной, недвижимый муж. Она при нем и литсекретарь, и редактор, и цензор, и сиделка, и кухарка, и домохозяйка. Но ни отчаяния, ни уныния, ни слез. Святая женщина! Не будь ее, не было бы и писателя Ивана Истомина. Он, как писатель, народился от сплава ее доброты со своим стоическим мужеством. А мужество его достойно поклонения...

Когда Истомин начал писать свой первый роман «Живун», руки его уже не в состоянии были держать ручку, и на пишущей машинке он мог работать лишь одним пальцем, остальные были и не управляемы, и слабы. Умыв и накормив мужа, Анна Владимировна усаживала его на диван, придвигала низенький столик с пишущей машинкой, и начинался рабочий день писателя Истомина длиною в десять—двенадцать часов. В тихой квартире четко слышались редкие щелчки, похожие на стук дятла по дереву: это Иван Григорьевич буковка по буковке печатал слова, сбирал их в предложения, гуртовал в абзацы. Иногда за десятичасовой день удавалось таким путем отпечатать полстранички, в счастливый день — целую страницу. А ведь в романе многие сотни страниц, которые нужно было еще отредактировать, вычитать, потом вычитать верстку книги. Роман Ивана Истомина «Живун» оказался заметным событием в литературной жизни края. Его неоднократно издавали такие авторитетные издательства, как «Советская Россия», «Советский писатель», «Современник».

Два романа, несколько повестей, сборники стихов, рассказов, очерков, пьесы — вот что сотворил этот человек, сперва на многие годы загнанный недугом в четыре стены, позже навсегда прикованный болезнью к постели. В общем объеме им написано где-то около ста авторских листов — 2500 машинописных страниц! Титанический труд! Труд-подвиг! На подобное способен лишь одержимый, фанатически преданный своему призванию человек...

Последние полтора-два года Иван Григорьевич беспомощен и недвижим. Но мысль жива. Мысль движется. И не угасает желание, не иссякает жажда творить.

Нет-нет да вдруг и позовет он жену и скажет:

— Аня... пожалуйста... попиши немножечко, я подиктую.

И он диктует.

А она записывает.

Двадцать—тридцать минут такого труда выматывают Ивана Григорьевича до основания.

Он долго молчит.

Она смотрит на неузнаваемо переменившееся лицо мужа и ждет. Но вместо очередной фразы в начатую главу новой книги он вдруг говорит не особенно внятно, жалко улыбаясь:

— Аня... Помнишь, Аня... Когда же это было?..

— Помню,— откликается она, глотая слезы.— Все помню. Все-все.

Он умолкает обессиленно.

И она молчит.

Молчит, опустив глаза на чистый лист, в начале которого ее рукой написано: «Преодоление».

Так назвал писатель свою новую книгу. Это — не роман. Не повесть. Это — исповедь человека, всю жизнь преодолевающего жестокие наскоки превратной судьбы...

Константин Лагунов

Содержание

Истомин И. Г.

И 89 Живун: Роман, повесть.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988.— 336 с.

В пер.: 1 р. 60 к. 75 000 экз.

Переиздание одноименного романа и повести «Последняя кочевка» известного ненецкого писателя. На автобиографической основе показана судьба людей Тюменского Севера в суровое и светлое время становления Советской власти.

$\text{И} \frac{4702010200\text{-}034}{\text{М } 158(03)\text{-}88}$ 43-88 **ББК 84Р7**

Иван Григорьевич Истомин

Живун

Редактор С. В. Марченко
Художник В. Д. Сысков
Художественный редактор Н. Н. Данилова
Технический редактор Н. Н. Заузолкова
Корректор М. Ф. Худякова

ИБ № 1650.

Сдано в набор 10.12.87. Подписано в печать 16.03.88. Формат 84×108 1/32. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,7. Усл. кр. отт. 17,7. Уч. изд. л. 18,6. Тираж 75 000. Заказ 613. Цена 1 р. 60 к.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

В 1988 году
в нашем издательстве
выйдут новые произведения
уральской прозы

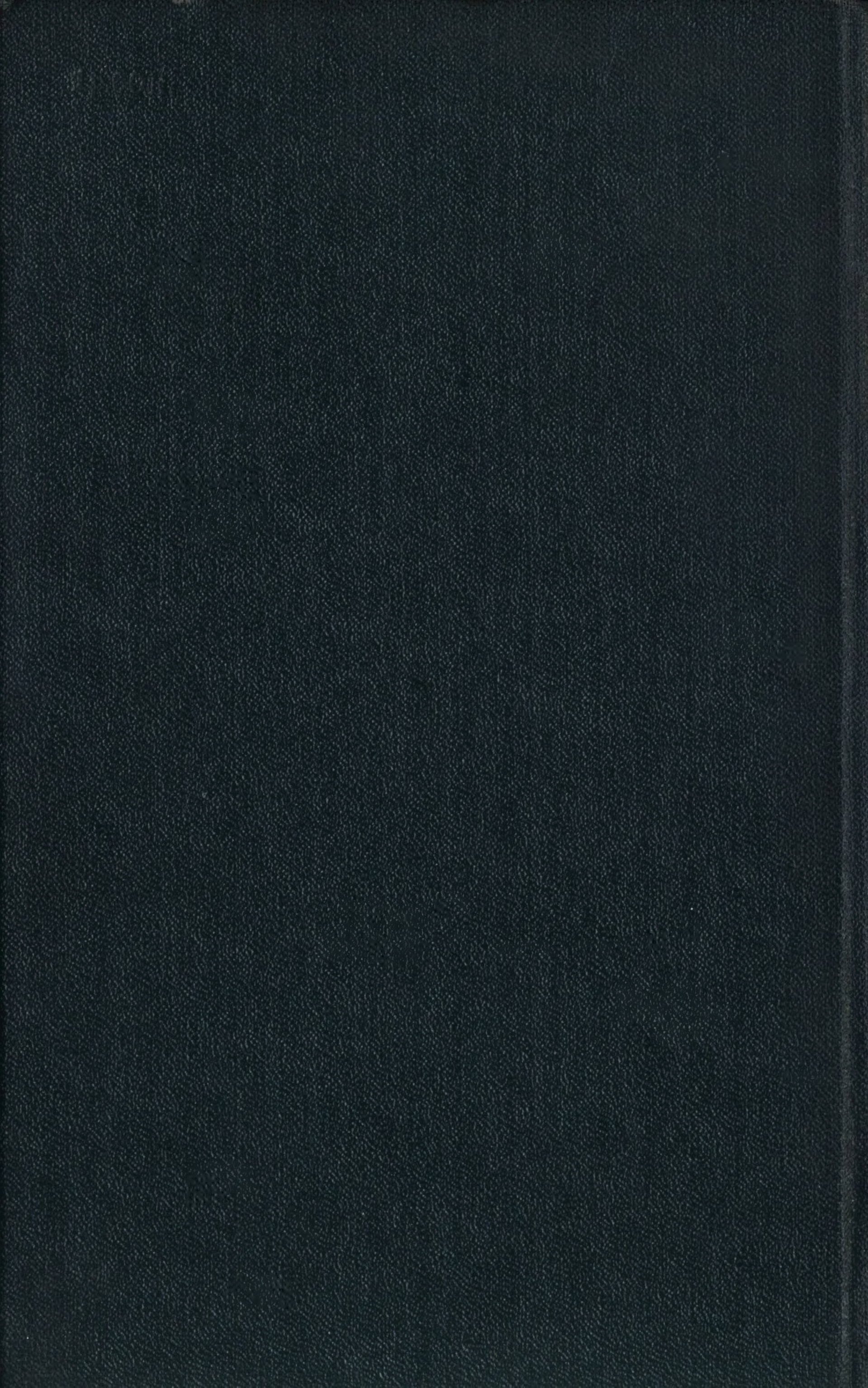
Н. Никонов
ВЕСТАЛКА
роман

В. Печенкин
БЕЛАЯ ПОЛОСА
повесть

переиздания

Г. Мопассан
НОВЕЛЛЫ

Б. Пастернак.
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ.




ИВАН ИСТОМИН